БОРИС ЗАЙЦЕВ

РЕКА ВРЕМЕН

БОРИС ЗАЙЦЕВ

РЕКА ВРЕМЕН

Борис Зайцев

БОРИС ЗАЙЦЕВ

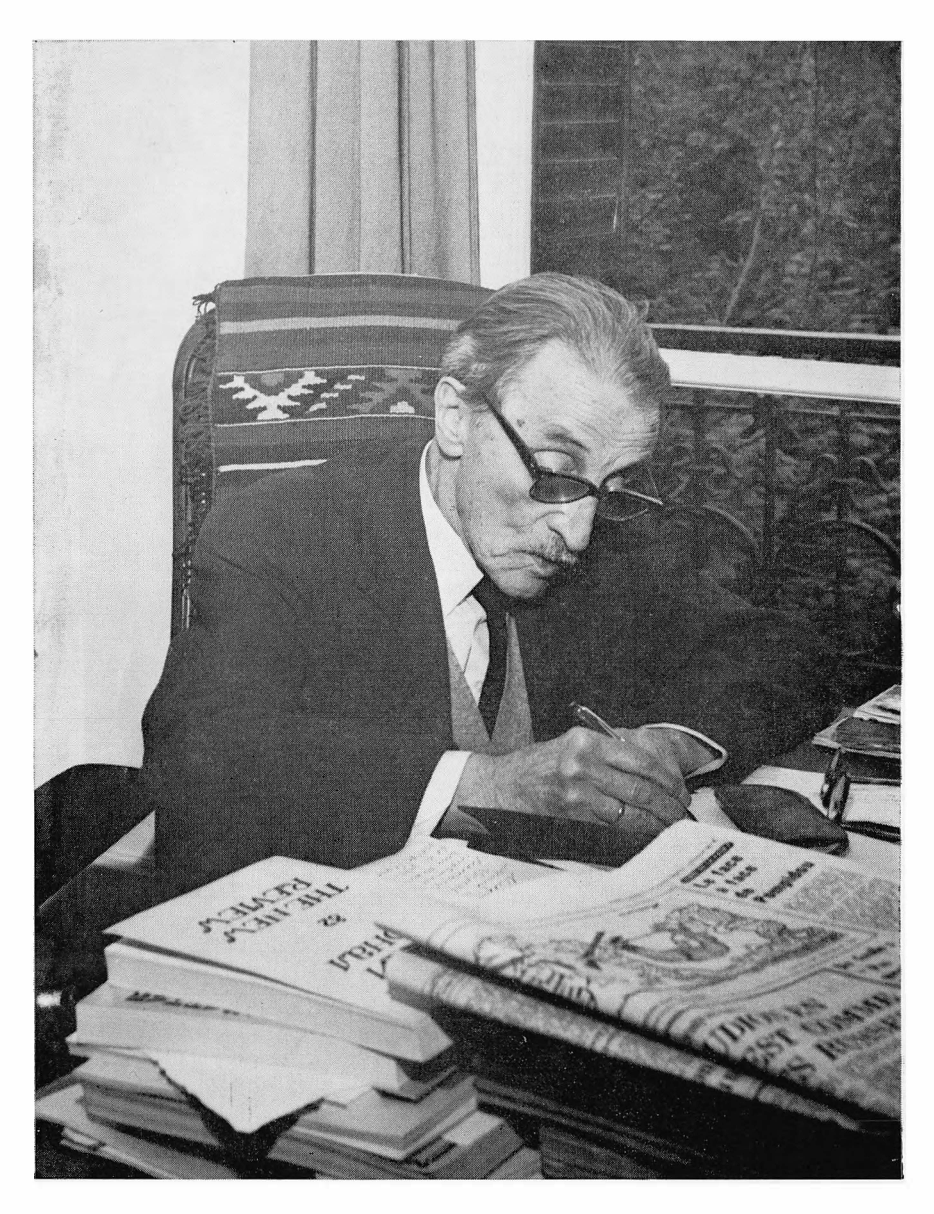
РЕКА ВРЕМЕН

«Русская Книга». Нью-Йорк, 1968.

Обложка работы Артура Тимм

Publisher: RUSSKAJA KNIGA, New York.

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München-Allach, Peter-Müller-Str. 43.
Printed in Germany



Париж, 1967


I

ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА

I

В комнате Христофорова, в мансарде старого деревянного дома на Молчановке, было полусветло — теми майскими сумерками, что наполняют жилище розовым отсветом зари, зеленоватым рефлексом распустившегося тополя и дают прозрачную мглу, называемую весной.

Перед зеркалом, запотевшим слегка от самовара, Христофоров оправлял галстук. Он был уже в сюртучке, довольно поношенном — собирался выходить. Голубоватые глаза глядели на него, порядочная шевелюра, висячие усы над мягкой бородкой. Он поправил узел галстука, завязывать которого не умел, улыбнулся и подумал: «Чем не жених?» Он даже ус немного подкрутил.

Затем взял ветку цветущей черемухи — она лежала на столе — понюхал. Глаза его сразу расширились, приняли странное, как бы отсутствующее выражение. Он вздохнул, надел шляпу, пальто, и по скрипучей лесенке спустился вниз. Пересек большой двор — здесь на травке играли дети, у каретного кучер запрягал пролетку — быстрым, легким шагом зашагал к Никитскому бульвару.

В Москве сезон кончался. Христофоров шел на небольшой прощальный вечер в пользу русских художников в Париже; его устраивала московская барыня из тех, чьи доходы обильны, автомобили быстры, туалеты неплохи. Христофоров мало знал ее. Лишь недавно встретил у знакомых своих, Вернадских; и тоже получил приглашение.

Дом Колесниковой ничем особо не выделялся — двухэтажный особняк в переулке, с лакеем в белых перчатках, с чучелом тигра на повороте лестницы; лестница хороша тем, что рядом с перилами шла кайма живых цветов в ящиках и кадках. Колесникова встретила его в зале, где люстры уже сияли, были расставлены стулья и стояла эстрада для чтецов, музыкантов. Хозяйка — дама худая, угловатая, и не вполне в себе уверенная; ей хотелось, чтобы все было «как следует», но неизвестным представлялось, удастся ли это. И, пожалуй, ее осудит остословка Сима, миллионерша первоклассная, и меценатка.

— Ах, вы сюда, пожалуйста, — сказала она Христофорову, указывая на гостиную, за эстрадой. — Пойдемте, там и ваши знакомые есть...

Колесникова провела его в гостиную, где густо стояла мягкая мебель, без толку висели картины, горело много света и сидели нарядные дамы. Христофоров слегка смутился. Ему именно показалось, что никого он тут не знает, но он ошибался: сделав общий поклон, тотчас заметил он в углу Вернадских — Машуру и Наталью Григорьевну. Наталья Григорьевна, представительная дама, седая, разговаривала с высокой брюнеткой в большом декольтэ. Машура молчала. Она была в белом с красной розой на груди — тоненькая, с не совсем правильным, остроугольным лицом; почти черные глаза ее блестели, казались огромными.

Увидев Христофорова, она улыбнулась. Наталья Григорьевна подняла на него свои светлые, несколько выцветшие глаза. Он подошел к ним.

— А я думала, — сказала она, протягивая руку, — что вы не соберетесь. Значит, и вы пустились в свет. С вашим-то затворничеством туда же.

Она засмеялась.

— Вы знаете, — обратилась она к соседке, — Алексей Петрович одно время проповедывал полное удаление от мира, как бы сказать, полумонашеское состояние.

Соседка взглянула на него и холодновато ответила:

— Вот как!

Их познакомили. Она называлась Анна Дмитриевна. Христофоров сел на край кресла и сказал:

— Одно время, действительно, я жил очень замкнуто. Но теперь — нет. Вы знаете, Наталья Григорьевна, эту весну я, напротив, даже много выезжал.

Анна Дмитриевна вдруг засмеялась.

— Отчего вы так странно говорите? Точно . . . — она продолжала смеяться. — Простите, но мне показалось . . . как-то по-детски . . .

Христофоров слегка покраснел.

— Я не знаю, — сказал он и обвел всех глазами. — Я, может быть . . . не совсем так выражаюсь.

— Не понимаю, как это надо особенно выражаться . . . — Машура тоже вспыхнула. Глаза ее блеснули.

Анна Дмитриевна слегка откинулась на кресле.

— Виновата. Кажется, я просто сболтнула.

— Алексей Петрович говорит, — сказала Машура, сильно покраснев, — так, как нужно, то есть какой он есть. Его учить незачем.

Наталья Григорьевна засмеялась.

— Вот и неожиданно разговор принял воинственный характер.

Она была в черном платье, с большим бантом у подбородка. В ее седых, хорошо уложенных волосах, в очках, в дорогом кольце, духах — ощущалось прочное, то, что называется distinguée. Глядя на нее, можно было почувствовать, что она прожила жизнь длинную и чистую, где не было ни ошибок, ни падений, но работа, долг, культура. Она много переводила с английского. Писала о литературе. Дружила с Анатолем Франсом.

Разговор пресекся. Вечер же начался. Певица пела. Беллетрист с профилем шахматного коня, во фраке, скучно бормотал свою меланхолическую вещь. Приехал актер, знаменитый голосом, фигурой и фраком. Он ловко заложил руки в карманы, слегка дрыгнул ногой, чтоб поправить складку на Делосовых брюках, и, опершись на камин, сразу почувствовал, что все в порядке, все его знают и любят.

Христофоров наклонился к Машуре и спросил:

— Я не вижу Антона. Его нет здесь?

Машура несколько закусила губу:

— И не будет.

Актер вышел, читал Блока. В дверь виднелась его сухая, крепкая спина, светлая шевелюра, а дальше, в зрительном зале все полно было сиянием люстр, белели туалеты дам, отсвечивало золото канделябр и кресел. Когда начали аплодировать, Машура сказала:

— Вы же знаете его. Вдруг рассердился, сказал, что к таким, как Колесникова, не ходят, одним словом, как всегда.

Она вздохнула.

— Я ответила, что со мной так нельзя разговаривать. Он ушел, не простился. А я, конечно, отправилась. Да, — прибавила она и улыбнулась, — я соверши-

ла еще маленькое преступление: занесла вам ветку черемухи.

Христофоров засмеялся, и чуть смутился.

— Я очень рад, что вы...

— Какой у вас странный домик! Мне отворила квартирная хозяйка, старушка старомодная, в шали, там в комнатах киоты, лампадки, половички по крашеному полу. Когда я подымалась к вам по лесенке, на перилах сидел кот... Правда, похоже на келью.

— Я люблю тихие места. Да потом, это мне и по средствам. Ведь вот тут, — он с улыбкой оглянулся, — здесь, вероятно, человек, снимающий в передней пальто, богаче меня.

Машура взглянула на него ласковыми, темными глазами.

— Было бы очень странно, если б вы были богаты.

Мимо них прошла Колесникова, обмахиваясь веером.

Она благодарила знаменитого актера, слегка наклоняясь к нему угловатой, худой фигурой.

— Если б Антон узнал, что я у вас была, — продолжала Машура, — он бы меня знаете как назвал...

Она опять покраснела от недовольства.

Христофоров смотрел куда-то вдаль, в одну точку. Голубые глаза его расширились.

— Я иногда гляжу на Антона, — сказал он, — и думаю: он не скоро угомонится.

Машура вздохнула.

Начался последний номер — мелодекламация — то, что любят в провинции. Виолончель тянула свои, якобы поэтические, фиоритуры; актриса в тысячном белом платье *бросала* в публику фразы, затем изображала нежность, умиление, вновь рокотала. Все это имело успех.

После актрисы публика стала разъезжаться. Свои остались. Свои делились на две части: участники и знакомые. Их пригласили ужинать. В один конец сажали актеров, писателей, лиц с *именами*. Там и вино стояло получше. Родственники и знакомые занимали другой фланг. Христофоров, Вернадские и Анна Дмитриевна оказались в середине, на водоразделе титулованных и разночинцев. Христофоров присматривался с любопытством. Когда нынче он говорил, что стал выезжать, это было верно лишь отчасти, в сравнении с прежней его жизнью — в деревне, в тихих провинциальных городах, где приходилось ему работать и в земстве, и давать уроки, жить вообще жизнью более чем скромной. Часть же этой зимы он провел в Москве, получив временную работу. И видел народа больше; но совсем, все же, не знал того круга, который здесь собирался.

Против него сидела Анна Дмитриевна. С ней рядом офицер генерального штаба, которого он заметил еще на концерте: человек высокий, сухощавый, стриженный бобриком, с нездоровым цветом лица и темными, без блеска глазами. И он, и Анна Дмитриевна много пили. Она смеялась. Он же был сдержан. Вино, казалось, на него не действовало.

Христофоров спросил о нем Наталью Григорьевну. Та поморщилась.

— Говорят, из хорошей семьи, и вначале подавал надежды. Но потом какая-то темная история по службе... Его фамилия Никодимов. Нет, не моего романа. Ведет предосудительную жизнь. Настоящий... — она засмеялась. — Un dépravé. Не понимаю Анну Дмитриевну.

И видимо не желая продолжать, она свела разговор на то, о чем порядочные люди в Москве говорят каж-

дый апрель и каждый май: кто куда едет на лето. Христофоров узнал, что нынче они будут под Звенигородом, сняли имение, что там красиво, тихо, хотя есть и соседи — Анна Дмитриевна, например. Тут же она добавила, что есть свободная комната: будет отлично, если он к ним приедет — лучше бы, надолго.

Христофоров благодарил. О лете совсем он не думал, считал, что само как-нибудь выйдет, как и все почти в жизни. Но сейчас ему было приятно, что именно Вернадские его зовут. Много раз уже, в его бродяжной, нескрепленной жизни, приходилось ему гостить и жить у разных людей. Он знал, как берут свой чемоданчик и являются под благосклонный кров. Но кров Вернадских был особенно приятен.

Било два, когда Христофоров выходил из подъезда. Вернадские уже уехали. Вслед за ним выходила Анна Дмитриевна, Никодимов, и еще целая компания. Автомобиль ждал их. Ехали за город, встречать рассвет. Когда Христофоров шагал уже по переулку, машина тяжело шурша, обогнала его.

— Прощайте! — крикнула Анна Дмитриевна. — Дитя, не сердитесь!

Он снял шляпу и помахал. Автомобиль умчался. Христофоров шел с непокрытой головой. Ночь была синяя, прозрачная и теплая. На востоке светлело. Там виднелась крупная, играющая звезда. Христофоров поднял голову. И тотчас увидел голубую Вегу, прямо над головой. Он не удивился. Он знал, что стоит ему поднять голову, и Вега будет над ним. Он долго шел, всматриваясь в нее, не надевая шляпы.

II

В дни начала июня дом Вернадских принял тот вид, какой имеют многие дома с наступлением лета: мебель в чехлах, гардины убраны, портреты, картины, на стенах затянуты кисеей. Это значит, что Машура с Натальей Григорьевной, после долгой, сложной уборки выехали, наконец, на Брестский вокзал, и в купе первого класса, сдав многочисленный багаж, катят мимо разных Кунцевых и Филей к станции, откуда извозчичья коляска отвезет их в новое летнее пристанище.

Дорога на лошадях приятна и разнообразна; небогатые нивы, леса, иногда хвойные; зажиточные села с хорошими избами; много шоссе; есть старинные, знаменитые подмосковные с парками и прудами — к ним ведут иногда березовые аллеи; в селах новые школы, столбы на перекрестках с надписями о дорогах — те мелочи, что говорят о некой просвещенности.

Вечерело. Из-за поворота в лесу вдруг открылся вид на Москва-реку, луга и далекий Звенигород. В густой зелени горела золотая глава монастыря. Закатным светом, легкой, голубеющей дымкой был одет пейзаж. Коляска взяла влево, песчаным берегом; лошади перешли в шаг. Подплывал паром. Кулик летел над водой.

— Здесь очень хорошо, — сказала Наталья Григорьевна. — Мне очень нравится.

— Да.

Машура не была нынче разговорчива. Она несколько устала. На побледневшем лице глаза казались еще темнее.

— Обрати внимание на эти луга. Прямо с нашей террасы откроется вид на много верст. И потом, здесь чрезвычайно здоровый климат.

Наталью Григорьевну, приемную свою мать, Машура очень уважала. Тут была и любовь: но с детства любовь поставили так, что бурно выражаться, в нежности, она не могла. И иногда Машуре хотелось, как и сейчас, чтобы мать была немного менее основательна, спокойна. «Свежий воздух, климат, полезно», — слова мелькали в ее мозгу, ничего не говоря. Ей все равно было, полезна жизнь здесь, или нет.

На заре въехали в старую усадьбу, бывшую вотчину Годуновых — уже смеркалось. Огромный деревянный дом казался мрачным; мебели было мало. В зале с поскрипывавшим паркетом, за круглым столом они ужинали при свечах. Свежие редиски с маслом казались вкусны; на свечи летели ночные бабочки, в углах было полутемно. Заря из темнокрасной переходила в холодноватую мглу. Будто жутко стало Машуре — нежилое, ветхое надо обогреть, прежде чем станет своим. Все же, поужинав, она спустилась в сад. Росла тут трава, кое-где цветы, какие кому вздумается. Такие же и дорожки: будто их никто и не делал, пролегли они, как Бог на душу положит. За садом канава в березах, а там луга. Машура вышла в них. Было росисто. Над Москва-рекой стоял туман, деревня смутно темнела. Там наигрывали на гармонике. Машура не знала, хорошо ей сейчас, или плохо. Новое место, новые луга, усадьба, неизвестные ели высятся там, правее. Завтра взойдет солнце, и новые места откроют новую свою, дневную душу.

«Вот Алексей Петрович сразу понял бы тут все, — вдруг подумала она. — Почему Алексей Петрович? А про него сказал один знакомый: 'в нем есть священный

идиотизм', — она засмеялась. — Ну, это пустяки! Вовсе не идиотизм, а что он немного фантастический, это верно».

В доме два окна светились. Одно распахнулось, и голос Натальи Григорьевны не очень громко, но как раз, чтобы слышно было, крикнул:

— Машура! Пора домой.

— Иду-у!

С детства Машура знала, что она Наталье Григорьевне подчиняется. С детства порядок и серьезность внушались ей, хоть не всегда успешно.

Прибредя домой, она прошла в комнату матери. Наталья Григорьевна, в чепце, в очках и безукоризненном белье лежала в постели и читала роман друга своего, Франса. Машура поцеловала ей руку.

— Ты все бродишь, — сказала Наталья Григорьевна, — пора бы и ложиться. Завтра тебя не подымешь.

— Нет, милая мама, подымете, когда понадобится.

— Мне не понадобится, но для твоей же пользы.

Машура раздевалась в комнате рядом. Уже заплетя косы, дунув на свечу, чтобы ложиться, она спросила из темноты:

— Мама, а тут не страшно?

Не отрываясь от чтения, Наталья Григорьевна ответила.

— Нет.

Машура перекрестилась, натянула одеяло на худенькое плечо и опять спросила:

— Антон не говорил, когда приедет?

— Разве можно придавать значение его словам? Сказал, что не скоро.

— И очень буду рада, — холодно ответила Машура.

«Конечно, — думала Наталья Григорьевна уже в темноте, — эти взаимные qui pro quo и пертурбации необходимы. Все же характер Антона» . . . Она вздохнула и вспомнила об Анатоле Франсе. Вот где культура, порядок, уравновешенность! Тут ей представилось, что трудное слово *культура* можно по-новому определить. Старческой рукой зажгла она вновь свечу и, надев очки, записала в книжечку афоризмов и наблюдений: «Культура есть стремление к гармонии. Культура — это порядок». Записью она осталась довольна и спокойно отошла ко снам.

Хотя с вечера голова немного ныла, Машура хорошо спала, встала в добром настроении. Надела белую матерчатую шляпу, добыла лопату, скребок, и к запущенному саду стала применять то, что ночью мать назвала культурой. Чистила дорожки, вскопала клумбу. Наталья Григорьевна поощряла такие дела, — находя, что общение с землей полезно для молодежи: укрепляет тело, облагораживает душу.

Сама она занялась домом; надо было и его подтянуть. Наталья Григорьевна не хлопотала и не суетилась; она действовала. Под ее умелым водительством переставили мебель; что нужно — добавили; появились скатерти на столах, на окнах портьеры, букеты сирени в вазах. Было разобрано белье. Платье развесили по шкафам.

Перед завтраком, когда меньше всего о нем думали, вкатил на велосипеде Антон. Он был в каскетке, поношенной летней паре, запыленный. Пот катился со лба. Поставив велосипед, он снял фуражку и отер разгоряченное лицо. Антон несколько сутулился, но стоял твердо на коротковатых ногах. Он был некрасив — с широким лбом, небольшими глазами, сидевшими глубоко; не украшал его и нечистый цвет лица — что-то

непородистое, тяжеловатой выделки в нем чувствовалось. Отец Антона был дьячок.

— Насилу вас нашел, — сказал он Наталье Григорьевне, здороваясь. — А, и Машура занялась хозяйством. Дело.

Машура подошла, и просто ему улыбнулась.

— Как видишь.

— А я, извини меня, ведь нынче тебя и не ждала, — сказала Наталья Григорьевна.

— Имели полное основание. Я не хотел приезжать, но потом передумал... — он густо покраснел, и как будто на себя рассредился. — Да, а потом приехал.

Позвали завтракать. Завтрак был умеренный, свежий и вегетарианский, во вкусе дома.

— А, — сказал Антон, улыбнувшись, — у вас все то же, овощи, спасение души...

— Нет, не спасение, — ответила Наталья Григорьевна, — а просто нахожу это здоровым.

Антон давно бывал у них, еще вихрастым гимназистом, когда вместе с Машурой состоял старостой гимназического клуба. Уже тогда он был серьезен, головаст, давал уроки, помогал матери, и стремился на физико-математический факультет. Но и теперь, считаясь женихом Машуры, изучая интегральное исчисление, — целиком не мог привыкнуть к дому Вернадских. Что-то его удерживало. Он уважал Наталью Григорьевну, но ненавидел Анатоля Франса, бельевые шкафы в их доме, дворню, сундуки и порядок, олицетворением которого считал хозяйку. Кроме того, ему казалось, что он плебей, parvénu. Он, вероятно, не прощал Наталье Григорьевне ее барства.

И теперь, когда она говорила о профессорах, университете, его будущей работе, ему казалось, что это

все — приличия, чтобы его занять и выказать внимание.

После завтрака Антон прилег в гостиной на диване. Обычные, очень частые мысли проходили в его мозгу. Казалось, что его не ценят; Наталья Григорьевна недовольна, что он близок к их дому; даже Машура его не понимает. Что именно в нем понимать — он затруднился бы сказать, но что он существо особенное, — в этом Антон был уверен.

Однако, он заснул самым крепким и негениальным образом и проспал часа два. Проснувшись зевнул и встал. В доме было тихо — чувствовалось, что никого нет, пахло сиренью от букетов, чуть навевал ветерок из балконной двери; шмель гудел; в бледных, перламутровых облаках стояло солнце — неяркое и невысокое. Антон вдруг улыбнулся, сам не зная чему. Захотелось видеть Машуру; он не знал где она; просто вышел в сад, взял направо, прыгнул через канаву и направился к недалекому лесу. Пахло лугами; откуда-то доносились голоса; будто телега поскрипывала. У опушки леса виднелось белое платье.

Лес был — ельник; тропинка выводила к обрыву над речкой, притоком Москва-реки. Песчанный скат шел к воде, в нем стрижи устраивали ямки, и торчали корни сосны. Машура босиком, слегка подоткнув юбку, стояла по щиколотку в воде и подымала камни. Иногда рак оказывался там. Она хватала его подмышки и бросала в лукошко с крапивой.

Антон сел на обрыв, спустив вниз ноги.

— Ты устраиваешь деревенскую идиллию?

Машура подняла на него лицо, трепещущее оживлением, весело ответила:

— Раков ловлю.

— А я заснул, проснулся, и не могу понять, где я.

— Ложись опять. Ты утром был хмурый. А сейчас какой?

Антон усмехнулся.

— Сейчас я, кажется, приличен.

Он лег недалеко от обрыва на мелкие, сухие хвои. Справа даль голубела, шли луга, виднелся Звенигород. Слева темной чащей стояли елки на пустынной, иглами усеянной земле. Там было мрачно. С лугов же тянуло теплом, благоуханием, какое-то благорастворение было в этом месте. Внизу видел Антон излучину речки, с настоенной, темно-коричневой водой, где голыми, покрасневшими ногами действовала Машура. Ему было очень покойно тут.

Позанявшись своей забавой, пришла Машура, натянула чулки, села рядом. Он положил голову ей на колени. Ее руки пахли водой, раками, водорослями. Она гладила ему волосы, и говорила:

— Хорошо, что сейчас ты милый, и ты правда мой милый, такой Антон, как надо быть. Настоящий мой жених. А когда не настоящий, я тоже знаю. И не люблю.

Антон слегка фукнул.

— Белым-то нас всякий полюбит. Ты полюби черным.

— Что ж, и черным...

— Всяким?

— Всяким...

Машура задумалась, по ее худому, нервному лицу прошло как бы напряжение.

— Но и я не все понимаю, иногда мне кажется, что между нами, мною и тобой, уже роковое, судьбой назначенное, как знаю я тебя почти ребенком. А иногда думаю: навсегда ли?

— Скажи, — спросил он вдруг, — правда, что этот... Христофоров к вам приедет?

— Да, хотел. Почему ты спрашиваешь?

— Нет, ничего. Просто вспомнил.

Он взял Машурину руку, поцеловал в ладонь, и долго рассматривал.

— Мне всегда нравилась твоя рука. Пальцы длинные, тонкие.

Он вздохнул и сказал уже несколько иным тоном:

— Белая кость!

Машура опять задумалась.

— А что если я очень легкомысленная? — вдруг спросила она. — Ты меня невестой считаешь...

Он вспыхнул.

— И перестал бы считать, если б...

Он не договорил.

Некоторое время они молчали. Что-то тяжелое переливалось в Антоне. Видимо, он себя сдерживал.

— Удивляюсь, — сказал он, наконец, — если ты меня действительно любишь, почему же такие мысли...

Тут, как будто, Машура смутилась.

— Ах, это, конечно, чепуху я говорю.

Когда они шли домой, Антон вдруг сказал ей, просто и глухо:

— А я думаю, что один человек уже тебе нравится.

Машура высунула ему кончик языка, фыркнула и, подобрав платье, помчалась к саду.

Дома ждал самовар, чай с очень белыми сливками, Наталья Григорьевна. А в сумерках еще малое событие произошло в усадьбе, бывшей вотчине Годунова: на паре лошадей, в тележке, с мужиком на козлах подкатил голубоглазый Христофоров. Он был в широкополой шляпе, синей рубашке, на которую надел ветхое летнее пальтецо; усы свешивались вниз, глаза

глядели обычно — приветливо, по-детски. Назвав мужика «вы, кучер», заплатив, Христофоров, слегка запыленный, с небольшим чемоданчиком, другом бродячей жизни, предстал Антону, Машуре и Наталье Григорьевне.

III

Христофоров, как ему и полагалось, занял низенький мезонин. Здесь быстро он освоился, вынул вещи, разложил книжки; цветы в вазочке появились на столе — и нечто от Христофорова сразу определилось в его жилище. Было оно в этих цветах, в снимке ботичеллиевской Весны на стене, в книгах, чемоданчике, в штиблетах на ластике, выглядывавших из угла комнаты.

В жизнь дома он вошел удобной частью; был незаметен, нешумлив, неутомляющ; гулял иногда с Машурой и Антоном. С Натальей Григорьевной мог поговорить о Шатобриане.

Антон чувствовал себя с ним неровно. Что-то в Христофорове ему не нравилось, почти раздражало. Не любя кого-нибудь, он обычно — резко задирал. Задирать Христофорова было нелегко, за полной его нечувствительностью. Быть добрым и простым — тоже не выходило. Антона злило спокойствие, как бы безоблачность этого человека.

— Я знаю, — говорил он Машуре, раздраженно, — что он у червяка попросит извинения, если наступит. Люди, которые всегда, во всем правы! Невыносимо!

Машура смотрела на него с усмешкой.

— Ты бы лучше хотел, чтобы он всегда был неправ?

— Не подумай, пожалуйста, что я *чрезмерно* им интересуюсь, — сказал Антон, подозрительно. — Мне, в сущности, до него очень мало дела.

— Я ничего не думаю, — ответила Машура, — но ты к нему несправедлив.

— Ну, конечно, я во всем виноват!

Антон вспыхнул, и разговор прервался.

Иногда он садился на велосипед и уезжал на станцию, откуда с поездом в город. Без него в доме сразу становилось тише, иногда Машура ловила себя даже на том, что несколько она отдыхает; легче нервам. Это было отчасти и нехорошо; ее изумляли отношения с ним. Уже давно привыкла она считать его своим, и себя — принадлежащей ему. Тогда откуда же эта неловкость? Как бы затрудненность в чувствах? «У него нелегкий характер, — решила она, стараясь себя успокоить, — но, конечно, я должна его поддерживать».

Странным казалось ей то, что с Христофоровым ей было легче, свободнее, хотя понимала она его еще менее, чем Антона. Иногда, ложась спать, она улыбалась в темноте: «Он странный, но страшно милый. И страшно настоящий, хотя и странный».

Случалось ей видеть, как в знойный полдень подолгу он сидел над гусеницей, ползшей по листу; без шляпы бродил по саду, с расширенными зрачками. Обедая на балконе, внимательно наблюдал, куда летит горлинка, точно ему это требовалось. И с той же внимательностью, нежностью переводил взгляд на Машуру.

— Вам всё нужно, все нужны? — улыбаясь, спрашивала Машура.

Он отвечал спокойно и приветливо:

— Я люблю ведь это . . . все живое.

В мезонине у него была подвижная карта неба. На каждый день он мог определить положение звезд. Вечерами очень часто выходил в сад, всматривался в небо, как бы сверяясь, все ли на местах в его хозяйстве.

Это заметила и Наталья Григорьевна.

— У вас со звездами какие-то особые отношения, — сказала она раз, шутливо.

— Дружественные, — ответил Христофоров так серьезно, будто правда звезды были его личными знакомыми.

Однажды вечером они сидели с Машурой на террасе. Христофоров был как-то тих и задумчив весь этот день.

— Когда же Антон вернется? — спросил он.

Машура сдержанно ответила:

— Не знаю.

Он помолчал.

— Мне кажется, что он не особенно хорошо себя чувствует.

Машура слегка вздохнула и спросила:

— А как вы себя чувствуете?

— Я — отлично, — тихо ответил Христофоров. — У вас здесь мне очень хорошо. Но думаю, все же, недолго тут пробуду.

С лугов тянуло сыростью и сладкой свежестью. Москва-река туманилась.

— Почему не долго?

— Знаете, — сказал Христофоров, — мне всегда приходится кочевать. То тут, то там. У меня нет так называемого гнезда. Кроме того, что-то смущает меня здесь.

— Как странно . . . Что же может вас смущать? — спросила Машура с качалки, слегка изменившимся голосом.

Христофоров опять ответил не сразу.

— Не могу объяснить, но мне кажется, что я не должен жить у вас.

— Ну, это глупости!

Машура привстала, явное неудовольствие можно было в ней прочесть. Даже глаза нервно заблестели.

— Вы все выдумываете, все разные фантазии.

Расширив зрачки, Христофоров смотрел вдаль, не отрываясь.

— Нет, я ничего не выдумываю.

Машура подошла к нему, взглянула прямо в лицо. Его глаза как будто фосфорически блестели.

— Нет, правда, — тихо спросила она, — что вас смущает?

Христофоров взял ее руку и молча пожал.

Машура сбежала в цветник, остановилась.

— Это что за звезда? — спросила она громко. — Вот там? Голубоватая?

— Вега, — ответил Христофоров.

— А! .. — протянула она безразлично и пошла в глубь сада. Сделав небольшой тур, вернулась.

Христофоров стоял у входа, прислонившись к колонне.

— В вас есть сейчас отблеск ночи, — сказал он, — всех ароматов, очарований ... Может быть, вы и сами звезда, или Ночь ...

Машура близко подошла к нему и улыбнулась ласково.

— Вы немного ... безумный, — сказала она и направилась в дом. С порога обернулась и прибавила:

— Но, может быть, это и хорошо.

Машура не скрывала, — она тоже была взволнована. Весь этот разговор был неожидан, и так странен ...

Она пробовала читать на ночь, но не читалось. Спать — тоже не спалось. За стеной мирно почивала Наталья Григорьевна. В комнате было смутно; ветерок набегал из окна. С лугов слышен был коростель. Долетали запахи, тайные вздохи ночи. Машура ворочалась.

Около часу она встала, накинула капот. Ей хотелось двигаться. Прислушиваясь к мерному, негромкому храпению за стеной, она с улыбкой подумала: «Ни к чему, оказывается, доброе мамино воспитание!» Все же выходила потихоньку, чтобы ее не разбудить — не через балкон, а с другой стороны, где был подъезд. Тут росли старые ели. Среди них шла аллея, по которой подъезжали к дому. Машура направилась по ней. Было очень темно, лишь над головой, сквозь густые лапы дерев, мелькали звезды. Над скамейкой, влево, светился огонек папиросы. Машура быстро прошла мимо, среди тьмы парка, к калитке, выходившей в поле. Тут стало светлее. Вилась дорога; побледневшие перед рассветом поля тянулись. Отсюда завтра должен приехать Антон. Машура оперлась на изгородь, смотрела вдаль.

Сзади послышались шаги. Она обернулась. Это подходил Христофоров. Папиросу он держал в руке, несколько впереди себя.

— А я и не сообразил, что это вы, — сказал он, тихо улыбнувшись.

— Ночь проходит, еще час, будет светать, — ответила Машура.

— Почему вы нынче спросили о звезде Веге? — вдруг сказал Христофоров.

Машура обернулась.

— Просто . . . спросила. Она бросилась мне в глаза. А это что, важно?

Христофоров не сразу ответил. Потом все-таки сказал:

— Это моя звезда.

Машура улыбнулась.

— Я и не отнимаю ее.

Христофоров тоже усмехнулся.

— Значит, — продолжала Машура, — мама права, когда говорит, что со звездами вы лично знакомы.

— Не смейтесь, — ответил Христофоров.

— Лучше поглядите на нее. К счастью, и сейчас еще она видна. Вглядитесь в ее голубоватый, очаровательный и таинственный свет... Быть может, вы узнаете в нем и частицу своей души.

Машура молча смотрела.

— Я не смеюсь. Правда, звезда прелестная. А почему она ваша?

Но Христофоров не ответил. Он показал ей Сатурна, висевшего над горизонтом; остро-колючего Скорпиона; Кассиопею — вечную спутницу неба, крест Лебедя.

Когда они возвращались, светлело и под елями.

Жаворонок запел в полях. Далеко, в Звенигороде, звонили к заутрени.

Христофоров напомнил, что давно уже они собирались сходить в монастырь — старинное, знаменитое место.

— Да, хорошо, — ответила Машура. — Пойдем. Вот Антон приедет.

Она была рассеяна. Спать легла с еще более странным чувством. Ночь без сна, разговоры с Христофоровым, волнение. Нет, тут что-то есть, почти против Антона. Она очень устала. Засыпая, подумала: «Если б я рассказала ему, он бы страшно рассердился. И если бы он был тут... ну, какие глупости... ведь я же ничего против него не сделала».

С этим она заснула.

Антон приехал утром, по той самой дороге, откуда она его ждала, на том же велосипеде. Машура была с ним ласкова — задумчивой, подчеркнутой ласковостью. Но о прогулке с Христофоровым не сказала.

IV

В монастырь собрались через несколько дней. Прежде Антон сам предлагал сходить туда, но теперь возражал; и в конце концов — тоже отправился.

Они вышли утром, при милой, светло-солнечной погоде. Дорога их — лугами, недалеко от Москва-реки, мелким своим течением, изгибами, ленью красящей здешний край. Берега ее заросли лозняком; стадо дремлет в горячий полдень; легкой рябью тянется песок, белый и жгучий; у воды пробегают кулики, подрагивая хвостиками. Дачницы идут с простынями, выбирая место для купанья. На песке голые мальчишки.

Вдали лес засинел над Звенигородом; раскинулся по холму сам городок, и древний собор его белеет. Домики серые и красные, под зелеными крышами, среди садов, вблизи монастыря, глядящего золотыми глазами из дубов. Старый, маленький город. Красивый издали, беспорядочный, растущий как Бог на душу положит; освященный древнею, благочестивою культурой.

Было далеко за полдень, когда Машура и Антон с Христофоровым подымались к монастырю. Путь извивался; налево крутое взгорье, с редкими соснами и дубами; на вершине стена монастыря, ворота, купола, церкви — как в сказках; направо — дубовый лес. Несколько поворотов — взобрались, наконец: монастыр-

ская гостиница. Двухэтажный дом со старинными, стеклянными сенцами, с половичком на крашеной лестнице, длинным коридором с несвежим запахом — все то, что напоминает давние времена, детство, постоялые дворы в провинции, долгие путешествия на лошадях.

Заняли комнату с белыми занавесочками, портретами архиереев и архимандритов. Обедали на свежем воздухе; в тени дубов, за врытым в землю деревянным столиком; внизу виднелась речка, поля и заросшие лесом холмы. Тянуло прохладой. Монах медленно подавал блюда.

Антон был хмур.

— Собственно, — сказал он, — я не совсем понимаю, зачем мы здесь. Самый обыкновенный монастырь.

— Ты сам говорил, что здесь очень хорошо, — ответила Машура.

— Хм! Когда я это говорил? И в каком смысле?

Машура не возражала.

— А мне очень нравится, — сказал Христофоров, обтирая усы. — Между прочим, не посмотреть ли сейчас, после обеда, собор, там в городе.

Антон заявил, что идти сейчас никуда не намерен, тем более «тащиться по жаре Бог знает куда».

Христофоров было отказался, но Машура решила, что непременно пойдет. Темные глаза ее заблестели, прониклись трепетом и раздражением. Антон сказал, что ляжет спать. Пусть они гуляют.

— Все ведь это нарочно, все нарочно, — говорила Машура через полчаса, идя с Христофоровым. — Ах, я его знаю!

Христофоров как-то стеснялся.

— Может быть, мы напрасно идем.

— Я иду, — холодно ответила Машура, — посмотреть старинный собор. Мне это интересно.

Собор стоял выше города, на площадке, окаймленной лесом — белый, древне-простой, небольшой, с нехитрой звонницей рядом.

Машура с Христофоровым сели в тени, на ветхую лавочку. Вниз тянулся Звенигород. Москва-река вилась; далеко, за лугами, в лесу белел дом с колоннами.

— Удельный город, — говорил Христофоров. — Эти места видели древних князей и татар, поляков, моления, войну ... Сама история.

— Здесь очень хорошо, — сказала Машура. — Смотрите, какой лес сзади!

Площадка опоясывалась каким-то валом — похоже, остатками старинных укреплений. За ними лес стоял, густой, смолистый, верно, не раз сменявшийся со времен св. Саввы. Тянуло свежим, очаровательным его благоуханием.

— Времена Петра прошли тут незаметно, — продолжал Христофоров. — Потом Екатерина, помещики. Этот край весь в подмосковных. Знаменитое Архангельское недалеко. И другие. Жизнь отвернула новую страницу, новый след. Может быть, и наш век проведет свою черту. А мы, — сказал он тихо, и глаза его расширились; мы живем и смотрим ... радуемся и любим эти переливы, вечные смены. И, пожалуй, живем тем прекрасным, что ... вокруг.

Машура не ответила. Не то, чтобы она была поглощена чем, все же как-то замкнулась, собралась.

По дороге назад Христофоров сказал:

— А остаток лета придется мне проводить в Москве.

Машура несколько задохнулась.

— Вы ... наблюдатель ... созерцатель ... вам все равно, где, с кем жить. Следите за переливами ... Что ж, вам виднее.

Христофоров ответил тихо и очень сдержанно.

— Я уезжаю не потому, что я наблюдатель.

Машура пожала плечами.

— Тогда я ничего не понимаю.

— Прав — я, — ответил Христофоров, мягко, как бы с грустью. — Поверьте!

Когда они подходили к гостинице, у подъезда стоял автомобиль. Высокий офицер и господин в штатском говорили с монахом. В автомобиле сидела дама. Машура сразу узнала Анну Дмитриевну.

Анна Дмитриевна улыбнулась.

— А, и мы! Паломничеством занимаетесь?

Машура сказала, где они были. Господин в штатском обернулся.

— Черт возьми, почему же нас не пускают? Нет, скажите пожалуйста, мне очень это нравится: святое место, мы приехали отдохнуть, и вдруг — нету номеров!

Он был худой, седоватый, с изящным лицом. Синие глаза смотрели удивленно. Подойдя к Машуре, он поклонился, назвал себя:

— Ретизанов.

И все улыбался, недоуменно, как бы обиженно.

— А нам больше повезло, — сказал Христофоров. — У нас есть комната, мы бы могли ее предложить.

Машура подтвердила.

— Так у вас есть комната? — закричал Ретизанов, все держа перед собою канотье. — Дмитрий Павлович, — крикнул он офицеру, — у них есть комната!

Никодимов подошел, вежливо поклонился. Глаза его, как обычно, не блестели.

— Вы нам очень поможете, — сказал он.

Анна Дмитриевна вышла из автомобиля.

— Ну, милая вы голова, — сказала она Ретизанову, — почему же вы думаете, что в монастырской гостинице *обязаны* иметь для вас помещение?

— Нет, это странная вещь, мы приехали, и вдруг...

Ретизанов развел руками. Он, видимо, был нервен и легко, как-то ребячески вспыхивал.

Антон не очень оказался доволен, когда к ним в номер ввалилась целая компания. Он сказал, что был уже в монастыре, и там ничего интересного.

— Я бывал тут давно, — тихо сказал Христофоров, — но сколько помню, напротив, монастырь мне очень нравился.

Антон взглянул на него своими маленькими, острыми глазами почти дерзко и фыркнул.

— Может быть, вам и понравился.

— Я смертельно пить хочу, — сказала Анна Дмитриевна, — пусть святые люди дадут мне чаю, выпьем и пойдем рассудим, кто прав.

Автомобиль попыхтел внизу и въехал во двор; розовый дом напротив сиял в солнце. Коридорный, времен давнишних, в русской рубашке и нанковых штанах, принес на подносе порции чаю; приезжие пили его из чашек с цветами, рассматривая душеспасительные картинки на стенах. Воздух летнего вечера втекал в окошко. Ласточки чертили в синеве; за попом, проехавшим в тележке, клубилась золотая пыль.

Машура и Христофоров вышли со всеми. Антон, почему-то, тоже не остался. Через небольшую поляну подошли к монастырским воротам — с башнею, образом над входом. Внутри — церкви, здания, затененные липами и дубами; цветники с неизменными георгинами. Недавно началась всенощная. В открытые двери древнего храма, четырехугольного, одноглавого, видно было, как теплятся свечи; простой народ стоял густо; чувствовалось — там душно, пахнет ладаном, плывут струи синеющего, теплого воздуха.

Анна Дмитриевна шла своей сильной, полной походкой, щуря карие глаза. Высокая, статная, была она как бы предводительницей всей компании. Иногда подымала золотой лорнет с инкрустациями.

— Вот вы и неправы, совсем неправы о монастыре, — говорила она Антону. — Я так и думала, что неправы.

— Да, это же странное дело, говорить, что тут ничего нет хорошего! — крикнул Ретизанов. — Прямо странное.

Антон искоса поглядывал на Машуру; к ней не подходил, не заговаривал. Он бледнел, раздражался внутренно и сказал:

— Значит, я ничего ни в чем не понимаю.

— Что меня касается, — сказал Никодимов, негромко, глядя на него темными, неулыбающимися глазами, — я тоже не люблю святых пений, золотых крестов, поэтических убежищ.

— А я, грешная, люблю, — сказала Анна Дмитриевна. — Видно, Дмитрий Павлыч, мы во всем с вами разные.

Она вздохнула и вошла в храм Рождества Богородицы, с удивительным орнаментом над дверями, послушать вечерню.

Ретизанов остановился, задумался, снял с головы канотье и, улыбнувшись по-детски своими синими глазами, сказал Никодимову:

— В Анне Дмитриевне есть влажное, живое. А если живое то и теплое. Вы слышали, она сказала: грешная. А в вас одна... одна барственность, и нет влажного, потому что вы ничего не любите.

Христофоров выслушал это очень внимательно.

Никодимов чуть поклонился.

В это время Антон, с дрожащей губой, сказал Машуре, приотставшей:

— В этой компании я минуты не остаюсь. Я иду, сейчас же, домой.

— Что же сделала тебе эта компания? — спросила Машура тоже глухо.

— Тебе с Алексеем Петровичем будет интереснее, а я вовсе не желаю, чтобы меня... Я не гимназист. Пусть Алексей Петрович тебя проводит... до дому.

Он быстро ушел. Машура знала, что теперь с ним ничего не поделаешь. И она его не удерживала. Да и еще что-то мешало. Ей неприятен был его уход. Но как будто так и должно было случиться.

Много позже, когда синеватый сумрак сошел на землю, все сидели у гостиницы, на скамеечке под деревьями. Снизу, от запруды доносились голоса. По тропинкам взбирались запоздалые посетители. Монастырские ворота были заперты, и у иконы, над ними, таинственно светилась лампадка — красноватым, очаровательным в тишине своим светом. Выше, в фиолетовом небе, зажглись звезды.

— Здесь жить я бы не могла, — говорила Анна Дмитриевна. — Но иногда и меня тянет к святому, да, как бы вы ни улыбались там, господин Никодимов, Дмитрий Павлыч!

Она обернулась к Христофорову.

— А правда, что вы в монахи собирались поступать?

— Меня иногда об этом спрашивают, — ответил Христофоров спокойно. — Но нет, я совсем не собирался в монахи.

Подали машину. Было решено завезти Машуру и Христофорова домой. Когда тронулись, Анна Дмитриевна, всматриваясь в Христофорова, вдруг сказала:

— А вас я хотела бы свезти и вовсе в Москву. Послезавтра бега. Что вам в деревне сидеть?

Машина неслась уже лугом. Звенигород и монастырь темнели сзади. Редкие огоньки светились в городе.

— Эх, вот бы нестись . . . это я понимаю, — говорила Анна Дмитриевна. — И еще шибче, чтобы воздухом душило. Нет, поедемте в нами в Москву, Алексей Петрович.

К удивлению ее, Христофоров согласился. Полет автомобиля опьянял их благоуханием — вечерней сырости, лугов, леса. Звезды над головой бежали, и вечно были недвижны.

V

Машуру завезли, как и предполагалось. Полчаса посидели — Наталья Григорьевна тоже изумилась, что Христофоров уезжает — и покатили дальше. Было пустынно, тихо на шоссе: гнать можно шибко. Никодимов достал коньяк, три серебряных стаканчика. Выпил и Христофоров. Стало теплее, туманнее в мозгу.

— А может быть, вы хотите у меня ночевать? — спросил Ретизанов, придерживая рукой канотье. — У меня квартира . . .

И на это согласился Христофоров. Он сидел рядом с Анной Дмитриевной, а напротив покачивались двое мужчин; дальше — голова шофера, зеркальное стекло, золотые снопы света, вечно трепещущие, легко мчащиеся к Москве.

Москва приближалась — золотисто-голубоватым заревом; оно росло, ширилось, и вдруг, на одном из по-

воротов с горы, блеснули самые огни столицы; потом опять скрылись — машина перелетала в низине реку, пыхтела селом — и снова вынырнули.

— Никодимов, — сказала вдруг Анна Дмитриевна, — отчего вы не похожи на Алексея Петровича?

Он слегка усмехнулся.

— Виноват.

— А я хотела, — задумчиво и упрямо повторила она, — чтобы вы были похожи на него.

Никодимов выпил еще, встал, сделал под козырек и спокойно сказал:

— Слушаю-с.

Зазеленело утро. Звезды уходили. Лица казались бледнее и мертвеннее. Мелькнули лагеря, Петровский парк вдали, в утреннем тумане; казармы, каменные столбы у заставы — в светлой, голубеющей дымке принимала их Москва. Анну Дмитриевну завезли домой. Переулками, где возрастали Герцены, прокатили на Пречистенку, и лишь здесь, у многоэтажного дома, отпустил шофера Ретизанов.

Никодимов вышел довольно тяжело; с собой забрал остатки вина, сел в лифт и сказал хмуро:

— Поехали!

Слегка погромыхивая, лифт поднял их на седьмой этаж. Никодимов вышел. Руки были холодны.

Когда Ретизанов отворял ключом двери квартиры, он сказал:

— Отвратительная штука лифты. Ничего не боюсь, только лифтов.

— Лифтов? Ха! Ну, уж это чудачество, — сказал Ретизанов. — А еще меня называете полоумным.

Никодимов вздохнул.

— Вы-то уж помалкивайте.

Он выгрузил на стол свое вино. Лицо его было бледно и устало; глаза все те же, темные; утренняя заря в них не отсвечивала.

Христофоров осматривался. Квартира была большая, как будто богатого, но не делового человека. Он прошел в кабинет. Старинные гравюры висели по стенам. Письменный стол, резного темного дуба опирался ножками на львов. На полке кожаного дивана — книги, на большом столе, в углу у камина — увражи, фарфоровые статуэтки, какие-то табакерки. На книжных шкафах длинные чубуки, пыльный глобус, заржавленный старинный пистолет. В углу — восточное копье.

Странным показалось Христофорову, что он тут, почти у незнакомого, на заре. Он вышел на балкон. Было видно очень далеко — пол-Москвы с садами, церквами лежало в утренней дымке, уже чуть золотеющей; вдали, тонко и легко, голубели очертания Воробьевых гор. Христофоров курил, слегка наклоняясь над перилами. Внизу бездна — далекая, тихая улица; ему казалось, что сейчас все мчит его какая-то сила, от людей к людям, из мест в места. «Все интересно, все важно, — думал он, — и пусть будет все». Он вдруг почувствовал неизъяснимую сладость — в прохождении жизнью, среди полей, лесов, людей, городов, вечносменяющихся, вечно проходящих и уходящих. «Пусть будет Москва, какой-то Ретизанов, кофе на заре, бега, автомобили, Анна Дмитриевна. Это все — жизнь».

— Кофе? — говорил сзади Ретизанов. — Конечно, кофе сюда. Нет, а по-вашему как?

Он тащил уже столик, а за ним Никодимов вышел со своими бутылками. Ретизанов беспокоился, хлопотал, размахивал руками. Все делал он сам — не особенно складно, но шумно и с оживлением.

— А вы, может быть . . . — сказал он Христофорову, и вдруг улыбнулся доброй, детской улыбкой, — может быть, голодны?

Христофоров тоже улыбнулся, слегка покраснел, и ответил:

— Нет, почему же я голоден . . .

— У вас такой вид, — продолжал Ретизанов, с упорной наивностью, — что может быть, вы голодны . . . А то я вас ветчиной угощу.

— Вчера с ним славная была девица, — сказал Никодимов, кивая на Христофорова. — Вы хотя и вроде монаха . . . в женщинах понимаете.

Христофоров опять смутился.

— Машура была со своим женихом . . . — неловко сказал он. — А я, просто потому, что у них гостил.

Никодимов засмеялся.

— Не оправдывайтесь. Жених довольно нескладен . . . и удрал. Не зря, видно. Нет, чокнемся. Такую подцепил . . . — он свистнул. — Ди-те-но-чек! — и прибавил грубое слово.

— Ну, уж это черт знает! — закричал Ретизанов. — Нет, уж я вас знаю. Цинизм разводит. Да вы вообще циник. Нет, я просто не понимаю: такое утро, мы сидим чуть не под небесами, солнце, прелесть, а он . . . гадости. И еще с этаким . . . джентльменским видом. Джентльмен! Вы знаете, — обратился он к Христофорову, — он всегда надо мной издевается. Например, когда я влюблен . . .

— Каждый месяц, — сказал Никодимов.

— Подождите, не перебивайте . . . Когда я влюблен, он мне черт знает что говорит.

Он сел с Христофоровым рядом и вперил в него синие, взволнованные глаза.

— Я вот и сейчас влюблен, — Ретизанов говорил тише, но очень серьезно. — В Лабунскую . . . Нет, это замечательная девушка. Когда вы увидите, то скажете. Она танцует.

— Вместо того, чтобы . . . — сказал Никодимов, — он посылает ей букеты, отождествляет с греческими рельефами . . . ну, это известное . . . рождение Венеры. И, кажется, намерен в кабинете воздвигнуть алтарь для служения ей.

— Нет, с ним нельзя разговаривать . . .

Ретизанов совсем взволновался, вскочил и вышел. Он отправился к себе в спальню, и для чего-то вымыл даже руки, ополоснув лицо. «Нет, это уж черт знает что, — твердил он про себя. — Это черт знает что».

Вернулся он тихий и молчаливый, как бы погасший.

— Вы напрасно на меня сердитесь, — сказал Никодимов, — я во-первых, пьян, во-вторых, — у меня вообще дурной характер.

— Я на вас не сержусь, — ответил Ретизанов, — на вас сердиться нельзя.

Никодимов захохотал, но как-то деланно.

— У-бил! Прямо убил в сердце.

Все же, они сидели довольно долго. Утро, действительно, было чудесно. Понемногу Москва просыпалась. Зазвенел трамвай. Появились женщины с кулечками, проходили рабочие. Никодимов стал зевать; его темные глаза отупели.

Устал и Христофоров. Он решил не оставаться здесь, а прямо пройти домой, там отдохнуть. Когда они выходили через кабинет, Никодимов сказал:

— Здесь живет и работает, собирает старинные книги, изучает ритм, изобретает новые законы гармонии, беседует с гениями и влюбляется дон Алонзо-Кихада

дель Ретизанов. Ну, особенно с гениями: с этими он запросто.

Ретизанов молча подал ему руку. Глаза его были усталы и рассеяны.

Когда вдвоем они спускались в лифте, Никодимов сказал:

— Впрочем, каждый развлекается, как хочет. Я уверен, что сейчас Ретизанов советуется с духами, идти ли завтра к Лабунской, и какой надеть галстук.

— Он спирит? — спросил Христофоров.

— Вряд ли. Скорее, просто чудак. Но из тех, — прибавил Никодимов холодно, — которых многие любят.

Христофоров взглянул на него. Что-то затаенное, почти горькое послышалось ему в этих словах.

Никодимов шел по Пречистенке, очень прямо и довольно твердо, курил и вдруг сказал:

— В общем скучно. Даже очень скучно, хотя и выпил.

Через несколько минут он снова заговорил:

— Вот вы, мудрая душа, sancta simplicitas, объясните мне следующее. Я вижу сон: будто я в Вене, шикарный отель. Вхожу, иду к лифту. Швейцар стоит у дверцы и внимательно смотрит. Снимает каскетку, кланяется мне и улыбается. Отворяет дверцу. Я должен войти . . . Больше ничего, но тут просыпаюсь, всегда с ужасом. Странно, что всегда швейцар одинаков, я помню его лицо. Этот сон я видел раза три. Это что, плохо?

Казалось, Никодимов уже трезв. Он как-то подобрался, впал в некую задумчивость.

— Сна я не умею объяснить, — ответил Христофоров. — Но вполне понимаю, что для вас он может быть неприятен.

Никодимов вздохнул.

— Я все думаю, что этого швейцара с лифтом встречу.

Расставаясь, Никодимов подал ему руку, улыбнулся и сказал:

— Что же, завтра на бега?

— Может быть.

Христофоров зашагал по Поварской. Он не ясно сознавал, почему это делает, и лишь дойдя до дома Вернадских, поймал себя на том, что просто ему приятно пройти мимо него. На улицу выходил особняк с антресолями, со старинными, зеркальными стеклами, чуть отливавшими фиолетовым. Были спущены синеватые шелковые шторы, в складках; деревья затеняли крышу, открыты настежь ворота, двор полузарос травой, у колодца, посреди, бродят сизые голуби. И лишь крепко заперт каретный.

Христофоров остановился на другой стороне улицы, в свежей тени ясного утра, смотрел на антресоли Машуры, потом улыбнулся, повернулся на одной ноге и пошел домой.

Прислуга удивилась, увидав его. Он поздоровался с хозяйкой, старушкой в седых локонах — г-жею Самба; когда-то была она замужем за французом; сохранила манеру аккуратно одеваться, завивать букли; в остальном была старинная московская дама; в комнатах ее пели канарейки, лежали чистые половички, свечи сияли перед иконами; стояло много пустячных статуэток, фотографий — все в безукоризненной чистоте.

Сейчас она пила утренний кофе и тоже удивилась Христофорову. Раньше августа она его не ждала.

Христофоров прошел наверх. Комната казалась пустоватой, все имело уже нежилой дух. Фотографии на стенах обернуты газетами.

Он сел на подоконник, растворил окно. Зеленый тополь шелестел, серебристо отблескивая листиками. Дальше был садик с яблонями, дровяной сарай. Ему представилось, что сейчас Машура встала и работает своим скребком, или лежит в гамаке, а голубое утро опрокидывает над нею свою чашу. Отсюда, издали, даже лучше он ее чувствовал. Хорошо или плохо, что уехал?

Он оглянулся, увидел свою полупустую келью, мгновенно пронеслось пред ним многое из прежней жизни — ряд таких же келий, одиночеств и бесплодных мечтаний. «Ну, и ладно, ладно, — сказал он себе, отходя к кушетке. — Значит, так и живем». Он взял подушку, лег и закрыл глаза. Слезы стояли в них. Эти слезы приятно было бы видеть Машуре. Он же глотал их и ждал, пока просохнут мокрые ресницы.

Несколько успокоившись, Христофоров уснул.

VI

Утро следующего дня было такое же солнечное. Горячий тополь, шелестя пахучей листвой, бормотал за окном. Христофоров скромно пил чай с калачиком и читал газету, когда дверь отворилась: вошла Анна Дмитриевна. В дверях она слегка нагнулась, чтобы не помять эспри. Но и в самой мансарде, при росте вошедшей, эспри чуть не чертил по потолку воздушными своими кончиками.

— А, — сказала она, оглядываясь, — убежище отшельника. Здравствуйте, святой Антоний.

Христофоров встал и улыбнулся.

— Ну, вы тогда царица Савская. Впрочем ... — он смешался. — Я, кажется, говорю глупости.

Анна Дмитриевна захохотала.

— Пожалуй, что и так. Я, во-первых, не имею намерений этой царицы, второе — у меня нет и шерсти на ногах. Дело проще: нынче бега, я за вами заехала. Ни более, ни менее. Впрочем, — прибавила она, — мне еще хотелось посмотреть, как вы живете.

Она подошла к окну, на котором он вчера сидел, тоже села, сняла шляпу и еще раз обвела глазами *убежище*.

— В этой комнате, — сказала она, — нет женщины, и никогда ее не было. По ней тоскуют стены. Хозяин пьет чай с одинокой булкой, ходит с непришитыми пуговицами и скромно чистит скромный сюртучок.

Христофоров взял порыжелую шляпу и сказал:

— Хозяин прожил так полжизни.

Анна Дмитриевна смотрела теперь в садик, залитый солнцем, задумалась. Потом вдруг встала, вздохнула и стала поправлять эспри.

— Может быть, тут и хорошо жить, в вашем скиту. Может и надо так, не вам одним. Эх, милый вы человек, и зеркало же ... ну, да уж что там ...

Они спустились и вышли. Рысак ждал на улице, перебирая в нетерпении ногами — косился на кучера злым глазом; кучер напоминал истукана.

— Москва, голубушка! — сказала Анна Дмитриевна, садясь и указывая на кучерову спину.

— Я ведь и сама Москва, — говорила она, когда тронулись. — Я московская полукровка, мещанка. Говорю «на Москва-реке», «нипочем», люблю блины, к Иверской хожу. Я просто была хорошенькая девчонка, когда меня продали замуж ... или сама продалась. Меня отдали за такое, знаете ли, миллионное животное ...

Сверхестественно миллионное. И животное — сверхестественное.

Она помолчала.

— Я ко всему приучена, голубчик. Всем развращена, чем можно — и людьми, богатством, хамством. Теперь муж мой умер. Мне и говорить-то о нем нельзя.

Она вдруг засмеялась, — холодно и резко.

— Он меня бил. Вы знаете? Случалось. Я запудривала синяки.

Христофоров сбоку, с удивлением взглянул на эту статную, темноволосую женщину. Она поняла и улыбнулась.

— Ах, дитя, не ищите. Теперь сошли.

Когда рысак, пенясь под жарким солнцем, мчал их за триумфальной аркой, среди зелени к Петровскому парку, она спросила:

— Нравятся вам два небольших слова: «Тайное горе. Тайное горе»?

Христофоров опять на нее взглянул и тихо тветил:

— Да. Очень нравятся.

Она слегка хлопнула его перчаткой.

— Так. Ну, вот и подъзжаем, — перебила она. — Теперь мы направимся с вами в некую клоаку, называемую азартом, игрою и прочим. Здесь посмотрим жалкий человеческий род и себя покажем.

Рысак взял налево и понес по молодой аллее; круглые солнечные пятна трепетали под деревьями; по тротуару спешило человечество. Завиднелось аляповатое здание с группами коней на фронтоне — к нему беспрерывно подходили, подъезжали на извозчиках, автомобилях, собственных лошадях. Христофоров никогда здесь не бывал. Выйдя из коляски, поднявшись к вестибюлю, миновали они турникет, — и тут гудящая, бурливая толпа затолкала его, ошеломила. Только что

кончился заезд. Из амфитеатра спешили к залу, к окошечкам касс, записаться на следующий. Посреди зала, у столиков, захватившие места счастливцы пили чай, воды, коньяк.

Потолкавшись, прошли они в ложу. Открылся вольный свет, голубой воздушный, простор, — а у ног накатанная полоса, уходившая вдаль плавным эллипсом. На легоньких двухколесках проезжали по ней наездники в шутовских полосатых куртках, кэпи и очках. За далеким забором виднелись здания вокзала, дома, сады Москвы, и золотисто переливал купол Христа Спасителя.

— Здесь, — сказала Анна Дмитриевна, оглядываясь, — всякие низы, шваль; а можете увидеть и художника, врача и адвоката. Это затягивает.

— Вы тут часто бываете? — спросил Христофоров.

Она улыбнулась.

— Нет, да я-то не особо . . .— она вынула часики и взглянула. — Что же Дмитрий Павлыч не едет? Это он у нас любитель всяких таких штук, — прибавила она.

Иная интонация послышалась здесь Христофорову. Точно тень пробежала по ней. Она замкнулась, но была спокойна.

— А, вот видите — Ретизанов!

Она приложила к глазам лорнет.

— Гуляет под руку с высокой барышней . . . Лабунская одна, танцовщица.

В это время в ложу вошел Никодимов. Он был свежевымыт, подобран, несколько бледен и оживлен.

— Ставьте на «Кругом-шестнадцать», — сказал он Христофорову, поздоровавшись и поцеловав руку Анне Дмитриевне, — лошадь верная. Селима играет ее, я тоже.

Темные глаза его, сколько могли, выказывали возбуждение.

— Селима живет с Хохловым и все знает. Хохлов нарочно ее темнил, а теперь зарабатывает. В публике никто этой лошади не понимает. Выдача будет по тысяче.

— Ну, уж Бог с ней, с вашей лошадью . . . да и с певицей, — сказала Анна Дмитриевна, — покажите ее, по крайности. А, брюнетка, в фиолетовой какой-то вуали . . . глаза подкрашены по-суздальски . . . Понимаю . . . Ти-пичная. С ней юркий господинчик. Да . . . это, — обратилась она к Христофорову, — такие темные личности, якобы все знают про лошадей, и дают вам совет — за вознаграждение, понятно . . . Юрисконсульты по лошадиной части. А больше всего — жулики. Называются они — жучки. Среди них вот приятели Дмитрия Павлыча.

Никодимов усмехнулся.

— Если что-нибудь скверное, то непременно Дмитрий Павлыч.

Внизу зазвонили. Шесть лошадей тронулось, быстро они сбились в кучу, каждая стараясь занять внутренний круг. До поворота нельзя было определить их шансов. Но лишь вышли на прямую, впереди оказался маленький, похожий на кузнечика наездник. «Забирает, забирает», говорили кругом. «Сенькин забирает». «Нет-с, не думайте . . . Не выдаст». «Что-то туго . . .» «Ага, Хохлов!»

Христофоров заметил, что теперь, вблизи второго поворота, из группы лошадей, бежавших изо всех сил, отсюда же казавшихся игрушечными, вдруг выделилась одна, с голубым наездником, и легко обошла кузнечика. Толпа на трибунах загудела. «Хохлов! — слышались голоса. — Хохлов!» Обернувшись Христофо-

ров увидел бледные, раздраженные лица. Бинокли впились в точку эллипса, где некий Хохлов, под блеском полуденного солнца, обгонял на своей «Кругом-шестнадцать» Сенькина, кузнечика. Никодимов стоял вытянувшись, приложив ладонь к козырьку фуражки. Мускулы на шее его подрагивали. Ветерок шевелил серебряный аксельбант.

— А смотрите, — сказала Анна Дмитриевна, — не отрывая от глаз лорнета, — Дмитрий Павлович наш выигрывает. Видно, что с Селимой знаком.

В эту минуту физически ощутил Христофоров тучу, нависшую над всем этим огромным скопищем — тучу желаний и жадности. Горящие глаза, побледневшие лица. Имя Хохлов, для большинства сейчас ненавистное, другим звучащее музыкой, перебегало по толпе. Вопреки всему, Хохлов побеждал. На последней прямой это стало ясно.

Анна Дмитриевна положила лорнет, обернулась и сказала Никодимову:

— Что же, вас можно поздравить . . .

С ипподрома раздался как бы пистолетный выстрел. «Кругом-шестнадцать» вдруг заскакала, произошло мгновенное замешательство, сзади кто-то охнул, — через секунду впереди шла другая лошадь. «Алябьев, Алябьев, браво, навались!» — кричали сверху. Хохлов бил кнутом свою «Кругом-шестнадцать», трясясь на двухколеске с лопнувшей шиной, а некий Алябьев, тоже нежданный герой дня, на полкорпуса обставил его у самого финиша. Кузнечик был третьим.

Толпа кричала. Одни ругали Хохлова, другие кузнечика.

Подошел Ретизанов с высокой, тонкой девушкой в соломенной шляпе и коричневой, длинной вуали. Ее серые глаза улыбались.

— Мы выиграли, — сказала она певучим, московским говором, здороваясь с Анной Дмитриевной. — Мы пополам ставили на лошадь, которой имя мне понравилось: «Беззаботная». И она пришла первая. Мы . . . как это ставили?

— В ординарном, — тоже улыбаясь, ответил Ретизанов. — По пяти рублей. А вы на кого? — спросил он Никодимова. — Ага, с носом, ах, черт возьми, вы, значит, проиграли? Триста рублей!

Ретизанов удивился.

— Нет, как вам это нравится, — обратился он к Анне Дмитриевне, — он ставит на лошадь триста рублей! Нет, это уж безобразие! По-вашему, он откуда их берет?

Анна Дмитриевна ничего не ответила. Что-то прошло в ее лице. Она стала отдаленной.

— Если бы мне покровительствовали гении, как вам, — холодно сказал Никодимов, — я бы поставил и тысячу.

— Черт знает, как вы это говорите . . . гении! Всегда чепуху.

Ретизанов вспыхнул и отошел.

— Какие славные лошади, и славный день, — говорила Лабунская, слегка щурясь и глядя на ипподром. — Это не потому, что я выиграла, но не .знаю, мне все сегодня нравится и кажется таким светлым . . .

— У вас сердце легкое, — ответила Анна Дмитриевна, ласково глядя на нее, и вздохнула. — Вы вся легкая, я чувствую.

Внизу, на доске, прикрепленной к столбу, вывесили выигрыши. Ретизанов надел пенсне, высунулся из ложи и захохотал.

— Ах, черт возми! Знаете, сколько выдают? Ха! Никодимов будет завидовать.

Минут через десять он возвратился с трофеями. Лабунская взяла четыре сотенных, сунула в мешочек, с видом безразличия.

— Что вы будете делать с этими деньгами? — спросил Христофоров.

Она подняла на него серые, ясные глаза. «Беззаботная», вспомнилось ему имя лошади, на которую она ставила.

— Я ведь их не ждала, — сказала она. — Может быть, потому и выиграла, что не ждала. А теперь что делать . . . — она вынула опять деньги. — Что же, это вот сто, духов куплю, сто чулки, сто . . . хотите вам отдам, а еще сто . . . уж и не знаю.

— Дайте мне, — сказал Никодимов, — поставим пополам.

Она взглянула на него.

— Берите.

Никодимов протянул руку. Анна Дмитриевна отвернулась. Пальцы его были холодны. Он ушел. В ложе наступила заминка. Анна Дмитриевна усиленно рассматривала публику, Лабунская ела шоколад и лениво вертела программу.

— Зачем вы ему дали денег? — волновался Ретизанов. — Черт знает . . .

С Никодимовым Лабунская проиграла. Проиграл он и в следующий заезд. Они выходили пить чай. Никодимов все играл. Он ходил от одной кучки темных личностей к другой, разговаривал с Селимой, тоже нынче злой. У него был вид маньяка. Христофоров несколько устал. Медленно проходя к себе в ложу, он через несколько человек видел, как Анна Дмитриевна что-то быстро и резко говорила Никодимову, потом вынула из сумки пачку денег и дала.

Когда кончился последний заезд, Христофоров подошел к нему.

— Ну, как ваши дела?

Никодимов посмотрел на него усталыми глазами.

— Очень плохо.

Ретизанов предложил обедать у Яра.

Начался разъезд. Побежденные брели пешком, хмуро ждали трамвая. Победители летели по ресторанам пропивать и проматывать трофеи, ловить легкое мгновение текущей жизни. Для них широко был открыт Яр, играл оркестр, и знаменитый румын выбивал трели; горело золотом шампанское в вечернем свете; продавали розы. Можно было видеть Лабунскую, в соломенной шляпе, легко и беспечно резавшую ананас. Анну Дмитриевну, как-то горько охмелевшую от шампанского, и десятки других нарядных женщин, шикарных мужчин. Потом, когда село солнце, прошло междуцарствие сумерек, синяя ночь наступила. И в раскрытые, гигантские окна взглянули иные миры, плавно протекающие по кругам, золотясь, мерцая. Как далекий, голубоватый призрак, провела Вега свою Лиру.

«Тайное горе, — думал Христофоров, взглядывая на Анну Дмитриевну. — Тайное горе».

VII

Антон отлично понимал, что был во всем виноват там, в монастыре. Действительно, что сделала против него Машура? Из-за чего он резко и грубо ушел, явился домой один, с несчастьем и бешенством на сердце? Как растолковать все это Наталье Григорьевне, «про-

клятому здравому смыслу»? В его поведении не было здравого смысла. Но, считая себя виноватым, он находил, что также он и прав. Ибо в Машуре, за ее действиями и словами, ощущал нечто, дававшее ему право на беспорядки.

Он молчал, не уезжал в эти дни в город, был мрачен и ходил один. Минутами остро ненавидел себя. Видя в зеркале сутулую фигуру с большой головой, вихрастыми волосами и сумрачным взглядом небольших глаз, он мгновенно убеждался, что такого полюбить нельзя. Впрочем, тут же вспоминал, что многие великие люди были даже безобразны, например, Сократ. Во всяком случае, приятность, симпатичность — а это наиболее ценится — есть признак малой и не страстной души. Да, но многие в его годы... Абель в двадцать шесть лет открыл ряды, обессмертившие его имя, хотя и умер молодым и непризнанным. В этом Антон находил некоторое острое удовлетворение: он, с его неказистым видом, он, похожий на застенчивого и вспыльчивого гимназиста, — более всего подходит для роли недооцененного героя, преждевременно гибнущего. «И ладно, — говорил он себе, в горьком упоении, — превосходно. Пусть так и будет».

Но долго выдержать позу не мог. Иногда Машура действовала на него ошеломляюще. Звук голоса, какой-нибудь завиток темных волос над ухом вызывали мучительную нежность. Раз она довольно долго держалась за перила террасы; потом ушла. Он встал с качалки, подошел, приложил лоб к теплому еще дереву; на глазах появились слезы. Вошла Наталья Григорьевна. Он быстро отвернулся, все же она заметила, как он взволнован. Это лишь усилило ее беспокойство.

Наталья Григорьевна вообще замечала, что между ними неладно. Спрашивала и Машуру, почему он в та-

кой, как она выражалась, депрессии. Но Машура ничего ей не объяснила. Она сама чувствовала себя неважно. Что-то очень смутное и неясное было у нее в душе. Нечто ее беспокоило.

Приезжал на несколько часов Христофоров, за вещами. Он был тих и молчалив. Обедали довольно сумрачно. Когда случайно разговор коснулся Анатоля Франса, Антон сказал, обращаясь к Наталье Григорьевне:

— Ваш Анатоль Франс просто французский разговорщик. От него волосы на голове не шевелятся.

Наталья Григорьевна возразила, что кроме волос на голове — есть еще стиль, изящество и философия; ирония и доброта; есть, наконец, гений многовековой латинской культуры.

Но Антон не возражал и разговор, вообще. не поддержался. Верно, все были заняты другим.

Вечером, когда Христофоров уехал, у Машуры с Антоном было объяснение. Оно не выяснило ничего. Антон волновался, почти грубил. Машура расплакалась и убежала в свою комнату. Ночью оба не спали. А на утро он уехал, оставив записку, что так больше жить не может. Он отправляется до осени на урок.

Машура прочла, разорвала бумажку и решила, что пусть будет, что будет. Отныне просто одна она станет заниматься жизнью, маленькими своими делами, ни о ком не думая. И правда, этот последний месяц провела в деревне, в одиночестве — полторы недели даже совсем одна — Наталья Григорьевна уезжала в Петербург. Это время осталось в ее памяти. как полоска жизни чистой, покойной и немного грустной. Можно было гулять одной ясными августовскими вечерами, когда овес смутно белеет и шуршит в сумерках, полынь горкнет на межах, и красноватый диск встает на лиловом го-

ризонте. Казалось, что она свободна от всего и всех. Можно было мечтать об одинокой жизни среди полей, под звездами.

Но вернулась Наталья Григорьевна, все стало на свои места. И, как полагается, в первых числах сентября водворились уже Вернадские на зимние квартиры, совершая непрестанный круговорот, называющийся бытием.

Как всегда, Машура возвращалась к старому пепелищу освеженная, как бы ободренная. Предстояла зима, полная нового: впечатлений, занятий, выездов, книг. Жизнь осенью, в Москве, бывает иногда хороша.

И Машура с живостью и возбуждением устраивалась на Поварской. К ней наверх вела узенькая лестница. Небольшая первая комната — как бы приемная; во второй, большой, разделенной пополам портьерой, вдоль которой длинный диван, жила Машура. Окна смотрят на юг. Солнце чисто и приветливо сияет в безукоризненном паркете, отсвечивает в ризах икон в киоте, золотит клавиши пианино; освещает на стене итальянский примитив — старинную копию; блестит в ручках качалки с накинутым вышиванием, в книжках, фотографиях, тетрадках, где можно встретить стихи Блока и портрет Бальмонта, во всех тех маленьких пустяках, что составляют обстановку и уют московской барышни из образованной семьи.

Жизнь ее приняла предустановленное течение: ходила Машура на курсы, где слушала философию, историю и литературу; взяла абонемент на Кусевицкого; бывала у знакомых, и у себя дома принимала; в этом году то еще явилось, что Машура вошла в общество «Белый Голубь». Оно состояло сплошь из девушек. Собирались дле чтения книг, рефератов и бесед, направленных к духовному саморазвитию. Занимались рели-

гией. Искали смысл жизни. Рассуждали о поэзии, искусстве. Устраивали музыкальные вечера. Среди барышень была молодая актриса, две музыкантши, художницы. Там встретилась Машура с Лабунской.

Лабунская очень ей понравилась — красотой, изяществом и простой вольностью движений.

Приятны были улыбка, смех; несколько тягучий, широкий и мягкий московский выговор. Скоро выяснилось, что у них есть общие знакомые — Анна Дмитриевна. Лабунская сказала, что знает, как они были в монастыре.

— Ах, — прибавила она живо, — да вы, пожалуй, знаете и Христофорова. Ну, такой голубоглазый дядя, не то поэт, не то отшельник. Впрочем, — прибавила она со смехом, — мы с ним познакомились на бегах.

Машура слегка покраснела.

— Да, Алексей Петрович, я знаю...

Лабунская сказала, что скоро у них в студии будет вечер, немногочисленный, «но, может быть, и ничего себе». Там и она выступает. Машуру она приглашала.

— Будут некоторые пресмешные, — прибавила она. — В общем, ничего. Приходите.

Машура поблагодарила. И предложение приняла. В условленный день Лабунская звонила к ней. Наталья Григорьевна не была безразлична к тому, куда Машура ходит; но считала ее вполне благоразумной, и не возражала.

Часов в десять вечера Машура подходила к большому красному дому, в затейливом стиле, на площади Христа Спасителя. Луна стояла невысоко. Белел в зеленой мгле Кремль; тянулась золотая цепь огней вдоль Москва-реки.

Машура поднялась на лифте, отворила дверь в какой-то коридор, и в конце его поднялась по лесенке в

следующий этаж. Вся эта область населялась одинокими художниками; жили тут три актрисы и француз. Лесенка вывела ее в большую студию, под самой крышей. Угол отводился для раздевания. Главная же комната, вся в свету, разделена суконной занавесью пополам. Войдя, Машура скромно стала к стенке и осматривалась. Обстановка показалась непривычной: висели плакаты, замысловатые картины; по стенам — нечто вроде нар, на которых можно сидеть и лежать. Вместо рампы — грядка свежих гиацинтов.

— А-а, — сказал Ретизанов, улыбаясь. — Вам нравятся вот эти гиацинты? Это я все . . .

Ретизанов был очень наряден, в хорошем смокинге, безукоризненной манишке, лакированных ботинках. На бледном лице с седоватой бородкой и усами синели глаза.

— Вы знаете, я люблю цветы . . . Я не понимаю, как можно не любить . . . А вы как смотрите? Тем более, когда танцует Елизавета Андреевна . . . Потому, что она ведь одна музыка и ритм, чистейшее проявление музыки и ритма . . .

Он заволновался и стал доказывать, что Лабунскую надо смотреть именно среди цветов. Машура не возражала. Она даже была согласна; но Ретизанов, усадив ее в угол, громил каких-то воображаемых своих противников, и мешал даже рассмотреть присутствующих. Забежала Лабунская, уже в длинной, светлой тунике, поцеловала Машуру, улыбнулась и ускользнула.

За минуту до начала, когда дамы, художники, меценаты, курсистки, поэты, молодые актрисы усаживались, кто на нарах, кто на табуретках, шурша платьями, благоухая, смеясь, — к Машуре подошел Христофоров, в обычном своем сюртучке. Она взглянула на

него сбоку, сдержанно, и протянула холодноватую руку.

Заиграла невидимая музыка, свет погас, и зеленоватые сукна над гиацинтами медленно раздвинулись. Первый номер был пастораль, дуэт босоножек. Одна изображала влюбленного пастушка, наигрывала, танцуя, на флейте, нежно кружила над отдыхающей пастушкой; та просыпалась, начинались объяснения, стыдливости и томление, и в финале торжествующая любовь. Затем шел танец гномов, при красном свете. Лабунская выступала в Орфее и Эвридике. Была она легка, нежна и бесконечно трогательна. Казалось странным, зачем нужна она там, в подземном царстве; и одновременно — да, может быть и есть своя правда, и высшая печаль в этом.

— Я говорил вам, — шептал сзади Ретизанов, — что она божественна. А еще Никодимов болтает . . . Нет, это уж черт знает что . . .

В антракте он побежал к Лабунской. Машура и Христофоров прогуливались среди полузнакомой толпы. Опять сиял свет, блестели бриллианты дам.

— Я вас не видел почти месяц, — говорил Христофоров. — Уже сколько дней . . .

Машура взглянула на него. Его глаза были слегка влажны, блестели: казалось, был он очень оживлен, каким-то хорошим воодушевлением. Она улыбнулась.

— Вы весело живете, Алексей Петрович? . .

— Как вам сказать, — он слегка расширил зрачки, — и грустно, и весело.

Когда опять погас свет и раздвигался занавес, Машура сказала шепотом:

— Все-таки в том, как вы уехали от нас, было что-то мне неприятное . . .

Христофоров ничего не ответил, смотрел на нее долго ласковым, смущенно-взволнованным взором. На сцене полунагие девушки изображали охоту: то они быстро неслись, как бы догоняя, то припадали на одно колено, и метали дротик, кружились в конце концов, опять танцевали друг с другом и поодиночке — быть может, с воображаемым зверем.

Христофоров вынул блокнот, оторвал бумажку, написал несколько слов и передал Машуре. В неясном свете рампы, близко поднеся к глазам написанное, она прочла: «Простите, ради Бога! Если дурно сделал, то ненамеренно. Простите!».

Худые щеки Машуры слегка заалели. Взяв карандаш, она ответила: «Я нисколько не сержусь на вас, милый (и загадочный) Алексей Петрович».

Христофоров взял и шепотом спросил:

— Почему загадочный?

Машура мотнула головой и по-детски, но убежденно ответила:

— Да уж потому.

Когда вечер кончился, Ретизанов сказал им, чтобы не уходили со всеми. Лабунская просила идти вместе.

— А Никодимов, хорош гусь, а? — вдруг спросил он. — Сейчас записку прислал — дайте взаймы тысячу рублей. Как это вам нравится? Тысячу рублей! — Ретизанов вскипел. — Что я, банкир ему, что ли?! Мало Анну Дмитриевну обирать, так и меня... нет-с, уж дудки...

В студии стали гасить свет. Лишь сцена освещалась — оттуда слабо пахло гиацинтами. Христофоров с Машурой отошли к нише, разрисованной углем и пастелью. Был изображен винный погреб, бочки, пьяницы за столом. Окно выходило на Масква-реку.

— Вот и Кремль в лунном свете, — сказал Христофоров. — В нем есть что-то сладостное, почти пьянящее.

— Вам Лабунская нравится? — спросила Машура.

— Да, — ответил он просто. — Очень.

Машура засмеялась.

— Мне кажется, что вам нравится и Кремль, и лунный свет, и я, и ваша голубая Вега, и Лабунская, так что и не разберешь . . .

— Мне, действительно, — тихо сказал он, — многое в жизни нравится и очаровывает, но по-разному . . .

Подошла Лабунская, подхватила их и повела. Ретизанов ждал, уже одетый. Он был в большой мягкой шляпе, в пальто с поднятым воротником.

— А я очень рада, — говорила Лабунская, прыгая вниз по лестнице через несколько ступеней, — что вся эта катавасия кончилась. Ну, как наши девицы плясали? Не очень позорно? Мы ведь неважно танцуем. Так, тюти-фрюти какие-то.

— Все плохи, кроме вас! — сказал Ретизанов и захохотал. — Позвольте, я приготовил вам букет еще на дорогу! Тут, у швейцара.

— Ну, дай вам Бог здоровья!

Лабунская шла по тротуару, помахивая букетом и смеясь.

— Значит, говорила она, — все-таки хорошо, что был этот вечер. Я получила букет, меня ведут в Прагу ужинать, луна светит . . . вообще, все чудесно.

«Беззаботная!» вспомнил Христофоров имя лошади, на которую она выиграла. И улыбнулся.

На Пречистенском бульваре было пустынно; тени дерев переплетались голубоватой сеткой; изредка пролетал автомобиль; извозчик тащился, помахивая концом вожжи. Лабунская бегала по боковым дорожкам,

танцевала, бросала листьями в лицо Ретизанову. Христофоров смеялся. Он пробовал ее обгонять, но неудачно.

Ретизанов звал всех ужинать, — Машура отказалась. У памятника Гоголю она села с Христофоровым на скамейку и сказала, что дальше не двинется: очень ночь хороша.

— Если соскучитесь, — крикнул Ретизанов, уходя, — приходите в Прагу. Я и вас накормлю.

Но они не соскучились. Христофоров снял шляпу, курил и внимательно, нежно смотрел на Машуру.

— Почему вы написали: загадочный?

Машура улыбнулась, но теперь серьезней.

— Да, ведь и верно — вы загадочный.

— Я уж право не знаю.

Машура несколько оживилась.

— Ну, например... вы, по-моему, очень чистый, и не такой, как другие... да, очень чистый человек. И в то же время, если бы вы были мой, близкий мне, я бы постоянно мучилась... ревновала.

— Почему?

— Я, положим, знаю, — продолжала она горячо, — что если Антон меня любит, то любит именно меня, и для него весь мир закрыт, это может быть и проще, но... Да, у вас какие-то свои мысли, и я ничего не знаю. Я о вас ничего не знаю, и уверена — никогда не узнаю. Наверно, и не надо мне знать, но вот именно есть в вас что-то свое, в глубине, чего вы никому не расскажете... А, пожалуй, вы и думаете там о чем-нибудь, еще других любите... Нет, должно быть, я уж нелепости заговорила.

Она взволновалась, и правда, будто стала недовольна собой.

Христофоров сидел в некоторой задумчивости.

— Вы меня странно изображаете, — сказал он. — Возможно, и потому, что у вас страстная душа. Почему вы говорите о ревности, или о том, что я нехорошо от вас уехал, — прибавил он с внезапной, яркой горечью. — Разве вы не почувствовали, что мне невесело было уезжать? Нет, в том, что я уехал, ничего для вас дурного не было.

— А мне казалось, это значит сохранить свободу действий.

Он взял ее за руку.

— Как вы самолюбивы . . . Как . . .

Машура вдруг откинулась на спинку скамьи. Пыталась что-то выговорить, но не смогла. В лунном свете Христофоров заметил, что глаза ее полны слез.

— А все-таки, — сказала она через минуту, резко, — я никого не люблю, кроме Антона. Никого, — прибавила она упрямо.

Во втором часу ночи, прощаясь с ней у подъезда их дома, Христофоров сказал:

— Может быть, вы отчасти и правы, я странный человек.

В голубоватой мгле дерев, чуть озаренная лунным призрачным серебром, с глазами расширенными и влажными он, действительно, показался ей странным.

— Не знаю, — холодновато ответила она. — Спокойной ночи!

Он поцеловал ей руку.

VIII

Было около шести. В конце Поварской закат пылал огненно-золотистым заревом. В нем вычеркивалась высокая колокольня, за Кудриным; узкое, багряное облачко с позлащенным краем пересекало ее.

Антон вошел в ворота дома Вернадских, поднялся на небольшое крыльцо и позвонил. Косенькая горничная отворила ему и сказала, что барышня дома.

— Только у них нынче собрание, они запершись, наверху, — добавила она, не без значительности.

Антон снял свое неблестящее пальто и усмехнулся.

— Девицы?

— Так точно. И чай туда им носила. Старая барыня в столовой, пожалуйста.

«Спасением души Машура занимается, — подумал он, оправляя у зеркала вихры. — Очевидно нынче заседание общества 'Белый Голубь'. Пишут какие-нибудь рефераты, настраивают себя на возвышенный лад, а к сорока годам станут теософками», хмуро подумал он. Напала минутная тоска. Стоит ли оставаться? Не надеть ли пальтишко, не уйти ли назад? Полтора месяца он с Машурой почти в ссоре, в Москве не был, а сейчас явился зачем-то — с повинной? «Невольно к этим грустным берегам»? . .

Но он переломил неврастенический приступ, вздохнул, и полутемным коридором, откуда подымалась лесенка к Машуре, прошел в столовую.

На столовую она походила не совсем. По стенам стояли диваны, книжный шкаф, в углу гипсовая Вене-

ра Медицейская; закат бросал на дорогие темнокоричневые обои красные пятна. За чайным столом в вазах стояли букеты мимоз и красная роза в граненом с толстыми стенками стаканчике. Печенья, торты, хрустали, конфеты — все нынче нарядней, пышней обычного — у Натальи Григорьевны тоже приемный день, когда собирались знакомые и друзья. Сама она, в черном бархатном платье, с бриллиантовой брошью, в золотых своих очках, при седой шевелюре, имела внушительный вид. За столом была Анна Дмитриевна, две неопределенных барыни, важный старик с пушистыми седыми волосами и толстая дама в пенсне — почтенная теософка. Старик же, разумеется, профессор.

Он что-то рассказывал — медленно, длинно, с той глубокой убежденностью, что это интересно всем, какая нередко бывает у недалеких людей.

— Я тогда же сказал Максиму Ковалевскому: Максим Максимович, нам, как русским ученым, представителям молодой русской науки на западе, не пристало выступать с какими-то — passez moi le mot, — мистическими сверхиндивидуалистами, чуть не спиритами, ну-те-с, и тому подобное. Он согласился. В тот же день мы завтракали у Габриэля Тарда. Был лорд Крессель, Брандес, я и, представьте...

Знакомое чувство раздражения прошло по спине Антона. «А может, он и врет все, и никакого лорда там не было, да и его самого никто в Париже не знает».

Старик не весьма был доволен, что его прервали; не глядя поздоровался, — и плавно вторя себе рукой с пухлыми пальцами, которые собирались в горсточку, продолжал о завтраке у Тарда. В закате розовели его седые виски; блестел массивный золотой перстень на указательном пальце.

— Давно не заглядывал, — сказала Наталья Григорьевна Антону, наливая ему чаю.

— Меня в Москве не было, — ответил он глухо, и слегка покраснел.

— Ты Машуру не ранее, чем через час увидишь, — продолжала она. — Да и то не надолго. У них сегодня собрание, «Белый Голубь».

Антон ничего не ответил. Он сидел хмуро, помешивал ложечкой, и опять был подавлен тоской; опять ему казалось, что напрасно он пришел сюда; ничего кроме унижения не вынесешь, да еще слушай речистого старика.

Вошел Ретизанов, в изящном жакете и с цветком в петлице. В это время почтенная теософка, напоминавшая английскую даму хорошего общества, со спокойствием верующего и образованного человека рассказывала соседке о лунной манвантаре и солнечных питрисах. Она приводила точные выражения Анны Безант. Тон ее был таков, что это нисколько не менее очевидно, чем лекции Ковалевского, завтрак у Тарда. Профессор же продолжал свое.

Ретизанов поцеловал руку Натальи Григорьевны и улыбнулся.

— Все по-прежнему, — сказал он: — Наталья Григорьевна занимает золотую середину, а на флангах кипит бой.

— Это только значит, — внушительно заметила она, — что я терпима к чужим мнениям. Терпимость основывается на культуре. А уж середина я, или нет, позвольте знать мне самой.

Она слегка взволновалась, и на старческих щеках выступили красноватые пятна. Ретизанов смутился.

— Нет, я совсем не в том смысле...

Но она уже не слушала. Решив, что особой воспитанностью никогда он не отличался, Наталья Григорьевна заговорила с Антоном.

Впрочем, Ретизанов и сам отвлекся. Профессор доказывал, что Достоевский, как человек душевнобольной, развратный и реакционно-мысливший, недостоин того ореола, какой создался вокруг его имени в *некоторых* (он строго оглянул присутствовавших) — кружках.

— На одном обеде литературного фонда, — это было давно, я собирал еще тогда материал по истории хозяйства при Меровингах, для диссертации, где поддерживал Бюхера против Эдуарда Мейера, — так вот-с покойный Николай Константинович Михайловский прямо указал мне — мы сидели рядом — что талант Достоевского есть не более, как гигантская проекция свойств жестокости, сладострастия и истерии. В своей известной статье он определил этого писателя, как жестокий талант.

— А скажите, — вдруг спросил Ретизанов, — когда вы читаете «Идиота», то чувствуете вы некоторую атмосферу, как бы ультрафиолетовых лучей всюду, где появляется князь Мышкин? Такая нематериальная фосфоресценция . . .

— Я скорее сказала бы, — заметила теософка, — что внутренний и, конечно, нематериальный свет этого романа — бледно-зеленоватый. Свет, несомненно эфирный.

Профессор развел руками и заявил, что ничего подобного он не видит и не встречал таких утверждений в критике.

— Впрочем, — прибавил он, — я и вообще нахожу, что между мною и некоторыми из присутствующих есть коренное расхождение в мировоззрениях. Я счи-

таю, что Макс Нордау был совершенно прав утверждая...

— Да неужели вы можете говорить о Нордау? — почти закричал Ретизанов. — Макс Нордау просто болван...

После этого профессор недолго уже сидел. Он поцеловал руку Натальи Григорьевны и сказал, что рад будет встретиться с ней в Литературном Обществе, где она должна читать доклад: «К вопросу о влиянии Шатобриана на ранние произведения Пушкина».

— Откуда вы достаете таких дубов?

На этот раз Наталья Григорьевна не рассердилась. Она доказывала, что профессор вовсе не дуб, а человек иного поколения, иных взглядов.

Антон поднялся, незаметно вышел. Рядом с прихожей была приемная, маленькая комнатка, вся уставленная книгами. В нее надо было подняться на ступеньку. Дальше шла зала, и в глубине настоящий, большой кабинет Натальи Григорьевны. Антон сел в мягкое кожаное кресло. Виден был двор, залитый голубоватой луной. Наверху в комнате Машуры, слышались шаги, голоса. Антон положил голову на подоконник. «Они решают там возвышенные вопросы, а я умираю здесь от тоски, — думал он. — От тоски, вот в этом самом лунном свете, который ложится на подоконник и обливает мне голову».

Он сидел так некоторое время, без мыслей, в тяжелой скованности. «Нет, уйду, — решил он наконец. — Довольно!» В это время движение наверху стало сильнее, задвигали стульями. Он прислушался. Через минуту раздались шаги по лесенке, ведшей сверху; вся она как бы наполнилась спускавшимися, послышались молодые голоса. Почти мимо его двери все прошли в переднюю; там опять смеялись, разбирали одежду,

шляпы, перчатки. Затем хлопала парадная дверь, с каждым разом отрезая часть голосов. Наконец, стало тихо. Знакомой, легкой поступью прошла Машура. «Ну вот, теперь она пойдет в столовую и будет там сидеть с матерью и Ретизановым».

Было уже ясно, что она уходит, но Антон медлил, не мог одолеть тяжелой летаргии, в которой находился.

Вдруг те же, но возвратные, теперь веселые шаги. Он встал и со смутно бьющимся сердцем двинулся к двери. В лунных сумерках навстречу вбежала Машура, легко вспрыгнула на ступеньку и горячо поцеловала.

— Ты? — смеялась она. — Ты, я знала, что ты придешь! Что ты тут делаешь? Один! Какой чудак!

— Я ... — сказал Антон, — уж собрался уходить ... ты была занята.

Машура захохотала.

— Почему ты такой смешной? Ты какой-то замученный, растерянный. Погоди, дай на тебя посмотреть ...

Она взяла его за плечи, подвела к окну, где от луны было светлее.

— Я, — говорил он растерянно, — я, видишь ли, столько времени у вас не был ... я уезжал из Москвы ...

Она глядела ему прямо в небольшие глаза; в них стояли слезы. Волосы его вихрились, большой лоб был влажен. На виске сильно билась вена.

Глаза Машуры блестели.

— Ты похож на Сократа, — вдруг зашептала она, — ты страшно мил, настоящий мужчина. Я знала, что ты придешь, и придешь такой ...

Она сжала его руки.

Антон опустился на скамеечку у ее ног, прижал к глазам ее ладонь.

— Если бы ты знала, как я ... все это время ... — твердил он, сквозь слезы. — Если бы знала ...

Около девяти Антон, с просохшими, сияющими в полумраке глазами, ходил из конца в конец залы, пересекая лунные прямоугольники, облекавшие его светом.

Из кабинета вышла Наталья Григорьевна; она была теперь в светлом вечернем платье, с иными бриллиантами.

— Ну, милый, — сказала она Антону, — иди торопи Машуру. Лошадь подали.

Плохо соображая, как в тумане подымался Антон по витой лесенке.

— Можно? — спросил он глухо, входя.

— Погоди минутку.

Раздался смех Машуры, мелькнуло голое, смугло-персиковое плечо, и веселый голос ответил из-за портьеры:

— Теперь можно. Но сюда не входи.

Антон сел и сказал, что Наталья Григорьевна ждет.

— Сейчас, сейчас ... Мама вечно боится опоздать.

За портьерой шуршали, слышно было, как горничная застегивает кнопки. В комнате было тепло, пахло духами, и еще чем-то, чего не мог определить Антон, что вызывало в нем легкий озноб.

Когда Машура вышла, в белом платье, оживленная, с темно-сверкающими глазами на остроугольном лице, она показалась ему прекрасной. Худенькой рукой приколола она себе красную розу.

Горничная ушла.

— Ты прелестна, — тихо сказал Антон.

Она улыбнулась.

Антон проводил их и остался в доме еще некоторое время. Не хотелось уходить, расставаться с комната-

ми, полными голубоватого лунного дыма — где неожиданно пришла к нему Машура. И вновь переживая все, ходил он по зале, из угла в угол.

IX

За ночь выпал снег. В комнатах посветлело, воздух сразу стал вкусный, днем острый и прозрачный, к сумеркам синеющий. Деревья резче чернели на белизне. Извозчики плелись бесшумно: шапки, полости у них белели. И веселей орали вороны на бульваре, слетая с веток; вниз сыпался за ними снежок.

Анна Дмитриевна сидела в небольшом своем кабинетике у письменного стола, с пером в руке. В окно глядел бульвар, запушенный снегом, от подоконника шел ток теплого воздуха, тепел был пуховой платок на плечах и мягок ковер, занимавший всю комнату. Над диваном — nature morte Сапунова, вариант красных цветов.

«Во всяком случае так дальше продолжаться не может», — писала она твердым, крупным почерком — он казался лишь частью всей ее статной фигуры. — «Какая бы я ни была, вы должны понять, что всему есть предел. Вы знаете, чем были для меня все это время. Пред вами я мало в чем виновата. Но вы — ваше поведение я совсем перестаю понимать. Для меня деньги — ничто. Для вас — все. Сколько раз я вас выручала — вы знаете. И то знаете, как издевались вы надо мной, среди пьяных товарищей, грязнили мое к вам чувство. Все вам сходило. Но то, что теперь выяснилось . . . Я не могу даже написать того слова, какое следует. Хочу вас

видеть и спрошу прямо. Завтра я на балете, бельэтаж, ложа № 3. Буду ждать». Она подписалась одной буквой, вложила в конверт и надписала: «Дмитрию Павловичу Никодимову».

Только что велела она отослать письмо, как в комнату вошла, не снимая бархатной шляпы, невысокая дама еврейского вида, с огромными подкрашенными глазами — Фанни Мондштейн. Она была очень шикарна, в новом тысячном паланкине. Бурый мех блестел снежинками.

— Голубчик, — сказала она быстро, целуя Анну Дмитриевну и распространяя запах Rue de la Paix, — я к тебе на минутку. Завтра выступает Ненарокова, дебют, я обязательно должна быть. Идиот Ладыжников напутал, как всегда, билетов нет, представь, я непременно должна быть, ведь Ненарокова танцует вместо Веры Сергеевны, тут, понимаешь, отчасти интриги, отчасти борьба молодого со зрелым. Конечно, ей до Веры Сергеевны . . . — великая артистка, и начинающий щенок . . . Но я обещала быть, а получается чепуха . . .

Фанни подняла вуаль и обнаружила лицо не первой свежести, подкрашенное, с черными, очень красивыми глазами. Фанни живо закурила, и мгновенно стало ясно, в чем дело: о Ненароковой она должна дать отчет Вере Сергеевне, и хотела попасть в ложу Анны Дмитриевны.

— Ну, конечно, ну, да, — говорила Анна Дмитриевна, — о чем тут разговаривать? Я очень рада. Ты покажешь мне разные fouettés.

— Милун, но разве Ненарокова может сделать что-нибудь подобное?

Фанни встала и с серьезным, как бы убежденным лицом подошла к Анне Дмитриевне.

— Вере Сергеевне приходилось делать тридцать пять fouettés подряд, — этого никто не может в России, кроме нее. Но ведь и сама она — прелесть. Одни ее выражения ... Ты думаешь, она завидует этой Ненароковой? Ни капли. Она мне говорит: «Вы понимаете, ведь это надо сделать, эту роль! Вы, кажется, *уже* начинаете меня понимать? Этот балет — чистейший экзот, его надо почувствовать. Вот, по вашему лицу я вижу». Нет, Вера Сергеевна замечательный художник, порох и дитя, восторженная, увлекающаяся душа.

Фанни сама увлеклась, сняла шляпу, и стала рассказывать о Вере Сергеевне.

Фанни была в нее несколько влюблена — влюбленностью театральной поклонницы. Она принадлежала к «партии» Веры Сергеевны; неизменно бывала на ее выступлениях, бешено вызывала, бегала к ней в уборную, защищала от врагов, исполняла мелкие поручения и помогала в сердечных делах.

— Нет, ты понимаешь, у нее совсем особенный язык: если за ней кто-нибудь ухаживает, она называет это *наверт*.

Анна Дмитриевна засмеялась.

— А правда, что одну свою соперницу она избила ногами?

— Фу, глупости! Ну, если бы захотела ... — ноги у нее стальные, убить, я думаю, может. Все-таки это клевета ...

— Фанни, — спросила вдруг Анна Дмитриевна, — тебя бил когда-нибудь мужчина?

Фанни вскочила и захохотала.

— Во-первых, милая, у меня нет такого властелина, и не будет, надеюсь. Да, но тогда скорей можно спросить, не била ли я кого ... Правда, у меня ноги не такие, как у Веры Сергеевны, но все же ... вот этой ру-

кой я могу, конечно, дать пощечину негодяю, который покусился бы на мою девственность.

Она повалилась на диван и опять захохотала. Анна Дмитриевна тоже смеялась. Потом Фанни поднялась, оправила палантин и стала прощаться.

— Голубь, значит, до завтра. Бельэтаж, третий номер... буду помнить... третий номер. Целую тебя.

Проводив ее, Анна Дмитриевна медленно возвращалась через залу. Проходя мимо бехштейновского рояля, она приподняла его крышку и взяла несколько нот на клавиатуре. Смутная тягость была у ней на сердце. Она вздохнула и сразу же вспомнила. Эти самые звуки, такой же белый день, рояль, зала, похожая на эту, и она сама, еще совсем молодая, недавно замужем. Так же она брала несколько нот, а он вышел из той двери. Шел он молча. Лицо было красное. Потом молча же, со всего маху ударил ее по щеке.

Крышку она захлопнула, быстро вышла. «Дурная жизнь, распущенная, скверная жизнь, — твердила она уже у себя в кабинете, ходя взад-вперед по мягкому ковру. — Я ему продалась и изменяла, а он бил меня, как молодую кобылу. Как была дурная, так и осталась. Что же, — сама катала с офицерами по ресторанам, обманывала его, и пожинала лавры собственной жизни. А разве и сейчас... что ж, по-своему и Дмитрий прав, считая меня... бабой, которая может платить его долги. Он хорош, но и я...».

Она опять прошлась и остановилась у большой, под стеклом, фотографии со старинной картины. Справа и слева от озера большие купы дерев, темных, кругловатых; какая-то башня; далекие горы за озером, светлые облака; на переднем плане танцует женщина с бубном и мужчина; пастух, опершись на длинный посох, смотрит на них; на траве, будто для беззаботной пи-

рушки, расположились люди, женщина с ребенком, тоже смотрят. Лодки плывут по бледному озеру. И кажется, так удивительно ясна, мечтательна и благосклонна природа; так чисто все. Так дивно жить в этой башне у озера, бродить по его берегам, любоваться нежными, голубоватыми призраками далеких гор.

Анне Дмитриевне представилось, что если бы она жила в этой стране, то все иное было бы, и, возможно, она узнала бы истинную любовь, высокую и пламенную, которая есть же, ведь, наконец!

Завтракала она одна, как обычно. Потом вышла на улицу. Хотелось пройтись. Снег мягко скрипел под ногой, падали белые его хлопья, медленно и беззвучно; что-то вкусное, свежее и острое несли они с собой; и оседая на ветвях деревьев, шапочках барышень, усах мужчин, давали белое оперение, называемое зимой.

Анна Дмитриевна шла по Арбату и думала, что любой извозчик, трусцой плетущийся в Дорогомилово, или курсистка, бегущая с лекций, более правы и прочны, — может быть, даже счастливы, чем она, живущая в своем особняке и тратящая тысячи. Пройдя по Воздвиженке, вышла она на Моховую, обогнула Манеж, направилась вдоль решетки Александровского сада. Начинало смеркаться. Смутно синел снег за оградой, летали вороны, высокие башни в Кремле уходили во мглу. Зажигались золотые фонари. С сердцем, полным печали, тягости, Анна Дмитриевна подошла к Иверской, знаменитому палладиуму Москвы — часовне, видевшей на своих ступенях и царей, и нищих. Купив свечку, взошла, зажгла ее, и поставила перед Ликом Богородицы, мягко сиявшем в золотых ризах. Кругом — захудалые старушки, бабы из деревень; ходил монах с курчавой бородой, в черной скуфейке. Плакали, вздыхали, охали. Ближе к стене Музея занимали ме-

ста те, кто устраивался на ночь. Ночевали здесь по обету, чтобы три, или десять раз встретить ту икону Богоматери, которую возят по домам, и которая возвращается поздно ночью. Здесь служится молебен. И невесты, желающие доброй жизни в замужестве, матери, у которых больны дети, жены, неладно живущие с мужьями, мерзнут здесь зимними ночами, когда лихие голубки уносят из Большой Московской к Яру разгулявшихся господ.

Анна Дмитриевна стала на колени, перекрестилась, глаза ее наполнились слезами. Еще девочкой, когда сильно пил и бушевал отец, бегала она потихоньку на эти, снежные сейчас, плиты, и на ценный пятачок ставила свечку «укротительнице злых сердец».

— Старайся, милая, старайся, — говорила рядом старушонка, с глубоко запавшим ртом, в кацавейке, из числа тех, что неизвестно откуда берутся на похоронах, свадьбах и молебнах. — Она, Матушка-Заступница, все видит, всяческое усердие ценит.

Подошел рыжий извозчик, немолодой, тоже поставил свечу, снял шапку и бухнулся на колени. Быть может, молился он о захромавшей лошади, или чтобы овес подешевел. А возможно, и его вела та же тоска, что и Анну Дмитриевну.

Оттого ли, что поплакала, или, правда, в золотом сиянии Богородицы был мир, но она поднялась облегченная, как бы овлажненная. Стряхнув снег, приставший к подолу, вздохнула и стала спускаться со ступеней. Несколько нищих потянулись к ней. Она сунула им. И медленно пошла к Большому театру.

В хмурых сумерках высился он темной громадой; Мюр и Мерилиз сиял, насквозь пронизанный светом; золотые снопы ложились от него на снег. Анна Дмитриевна шла наискось через площадь, по тропинке,

только что проложенной. И почти столкнулась с Христофоровым. Он был в меховой шапке, запушенной снегом, с побелевшими усами. Увидев ее, улыбнулся и остановился, кланяясь.

— Голубчик вы мой, милый человек! — чуть не вскрикнула Анна Дмитриевна. — Что тут делаете?

— Гуляю, — ответил он. — У меня нет цели.

— Гуляю! Так себе просто и гуляет, сам не зная зачем! Ну, тогда пойдемте со мной, проводите, мне тоже некуда . . .

Она взяла его под руку и медленно, разговаривая, они побрели. Ей, правда, почему-то приятно было его встретить. Настроение подымалось. Они прошли по Кузнецкому, разглядывая витрины. У Сиу пили шоколад, рассматривали модных барынь, смеялись. Было светло, пахло духами, сигарами. Белели воротнички мужчин. Горели бриллианты.

Анна Дмитриевна пригласила Христофорова на другой день на балет, к себе в ложу.

X

Есть нечто пышное в облике зрительного зала Большого театра: золото и красный шелк, красный штоф. Тяжелыми складками висят портьеры лож с затканными на пурпуре цветами, и в этих складках многолетняя пыль; обширны аванложи, мягки кресла партера, холодны и просторны фойе, грубовато-великолепны ложи царской фамилии и походят на министров старые капельдинеры, лысые, в пенсне, в ливреях. Молча едят друг друга глазами два истукана у царской ложи. Дух

тяжеловатый, аляповатый, но великодержавный есть здесь.

Христофоров, явившийся в ложу первым и одиноко сидевший у ее красно-бархатного барьера, чувствовал себя затерянным в огромной, разодетой толпе. Театр наполнялся. Входили в партер, непрерывное движение было в верхах, усаживались в ложах; кое-где направляли бинокли. Над всем стоял тот ровный, неумолчный шум, что напоминает гудение бора — голос человеческого множества. Человечество затихло лишь тогда, когда капельмейстер, худой, старый человек во фраке, взмахнул своей таинственной палочкой, и за ней взлетели десятки смычков того удивительного существа, что называется оркестром. Загадочно, волшебством вызывали они новую жизнь; и помимо лож, партера и публики в театре появилась Музыка. Поднялся занавес, чтобы в безмолвном полете балерин дать место гению Ритма.

Анна Дмитриевна явилась вовремя. Фанни немного опоздала. Фанни была еще сильнее подкрашена. Она уселась рядом с Христофоровым с видом деловым, уверенным; оглядела залу, оркестр, сцену, как бы проверяя, все ли в порядке. Иногда, рассматривая балет, вдруг наклонялась к Анне Дмитриевне и шептала:

— Взгляни на Казакевич. Летом в Крыму нарочно загорала, и третий месяц загар с рук и с плеч не сходит. Крайняя справа — Семенова. Как мила! Ты понимаешь, одна простота, никаких фанаберий, настоящая добросовестная работа.

Анна Дмитриевна улыбалась ей глазами, но была сдержана, одета в черном, несколько бледна. Дышала не вполне ровно. К концу акта дверь в аванложу отворилась, звякнули шпоры. Занавес побежал вниз. Стало светлее, зааплодировали. Никодимов, худой, с пра-

вильным пробором и белыми аксельбантами подошел к Анне Дмитриевне, поцеловал руку. Вид он имел измученный; глаза его угрюмо темнели. Он вынул надушенный платочек и разгладил усы.

— Бог мой, — сказала Фанни, — не узнаю вас, дорогой.

— Я нездоров, — ответил Никодимов. — У меня невралгия лицевых нервов. Я очень дурно сплю по ночам.

— Ах, pauvre enfant!

Фанни засмеялась и стала показывать Христофорову знаменитого коннозаводчика, сидевшего в первом ряду.

— Вы меня звали, — сказал Никодимов тихо Анне Дмитриевне: — я пришел, несмотря на нездоровье.

Она вздохнула, прошла в аванложу и села на диван. Заложив ногу на ногу, подрагивая носком лакированной туфли, вертела она в руке лорнет. Наконец, как бы пересилив себя, сказала:

— Правда ли, что вы подделали мою подпись?

Никодимов сложил руки на коленях и глядел вниз.

— Я отдам вам эти деньги, очень скоро. Я сейчас в большом выигрыше. А тогда нужны были, чрезвычайно.

Анна Дмитриевна помолчала.

— Правда ли, что за вами какое-то темное дело . . . по части нравственности? И еще, у вас живет . . . такой юноша?

— Не беспокойтесь, на скамье подсудимых меня вы не увидите. Вас не скомпрометирую.

— Дело не во мне, — ответила она глухо, — дело в том, что вы окончательно гибнете.

— Это возможно. Возможно, что я окончательно выхожу из числа так называемых порядочных людей.

В зрительном зале стемнело, поднялся занавес. Сцена представляла мастерскую кукольного мастера. Несколько кукол сидело недвижно. С легкими подругами прокрадывалась сюда Коппелия. После мимических сцен являлся хозяин, испуганные гости разбегались.

— Недурна, — говорила Фанни Христофорову, — Коппелия недурна, но и только. «Как бы разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц». Если б Веру Сергеевну в этой роли видели! Ну, что она выделывает!

В это время в аванложе Никодимов говорил:

— Я никогда не понимал, чем виноват так называемый безнравственный человек, что он родился именно таким? Почему вы брюнетка, а не блондинка? Много приятнее быть симпатичным и добрым, жить в почете, довольстве, уважении, — чем путаться в долгах, ощущать презрение и ждать той черной дыры, куда все сваливаются. Скучать, болеть, завидовать . . . Нет, мы порочные, составляющие касту в обществе, вряд ли сойдемся когда-либо с довольными собой. Во все времена были мы отверженными. Так и всегда будет. Разве что со временем люди несколько поумнеют и поймут, что одной благородной позы мало.

— Все стараетесь себя оправдать . . .

— Ни нравственного, ни безнравственного нет. Есть люди, родившиеся с разными вкусами. Вы любите артишоки, а я ростбиф. Я и есть буду ростбиф, и меня станут называть прохвостом. А все дело в том, что природа, или Господь Бог, произвели нас на свет с разными вкусами. Свободная воля! Глупость, выдуманная попами.

Никодимов говорил негромко, сидел спокойно, лишь иногда, от боли в виске, страдальчески подергивал глазом.

Анна Дмитриевна смотрела на этого человека, так много взявшего в ее жизни, на его сухие пальцы с отточенными ногтями, на перстень с вырезанным черепом и двумя костями, на изможденное, но породистое лицо, — и как бывало нередко — странная смесь обаяния и презрения, нежности и обиды, пронзительной жалости и отвращения подымалась в ней.

— Ах, — сказала она задохнувшись, — чем вы меня взяли?

— Жалостью, — ответил Никодимов. — Вы считаете, что посланы в мою жизнь, чтобы исправить меня. Женщины с добрым сердцем, как вы, нередко чувствуют именно так. Смею вас уверить.

— Замолчите, вы... слышите, замолчите... — шепотом, давясь словами, произнесла Анна Дмитриевна. Она закрыла глаза платочком, откинулась на диван. Влево темнел треугольник между портьерой. Там был полумрак гигантского театра, тысячи голов и глаз, направленных на сцену.

Коппелия танцевала длинное и трудное adagio, Фанни впивалась в каждое ее движение. Временами бормотала: «Молодец! Для нее — даже хорошо!» Упираясь в пол носком, рукой придерживаясь за высокоподнятую руку партнера, Коппелия вся вытянулась горизонтально, слегка колебля другой ногой, как хвостом рыбы — и медленно, легко и изящно описывала полный круг.

Adagio имело успех. Коппелия выпорхнула и раскланялась, — с той нечеловеческой легкостью, которая поражает в балете.

— Таланта у ней мало, — судила Фанни, — но работа большая. Очень изящно. Это и говорить нечего.

Анна Дмитриевна видела только конец третьего акта. Ансамбли, дуэты, соло, бессвязно проносились перед

глазами, Фанни разбирала всех по косточкам. Одна отяжелела — известная немолодая балерина с дивными ногами; другая великолепна по темпераменту, но не вполне строгого вкуса. Третья — вся создана покровительством.

— Фанни хочет сделать из вас балетомана, — сказала Анна Дмитриевна Христофорову, через силу улыбаясь. — У вас голова кругом пойдет коли будете слушать.

— Что ж, это очень интересно, — ответил Христофоров.

— Не взыщите, голубок, — моя слабость! Чем я виновата, если балет меня восхищает? Посмотрела — точно бутылку шампанского выпила.

Когда, по окончании, все спускались к выходу, Христофоров обратился к Анне Дмитриевне:

— Я очень благодарен, что вы меня взяли.

— Вы что ж, — ответила Анна Дмитриевна, — вообще, кажется, становитесь светским человеком? Фрак бы еще на вас нацепить, да вывести на бал.

Христофоров рассмеялся, поглаживая свои усы.

— Во фраке мне, действительно, неподходяще. Светскость . . . ну, какая же! Но, конечно, я ценю новые впечатления, даже очень ценю, — прибавил он серьезнее. — Я хотел бы очень много видеть, как можно больше.

У выхода, под гигантскими колоннами портика, Фанни пригласила их к себе ужинать. Христофоров сначала замялся, потом согласился.

— У меня есть вино, — сказала Фанни. — Разумеется, дареное, — прибавила она и захохотала.

Зимней, свежей ночью, при блеске огней из Метрополя, шли они вверх, к Лубянской площади. Миновали лубянский фонтан, старую, красную церковку Гребневской Божией Матери, прежний застенок, и вышли на

Мясницкую — улицу камня, железа, зеркальных витрин с выставленными двигателями, контор, правлений и немцев.

Фанни снимала огромную квартиру в Армянском переулке. Была она запутанного, сложного устройства, с биллиардной комнатой, полутемной столовой, огромной гостиной, не менее чем тремя спальнями. Старинные, дорогие вещи стояли вперемежку с рыночными; в гостиной сомнительные картины; в общем дух безалаберной, праздной и веселой жизни.

— Ну, для чего тебе, например, биллиард? — спрашивала Анна Дмитриевна, стоя с кием у освещенного низкой лампой биллиарда.

Христофоров с улыбкой перекатывал белые шары.

— Как зачем? А захочу играть? Вот, младенца этого обучу этому ремеслу, — она кивнула на Христофорова и захохотала. — Лена, — крикнула она горничной, — скорее, ужинать! Сейчас, переоденусь только. Одна минута.

И она выбежала, на своих коротковатых, резвых ногах.

— Фанни живой человек, — сказала Анна Дмитриевна, — неунывающий. — В клубе ночами в карты дуется, поспит часа два, и как рукой сняло, опять весела, в кафе, в концерт, куда угодно.

Когда их позвали в столовую, Фанни, в капоте, заложив ногу на ногу, сидела у телефона. Она заканчивала отчет о спектакле.

— Успех, — да, средний, но да. Adagio прямо понравилось. В общем это, конечно, серединка . . . понимаете, дорогая моя . . . От настоящего, большого искусства, как у вас, ну . . . — бесконечность.

Фанни кормила их недурным ужином. Не обманула и насчет вина. Была в очень живом настроении и рас-

сказывала о студенческих сходках 1905 года. «Товарищи, — кричала она и хохотала простодушно, — не напирайте, товарищ Феня родит! Товарищи, не курите, ничего не слышно!» Затем изображала еврейские анекдоты, с хорошим выговором.

Анна Дмитриевна пила довольно много. Фанни подливала. Ее собственные, подкрашенные глаза блестели.

— Пей, — говорила она, — вино мне подарили, не жаль. А тебе надо встряхнуться. Ты мне не н'дравишься последнее время. Не н'дравишься, — язык ее склонен был заплетаться. — Плюнь, выпьем.

После ужина перешли в будуар. Затопили камин. Фанни принялась полировать себе ногти.

— Алексей Петрович, милый вы человек, — вдруг сказала Анна Дмитриевна, взяла его за руки и припала на плечо горячим лбом, — что же делать? как существовать? Ангел, мне вся я не н'дравлюсь, с головы до пят, все мы развращенные, тяжелые, измученные... На вас взгляну, кажется: он знает! Он чистый и настоящий...

Христофоров смутился.

— Почему же я...

— Если вы такой, — продолжала Анна Дмитриевна, — то должны знать, как и что... где истина.

— Об истине, — ответил он не сразу, — я много думал. И о том, как жить. Но ведь это очень длинный разговор... и притом мои мысли никак нельзя назвать... объективными, что ли. Может быть, только для меня они и хороши.

Анна Дмитриевна глядела на танцующее, золотое пламя в камине.

— Все-таки скажите ваш устой, ваше главное... понимаете, — я же не умею выражаться.

Христофоров улыбнулся.

— Вот и история . . . Мы были в балете, пили шампанское, смеялись, и вдруг дело дошло до устоев.

Анна Дмитриевна вспыхнула.

— Смешно? Считаете меня за вздорную бабу?

— Нисколько, — тихо и серьезно ответил Христофоров. — Я хочу только сказать, что многое сплетается в жизни причудливо. К вам, Анна Дмитриевна, я отношусь с симпатией. Многое родственно мне, думаю, в вашей душе. Поэтому, именно лишь поэтому, я скажу вам один свой *устой*, как вы выражаетесь.

Христофоров помолчал.

— Мне почему-то приходит сейчас в голову одно . . . О бедности и богатстве. Об этом учил Христос. Его великий ученик, св. Франциск Ассизский, прямо говорил о добродетели, мимо которой не должен проходить человек: sancta povertade, святая бедность. Все, что я видел в жизни, все подтверждает это. Воля к богатству есть воля к тяжести. Истинно свободный лишь *беззаботный*, вы понимаете, лишенный связей дух. Вот почему я не из демократов. Да и богачи мне чужды.

Он улыбнулся.

— Я не люблю множества, середины, посредственности. Нет ничего в мире выше христианства. Может быть, я не совсем его так понимаю. Но для меня — это аристократическая религия, хотя Христос и обращался к массе. Моя партия — аристократических нищих.

— Фанни, — сказала Анна Дмитриевна, — слышишь? «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому внити в Царствие Небесное»! Это про нас с тобой.

— Давно известно, — ответила Фанни, зевнув, — и не в моем духе. Богатство есть изящная оправа жизни. Ведь и вы не отказываетесь от моего шампанского.

— Шампанского! Нет, это в высшем смысле, ты не понимаешь. Меня твое шампанское не зальет, если тут у меня болит, здесь, в сердце!

— Оставь пожалуйста! Эти сердечные томления надо бросить для неврастеников, а самим жить, пока молоды. Ведь и Алексей Петрович же жизнь ценит.

Христофоров подтвердил. Только добавил, что бедность вовсе не мешает любить жизнь, а, быть может, делает эту любовь чище и бескорыстнее. Анна Дмитриевна резко стала на сторону Христофорова. Точно ее это облегчало.

— Ну, и отлично, — сказала в третьем часу Фанни, — продавай свой особняк, раздай деньги бедным, и поступай на службу в городскую управу.

Все засмеялись. Так как было поздно, Фанни предложила ночевать у себя. Христофоров сперва стеснялся. Но простой и искренний тон Фанни убедил его. Ему постелили в дальней комнате, на громадной кровати — роскошном детище Louis XV.

— Вот и спите здесь, поклонник Франциска Ассизского, — сказала Фанни, прощаясь. — Вы увидите, что это гораздо лучше, чем на соломе, в холодной хижине.

Когда она ушла, Христофоров, раздеваясь, с улыбкой смотрел на резных красного дерева амуров, натягивавших в него свои луки. Ему вдруг представилось, что вполне за св. Франциском он идти, все же, не может. Погасив свет, он лежал в темноте, на чистых простынях мягкой постели. «Все-таки, — думал он, — слишком я люблю земное». Он долго не мог заснуть. Вспоминался сегодняшний вечер, балет. Анна Дмитриевна, неожиданный ужин, разговор, странное пристанище на ночь. Так и вся жизнь, от случая к случаю, от волны к волне, под всегдашним покровом голубоватой мечтательности. Ему вдруг вспомнилось, как у памят-

ника Гоголю Машура с полными слез глазами сказала, что любит *одного* Антона. Он вздохнул. Нежная, мучительная грусть пронзила его сердце. Отчего до сих пор, до тридцати лет — он один? Милые женские облики, к которым он склонялся . . . — и с некоторой ступени, как сны, они уходили. «А Машура»?

«Одиночество, — говорил другой голос. — Святое, или не святое — но одиночество».

Он засыпал.

XI

Довольно долго после встречи с Антоном осенью Машура считала, что ее сердечные дела прочны. Антон был так кроток, предан, такое обожание выдавали его небольшие глаза, какое бывает у людей самолюбивых и уединенных. И Машуре с ним казалось легко. «Этот не выдаст, — думала она. — Весь, действительно, мой». Она улыбалась. Но незаметно — в сердце оставалась царапина — недоговоренное слово, мысль невысказанная.

Раз в разговоре, при ней, Наталья Григорьевна назвала одного знакомого, служившего в банке:

— Отличный человек. Типа, знаете ли, семьянина, абсолютного мужа.

Она даже засмеялась, довольная, что нашла слово.

— Именно, это абсолютный муж.

Хотя к Антону эти слова не относились, все же Машуре, почему-то, были неприятны. «Какие глупости, — говорила она себе. — Разве Антон в чем-нибудь похож на этого банковского чиновника? Абсолютный муж!»

Но и самой ей казалось странным, что об Антоне она мало думает. Когда он приходит, это приятно, даже ей скучно, если его нет. Все же . . . Не совсем то.

Однажды, возвращаясь с ним по переулку, морозной ночью, Машура вдруг спросила:

— Это какая звезда?

Антон поднял голову, посмотрел, ответил:

— Не знаю.

— Да, ты не любишь . . .

Машура не договорила, но почему-то смутилась, ей стало даже немного неприятно. Антон тоже почувствовал это.

— Не все ли равно, как называется эта, или та звезда? — сказал он недовольно. — Кому от этого польза?

«Не польза, а хочу, чтобы знал», подумала Машура, но ничего не сказала. А час спустя, раздеваясь и ложась спать, с улыбкой и каким-то острым трепетом вспомнила ту ночь, под Звенигородом, когда они стояли с Христофоровым в парке, у калитки, и рассматривали звезду Вегу. «Почему он назвал ее тогда *своей* звездой? Так ведь и не сказал. Ах, странный человек Алексей Петрович!»

Через несколько дней, незадолго до Рождества, Машура медленно шла утром к Знаменке. Из Александровского училища шеренгой выходили юнкера с папками, строились, зябко подрагивая ногами, собираясь в Дорогомилово, на съемку. Машура обогнула угол каменного их здания, и мимо Знаменской церкви, глядевшей в окна мерзнущих юнкеров, направилась в переулок. Было тихо, слегка туманно. Галки орали на деревьях. Со двора училища свозили снег; медленно брел старенький артиллерийский генерал, подняв воротник, шмурыгая закованными калошами. Машура взяла налево в ворота, к роскошному особняку, где за зеркаль-

ными стеклами жили картины. Ей казалось, что этот день как-то особенно чист и мил, что он таит то нежно-интересное, что и есть прелесть жизни. И она с сочувствием смотрела на галок, на запушенные снегом деревья, на проезжавшего рысцой московского извозчика в синем кафтане с красным кушаком.

Теплом, светом пахнуло на нее в вестибюле, где раздевались какие-то барышни. Сверху спускался молодой человек в блузе, с длинными волосами à la Теофиль Готье, с курчавой бородкой: вне сомнения, будущий Ван-Гог.

По залам бродили посетители трех сортов: снова художники, снова барышни, и скромные стада экскурсантов, покорно внимавших объяснениям. Машура ходила довольно долго. Ей нравилось, что она одна, вне давления вкусов; она внимательно рассматривала туманно-дымный Лондон, ярко-цветного Матисса, от которого гостиная становится светлей, желтую пестроту Ван-Гога, примитив Гогена. В одном углу, перед арлекином Сезанна, седой старик в пенсне, с московским выговором, говорил группе окружавших:

— Сезанн-с, это после всего прочего, как например, господина Монэ, все равно, что после сахара а-ржаной хлебец-с . . .

Тут Машура вдруг почувствовала, что краснеет: к ней подходил Христофоров, слегка покручивая ус. Он тоже покраснел, неизвестно почему. Машуре стало на себя досадно. «Да что он мне, правда?» Она холодно подала ему руку.

— А я, — сказал он смущенно, — все собираюсь к вам зайти.

— Разве это так трудно? — сказала Машура. Что-то кольнуло ей в сердце. Почти неприятно было, что его встретила — или казалось, что неприятно.

— Меня стесняет, что у вас всегда народ, гости . . .

«Вы предпочитаете tête à tête, как в Звенигороде, — подумала Машура. — Чтобы загадочно смотреть и вздыхать!»

Пройдя еще две залы, попали они в комнату Пикассо, сплошь занятую его картинами, где из ромбов и треугольников слагались лица, туловища, группы.

Старик — предводитель экскурсантов, снял пенсне и, помахивая им, говорил:

— Моя последняя любовь, да, Пикассо-с . . . Когда его в Париже мне показывали, так я думал — или все с ума сошли, или я одурел. Так глаза и рвет, как ножичком чикает-с. Или по битому стеклу босиком гуляешь . . .

Экскурсанты весело загудели. Старик, видимо не впервые говоривший это, и знавший свои эффекты, выждал и продолжал:

— Но теперь-с, ничего-с . . . Даже напротив, мне после битого стекла все мармеладом остальное кажется . . . Так что и этот портретец, — он указал на груду набегавших друг на друга треугольников, от которых, правда, рябило в глазах, — этот портретец я считаю почище Монны Лизы-с, знаменитого Леонардо.

— А правда, — спросил кто-то неуверенно, что Пикассо этот сошел с ума?

Машура вздохнула.

— Может быть, я ничего не понимаю, — сказала она Христофорову, — но от этих штук у меня заболит голова.

— Пойдемте, — сказал Христофоров, — тут очень душно.

Его голубые, обычно ясные глаза, правда, казались сейчас утомленными.

Спустившись, выйдя на улицу, Христофоров вздохнул.

— Нет, не принимаю я Пикассо. Бог с ним. Вот этот серенький день, снег, Москву, церковь Знамения — принимаю, люблю, а треугольники — Бог с ними.

Он глядел на Машуру открыто. Почти восторг светился теперь в его глазах.

— Я вас принимаю и люблю, — вдруг сказал он.

Это вышло так неожиданно, что Машура засмеялась.

— Это почему ж?

Они остановились на тротуаре Знаменского переулка.

— Вас потому, — сказал он просто и убежденно, — что вы лучше, еще лучше Москвы, и церкви Знамения. Вы очень хороши, — повторил он еще убедительнее, и взял ее за руку так ясно, будто бесспорно она ему принадлежала.

Машура смутилась и смеялась. Но ее холодность вся сбежала. Она не знала что сказать.

— Ну, идем... Ну, эта церковь, и объяснения на улице... Я прямо не знаю... Вы, какой странный, Алексей Петрович.

На углу Поварской и Арбата, прощаясь с ней, он поцеловал ей руку и сказал, глядя голубыми глазами:

— Отчего вы ко мне никогда не зайдете? Мне иногда кажется, что вы на меня сердитесь... Но, право, не за что. Кому-кому, — прибавил он, — но не вам.

Машура кивнула приветливо и сказала, что зайдет.

Она шла по Поварской, слегка шмурыгая ботиками. Что-то веселое и острое овладело ею. «Ну, каков, Алексей Петрович! Вы очень хороши, лучше Москвы и церкви Знамения!» Она улыбнулась.

Дома все было, как обычно. В зале стояла елка, которую Наталья Григорьевна готовила ко второму дню Рождества, для детей и взрослых. Пахло свежей хвоей, серебряные рыбки болтались на ветвях. Машура поднялась к себе наверх. В комнатах ее тепло, светло и чисто, все на своих местах, уютно и культурно. Она молода, все интересно, неплохо... Машура села в кресло, заложила руки за голову, потянулась. В глазах прошли цветные круги. Ах все бы хорошо, отлично, если б... Господи, что же это такое? А?» Стало жутко почему-то, даже страшно. «Что же, я врала Антону? Ну, зачем, зачем...» Острое чувство тревоги и тоски наполнило ее. «Почему все так выходит? разве я...» Все смешалось в ней, то ясное, утреннее ушло и сменилось сумбуром. Кто такой Христофоров? Как он к ней относится? Что значат его отрывочные, то восторженные, то непонятные слова? Может быть, все это — одна игра? И, как же с Антоном? На нее нашли сомнения, колебания. Она расстроилась. Даже слезы выступили на глазах.

Завтракала она хмурая, в сумерках села к роялю, разбирая вещицу Скрябина, которую слышала в концерте. Но там было одно, здесь же выходило по другому.

Пришел Антон. Слегка сутулясь, как обычно, он подал ей холодную от мороза руку и сказал:

— Это Шопен? Помню, слышал. Только ты замедляешь темп.

— Вовсе не Шопен, — сухо ответила Машура.

«Он уверен, что все знает, и музыку, и искусство, — подумал она недружелюбно: — удивительное самомнение!»

— Да, значит, я ошибся, — сказал Антон, покраснев, — во всяком случае, темп ты чрезмерно замедляешь.

Машура взглянула на него.

— Я просто плохо читаю ноты.

Он ничего не ответил, но чувствовалось, что остался недоволен.

— Я была нынче в галерее, — сказала Машура, кончив и обернувшись к нему.

— Не знал. Я бы тоже пошел. Отчего ты мне не сказала?

— Просто, встала утром и решила, что пойду.

В пять часов они пили чай одни — Наталья Григорьевна уезжала в комитет детских приютов, где работала. Отрезая себе кусок soupe anglaise, Антон сказал, что, по его мнению, все эти кубисты, футуристы, Пикассо — просто чепуха, и смотреть их ходят те, кому нечего делать. Машура возразила, что Пикассо вовсе не чупуха, что в галерею ходит много художников, и понимающих в искусстве. Например, там встретила она Христофорова.

— Христофоров понимает столько же в живописи, сколько Наталья Григорьевна в литературе, — вспыхнув, ответил Антон.

Машура рассердилась.

— Мама в десять раз образованнее тебя, а ругать моих знакомых — твоя обычная манера.

Антон заволновался. Он ответил, что в этом доме ему давно тесно, и душно; что, если бы не любовь к Машуре, он бы здесь никогда не бывал, ибо ненавидит барство, весь барственный склад, и, действительно, не любит их знакомых.

В его тоне было задевающее. Машура обиделась, ушла наверх. Но Антон погружался в то состояние

нервного возбуждения, когда нельзя остановиться на полуслове; когда нужно говорить, изводить, чтобы потом в слезах и поцелуях помириться, или же резко разойтись. В ее комнате стал он доказывать, что неуверен, любит ли она его по настоящему, и во всяком случае, если любит, то очень странно.

Машура сказала, что ничего странного нет, если она случайно встретила Христофорова. Разговор был длинный, тяжелый. Антон накалялся и к концу заявил, что теперь он видит, — во всяком случае Машура дитя своего общества, которое ему ненавистно и где, видимо, иные понятия о любви, чем у него. Тогда она сказала, что Христофоров звал ее к себе, и что она пойдет.

— Это гадость, понимаешь, мерзость! — закричал Антон. — Ты делаешь это нарочно, чтобы меня злить.

Он ушел взбешенный, хлопнув дверью. Машура плакала в этот вечер, но какое-то упрямство все сильнее овладевало ею. «Захочу, — твердила она себе, лежа в темноте, в слезах на кушетке, — и пойду. Никто мне не смеет запрещать».

Вернувшись домой, Наталья Григорьевна осталась недовольна. По одному виду Машуры и тому, что был Антон, она поняла, в чем дело. Эти сердечные столкновения весьма ей не нравились. Со своим покойным мужем она прожила порядочно, как надлежит культурным людям, без всяких слез и сумасбродств. И считала, что так и надо.

На другой день с утра заставила Машуру заняться елкой, распределять подарки, посылала прикупить чего нужно — то к Сиу, то к Эйнем. Машура машинально исполняла; в этих мелких делах чувствовала она себя лучше.

Как в хорошем, старом доме, Рождество у Вернадских проходило по точному ритуалу: на первый день

являлись священники, пели «Рождество Твое, Христе Боже наш»; Наталья Григорьевна кормила их окороком, угощала наливками, мадерами, и теми неопределенно-любезными разговорами, какие обычно ведутся в таких случаях. Она не была поклонницей этих vieux religieux, но считала, что обряды исполнять следует, ибо они — часть культурной основы общежития.

Потом приезжали с бесконечными визитами разные дамы, какие-то старики, подкатывали лицеисты в треуголках, шаркали, целовали ручку и ели торты. Весь день приходили поздравлять с черного хода. Наталья Григорьевна заранее наменивала мелочи.

В этом году все протекало в обычном порядке; как обычно, Машура очень устала к концу первого дня. Как всегда, много было народу и детей на второй день, на елке; было так же парадно и скучновато, как полагается на елках взрослых. Профессор, друг Ковалевского, длинно рассказывал, глотая кофе, что обычай празднования Рождества восходит к глубокой древности, дохристианской. Его прообраз можно найти в римских Сатурналиях, где также дарили друг другу свечи, орехи, игрушки.

Антон не пришел; он не явился и на следующий день, и не звонил. Подошел новый год. Машура чокнулась шампанским с матерью, а Антона будто и не было. «Что-то будет в этом году!» думала она, засыпая после встречи. Чувствовала себя одиноко, то хотелось плакать, то, напротив, сердце останавливалось в истоме и нежности.

И не очень долго раздумывая, вдруг в один морозный, святочный вечер надела она меховую кофточку, взяла муфту и, ничего не сказав матери, по скрипучему снегу побежала к Христофорову.

XII

Христофоров был дома. В его мансарде горела на столе зеленая лампа. Окна заледенели; месяц, еще не полный, золотил их хитрыми узорами. А хозяин, куря и прихлебывая чай, раскладывал пасьянс. Он был задумчив, медленно вынимал по карте, и рассматривал, куда ее класть. Валеты следовали за тузами, короли за тройками, в царстве карт, был новый мир, отвлеченнее, безмолвней нашего. Всегда важны короли, одинаковы улыбки дам, неподвижно держат свои секиры валеты. Они слагались в таких сложных сочетаниях! Их печальная смена и бесконечность смен говорили о вечном круговороте.

«Говорят, — думал Христофоров, — что пиковая дама некогда была портретом Жанны д'Арк». Это его удивляло. Он находил, что дама червей напоминает юношескую его любовь, давно ушедшую из жизни. И каждый раз, как она выходила, жалость и сочувствие пронзали его сердце.

Он удивлен был легкими шагами, раздавшимися на лесенке, — отворилась дверь: — тоненькая, зарумянившаяся от мороза, с инеем на ресницах стояла Машура.

Он быстро поднялся.

— Вот это кто! Как неожиданно!

Машура засмеялась, но слегка смущенно.

— Вы же сами меня приглашали.

— Ну, конечно, все-таки . . . — он тоже улыбнулся, и прибавил тише: — я, правду говоря, не думал, что вы придете. Во всяком случае, я очень рад.

— Я была здесь, — говорила Машура, снимая шубку и кладя ее на лежанку, — только раз, весной. Но вас

тогда не застала. И оставила еще черемуху . . . Что это вы делаете? — сказала она, подходя к столу. — Боже мой, неужели пасьянс?

Она захохотала.

— Это у меня тетка есть такая, старуха, княгиня Волконская. У ней полон дом собаченок, и она эти пасьянсы раскладывает.

Христофоров пожал плечами, виновато.

— Что поделать! Пусть уж я буду похож на тетку Волконскую.

— Фу, нет, нисколько не похожи.

Христофоров сходил за чашечкой, налил Машуре чаю. Достал даже конфет.

— Вы дорогая гостья, редкая, — говорил он. — Знал бы, что придете, — устроил бы пир.

Какая-то тень прошла по лицу Машуры.

— Я и сама не знала, приду или нет.

Христофоров посмотрел на нее внимательно.

— Вы как будто взволнованы.

— Вот что, — сказала вдруг живо Машура, — нынче святки, самое такое время, к тому же вы чернокнижник . . . наверно умеете гадать. Погадайте мне!

— Я, все-таки, не цыганка! — сказал он, и засмеялся. Его голубые глаза нежно заблестели.

Но Машура настаивала. Все смеясь, он стал раскладывать карты по три, подражая старинным гаданиям; и припоминая значение карт, рассказывал длинную ахинею, где были, разумеется, червонная дорога, интерес в казенном доме, для сердца — радость.

— Вам завидует бубновая дама, — сказал Христофоров, и разложил следующую тройку. — Любит вас король треф, а на сердце, да . . . король червей.

— Это — блондин? — спросила Машура.

Христофоров взглянул на нее загадочно. Она не поняла, всерьез это, или шутка.

— Да, блондин. Как я.

Он вдруг смутился, положил колоду, взял Машуру за руку.

— Это неправда, — сказал он, — у червонного короля на сердце милая королева, приходящая святочным вечером, при луне.

Он поцеловал ей руку.

— Или, может быть, снежная фея, лунное виденье.

Машура побледнела и немного откинулась на стуле.

— Может быть, вы исчезнете сейчас, растаете, как внезапно появились, — вдруг сказал Христофоров, тревожно, тихо, и почти с жалобой. Голубые глаза его расширились. Машура смотрела. Странное что-то показалось ей в них.

— Вы безумный, — тихо сказала она. — Я давно заметила. Но это хорошо.

Христофоров потер себе немного лоб.

— Нет, ничего . . . Вы — конечно, это вы, но и не вы.

Они сели на диванчик. Машура положила ему голову на плечо и закрыла глаза. Было тепло, сверчок потрескивал за лежанкой, из окна, золотя ледяные разводы на стекле, ложился лунный свет. Машура ощущала — странная нега, как милый сон, сходила на нее. Все это было немного чудесно.

Христофоров гладил ей руку и изредка целовал в висок.

— Почему мне с вами так хорошо? — шепнула Машура. — Я невеста другого, и почему-то я здесь. Ах, Боже мой!

— Пусть идет все как надо, — ответил Христофоров.

Он вдруг задумался и засмотрелся на нее долго, пристально.

— А? — спросила Машура.

— Вы пришли в мою комнату, Машура, в пустую комнату . . . И уйдете. Комната останется, как прежде. Я останусь. Без вас.

Машура слегка приподнялась.

— Да, но вы . . . кто же вы, Алексей Петрович? Ведь я этого не знаю. Ничего не знаю.

— Я, — ответил он, — Христофоров, Алексей Петрович Христофоров.

— Все равно, я же должна знать, как вы, что вы . . . Ах, ну вы же понимаете, что вы мне дороги, а сами всегда говорите . . . я не понимаю . . .

Она взяла его за плечи, и прямо, упорно посмотрела в глаза.

— Вы мое наваждение. Но я ничего, ничего не понимаю.

Она вдруг закрыла лицо руками и заплакала.

— Прелестная, — шептал Христофоров, — прелестная.

Через несколько минут она успокоилась, вздохнула, отерла глаза платочком.

— Это все сумасшествие, просто полоумие глупой девчонки . . . Мы друзья, вы славный, милый Алексей Петрович, я ни на что не претендую.

Они сидели молча. Наконец, Машура встала.

— Дайте мне шубку. Выйдем. Мне хочется воздуха.

Христофоров покорно одел ее, сам оделся. Машура была бледна, тиха. Когда задул он лампу, в голубоватой мгле блеснули на него влажные, светящиеся глаза.

Они вышли. Тень от дома синела на снегу. Христофоров взял Машуру под руку, свел с крыльца, и сказал:

— Тут у нас есть садик. Хотите взглянуть?

Отворили калитку, и вошли в тот небольшой, занесенный снегом уголок кустов, деревьев, дорожек, какие попадаются еще в Москве. В глубине виднелась даже плетеная беседка, обвитая замерзшим, сухим хмелем. Они сели на скамейку.

— Здесь видны ваши любимые звезды, — Машура не подымала головы.

С деревьев на бархала рукава слетали зеленовато-золотистые снежинки. Все полно было тихого сверкания, голубых теней.

— Прямо над домом, вон там, — сказал Христофоров, указывая рукой, — голубая звезда Вега, альфа созвездия Лиры. Она идет к закату.

— Помните, — произнесла Машура, — ту ночь, под Звенигородом, когда мы смотрели тоже на эту звезду, и вы сказали, что она ваша, но почему ваша, — не ответили.

— Я тогда не мог ответить, — сказал Христофоров, — еще не мог ответить.

— А теперь?

— Теперь, — выговорил он тихо, — время уже другое. Я могу вам сказать.

Он помолчал.

— У меня есть вера, быть может, и странная для другого: что эта звезда — моя звезда-покровительница. Я под нею родился. Я ее знаю и люблю. Когда ее вижу, то спокоен. Я замечаю ее *первой,* лишь взгляну на небо. Для меня она — красота, истина, божество. Кроме того, она женщина. И посылает мне свет любви.

Машура закрыла глаза.

— Вот что! Я так и думала.

— В вас, — продолжал Христофоров, — часть ее сиянья. Потому вы мне родная. Потому я это и говорю.

— Погодите, — сказала Машура, все не открывая

глаз, и взяла его за руку. — Помолчите минуту... именно надо помолчать, я сейчас...

Где-то на улице скрипели полозья. Слышно было, как снег хрустел под ногами прохожих. Доносились голоса. Но все это казалось отзвуком другого мира. Здесь же, в алмазной игре снега, его тихом и непрерывном сверкании, в таинственном золоте луны, снежных одеждах дерев было, правда, наваждение.

Машура медленно поднялась.

— Я начинаю понимать, — сказала она тихо.

Она открыла глаза, взгляд ее вначале напоминал лунатика. Понемногу он прояснился. Она опустила плечи, взялась рукой за спинку скамейки.

— Вот теперь будто бы яснее.

Она еще помолчала.

— Знаете, мне иногда казалось, что вас забавляет играть... игра в любовь, что ли. В постоянном затрагивании и ускользании... для вас какая-то прелесть. Может быть, жизнь изучаете, что ли, женщину... И я бывала даже оскорблена. Я вас временами не любила.

Христофоров подался вперед, сидел неподвижно, глядя на нее.

— Вдруг, именно теперь, в этот вечер, я поняла, что неправа.

Она остановилась, как бы захлебнувшись. И продолжала:

— Вы, может быть, меня и любите...

Христофоров нагнул голову.

— Но вы вообще очень странный человек... возможно, я еще мало жила, но я не видела таких. И именно в эти минуты я поняла, что ваша любовь, как ко мне, так и к этой звезде Веге... ну, это ваш поэтический экстаз, что ли... — она улыбнулась сквозь слезы. — Это сон какой-то, фантазия, и, может быть, очень иск-

ренняя, но это . . . это не то, что в жизни называют любовью.

— А почему вы думаете, — произнес Христофоров, — что эта любовь хуже?

Машура ступила на шаг вперед.

— Я этого не говорю, — прошептала она. Потом вздохнула. — Может быть, это даже лучше.

— Нет, — сказал Христофоров. — Я вами не играл. Но любовь, правда, удивительна. И неизвестно, не есть ли еще это настоящая жизнь, а то, в чем прозябают люди, сообща ведущие хозяйство — то, может быть, неправда . . . А?

Он спросил с такой простотой и убежденностью, что Машура улыбнулась.

— Вы правы, — сказала она и подала ему руку. — Я, кажется, за этот вечер стала взрослей, и старше, чем за много месяцев.

Она провела рукой по глазам.

— Я буду помнить этот странный садик, луну, свою влюбленность . . . Да, во мне есть — вернее, — была влюбленность . . . я не стыжусь этого сказать. Напротив . . .

Она направилась к выходу. Христофоров встал. Она вынула часики, взглянула и сказала, что пора домой.

Христофоров проводил ее. Почти у подъезда дома Вернадских встретили они Антона. Он, сутулясь, быстро и решительно шел навстречу. Увидав, поклонился, как малознакомый, и перешел на другую сторону.

Ночью Машура плакала у себя в постели. На Молчановке Христофоров, не раздеваясь, долго лежал на том самом диванчике, где она сидела. Сердце его раздиралось нежной и мучительной грустью.

XIII

Святки в Москве были шумные, как и весь тот год. Гремели кабаре, полгорода съезжалось смотреть танго, — подкрашенные юноши и дамы извивались перед зрителями, вызывая волнение, и острую, щемящую тоску. Меценаты устраивали домашние спектакли. В них отличались музыканты, художники, поэты, воспроизводя Венецию галантного века. Много было балов. Шли новые пьесы; открывались выставки, клубы работали. Морозной ночью летали тройки и голубки к Яру.

Именно в это время бойкая Фанни, вместе с другими дамами и мужчинами, выдумала устроить маскарад. Собирали деньги, нанимали помещение, музыку; художники писали декорации; дамы шили платья, готовили список приглашенных.

Ретизанов попал туда. Утром приехала к нему Фанни, вручила билет и взяла пятьдесят рублей.

Ретизанов улыбался, глядя на нее.

— Какая вы . . . быстрая, — сказал он. — Вы, ведь, меня почти не знаете . . .

— И, тем не менее, вломилась, и обобрала? Вас, ангел мой, во-первых, вся Москва знает, второе — вы со средствами, что вам пятьдесят рублей?

— Позвольте, — перебил Ретизанов, — а это интересно? Да, и Лабунская будет танцевать?

Фанни уверила, что сама Вера Сергеевна обещала быть, несравненная, очаровательная.

— Ах, Вера Сергеевна . . . Нашли кого с Лабунской равнять.

Фанни засмеялась.

— Дело вкуса, голубчик. Не настаиваю.

Уже в передней, подавая ей одеться, Ретизанов сказал:

— Неужели вы серьезно думали привлечь меня этой . . . Верой Сергеевной?

Фанни хлопнула его слегка муфтой и вышла.

— Вы чудак, ангелочек. Всегдашний чудак. А мне еще в тысячу мест.

И она захлопнула дверь. Ретизанов же пошел пить кофе. Читал газеты — и раздражался — ему казалось, что они созданы для опошления жизни. Ничто порядочное не может появиться в них.

В это утро ему пришла мысль о том, что следовало бы заключить союз творцов и людей высшей породы, тайный союз вроде масонского, для охранения духовной культуры, общения между собой, и попыток коллективного, но строго-аристократического решения дел искусства, философии, поэзии. Мысль его воодушевила. Он бросил кофе, отправился в кабинет, долго ходил из угла в угол, пощелкивая пальцами, бормоча, потом пошел в спальню, для совещания с гениями. Его кровать отделялась занавесью. Он просунул голову между ее складками, погрузил глаза в полумглу, потом закрыл их. Некоторое время молчал, затем, уже против его воли, мозг зашептал бессмысленные слова, пока не стало казаться, что ни его, ни комнаты нет, все слилось в одно смутное пятно. Гении ответили. Они шептали, слабо и нежно, в оба уха. Он улыбался, кивал. Когда узнал, что нужно и они перестали, он отошел, бледный и усталый, сел на диван и отер лоб. Гении одобрили его. Они сообщили также, что завтра возвращается из Петербурга Лабунская.

В два часа он завтракал, один, в Праге, задумчивый и рассеянный. Когда подали бутылку мозельвейна, и он

налил вино в зеленоватый бокал, вдруг появился Никодимов.

— Ах, это вы...

Ретизанов даже вздрогнул.

— Ну, присядьте...

— Что вы на меня так смотрите? — спросил Никодимов, холодновато улыбаясь. — Я не кусаюсь.

Ретизанов смутился.

— Нет, ничего. Я вас не боюсь.

Никодимов спросил, пригласили ли его на маскарад.

— Пригласили... А вы откуда знаете, что все это... что это будет?

Никодимов имел нездоровый вид, и слегка подрагивал глазом.

— Я знаю потому, что меня именно не пригласили. Всех моих знакомых пригласили, но не меня.

Ретизанов спросил простодушно:

— Почему же не вас? Это странно.

Никодимов ответил не сразу.

— Потому, — сказал он, наконец: — что я Никодимов, Дмитрий Павлыч Никодимов. Но я все равно приду.

— Дмитрий Павлыч Никодимов... — протянул Ретизанов. — Как странно... Да, а знаете, — вдруг добавил он задумчиво, — когда вы подошли, мне на минуту стало жутко... Я ощутил... какую-то мертвенную тень на сердце. Будто что-то неживое.

Никодимов поднялся.

— Довольно, — сказал он. — Мне, знаете, все это надоело. Мертвенная, или живая тень, мне все равно. Я пока все же человек, а не фигура.

Ретизанов привстал.

— Нет, да я не хотел вас обидеть.

Но Никодимов повернулся и отошел в дальний угол. Там сел один за столик, и потребовал водки. Ретизанов же остался в смущении и некоторой тревоге. Что-то его угнетало. Кончив обед, расплатился. На сердце у него было тоскливо. Хотелось какой-то музыки.

Выйдя на Арбат, он взял налево, пересек площадь и мимо хмурого Гоголя пошел Пречистенским бульваром. Навстречу бежали гимназистки и хохотали. В тире Военного училища, за стеной, шла стрельба. Дети играли у эстрады. На деревьях гомозилось воронье, устраиваясь на ночь; зажигались желтые фонари, да летел снежок, бил в лицо. Чувство глубокой призрачности охватило Ретизанова. Вдруг ему показалось, — стоит ветру дунуть, все развеется, как и он сам. Он остановился . . .

— Может быть, ничего этого и вовсе нет? — спросил он вслух. Дети шарахнулись от высокого, худого, седоватого господина, говорившего с самим собой. Было уже темно, когда он поднялся наверх. У себя он застал Христофорова, — в кабинете, в кресле, у камина.

— Камин уже топился, — сказал Христофоров, улыбаясь, — когда я пришел. Я принес вам книжки, которые брал еще до Рождества. И говоря правду — озяб. Потому и сел погреться.

— Вы как будто извиняетесь, — сказал Ретизанов. — Черт знает! Вы должны были заказать себе кофе, или еще что вздумается . . . Но вы вообще очень скромный человек . . . Когда я вас вижу, мне кажется, что вы хотите стать боком, в тень, чтобы вас не видели.

— Ну, может быть, я вовсе не так скромен, как вы думаете, — ответил Христофоров.

Ретизанов велел подать кофе.

— Вы действуете на меня хорошо, — сказал он. — В вас есть что-то бледно-зеленоватое . . . Да, в вас ве-

сеннее есть. Когда к маю березки... оделись. Говорят, вы любитель звезд?

— Да, люблю.

— В звездах я ничего не понимаю, но небо чувствую, и вечность.

Он помолчал, потом вдруг заговорил с жаром.

— Я очень хорошо понимаю вечность, которая глотает всех нас, как букашек... как букашек. Но вечность есть для меня и любовь, в одно и то же время. Или, вернее — любовь есть вечность...

Ретизанов выпил чашку кофе, совсем разволновался. Он нападал на будничность, серое прозябанье, на само время, на трехмерный наш мир, и полагал, что истина и величие — лишь в мире четырех измерений, где нет времени, и который так относится к нашему, как наш — к миру какой-нибудь улитки.

— Время есть четвертое измерение пространства, — кричал он. — И оно висит на нас, как ветхие, как тяжелые одежды. Когда мы его сбросим, то станем полубогами, и одновременно будем видеть события прошлого и будущего — что сейчас мы воспринимаем в последовательности, которую и называем временем. Впрочем, вы понимаете меня.

Христофоров сидел, молчал и курил. Ему нравилось золотое пламя, беспрерывный, легкий его танец, но с самого того вечера, как Машура приходила к нему, его не покидало чувство острой, разъедающей тоски. Машура жила все тут же, на Поварской. Но у него было ощущение, что она где-то бесконечно далеко. Неужели он пойдет, позвонит у подъезда и взойдет в ее светелку, где она читает, или шьет? Это казалось ему невозможным.

Ретизанов, наконец, умолк. Молча он смотрел в камин, потом вдруг обернулся к Христофорову.

— Вы о чем-то думаете, своем, — сказал он. — Ха! Я волнуюсь, а вы погружены в мысли, и как будто печальны.

— Нет, — ответил Христофоров. — Я ничего.

Ретизанов взял щипцы и помешал в камине.

— Печаль, во всяком случае, украшает мир. Он становится не так плосок. Быть может, душа стремится за пределы, одолеть которые дано лишь мудрым.

Он вдруг засмеялся.

— Слушайте, совсем про другое. Хотите идти со мной в маскарад... Такой художественно-поэтический маскарад на днях.

Христофоров вздохнул, и улыбнулся.

— Я получил приглашение. Но, во-первых, у меня нет костюма.

— Можно просто во фраке.

Христофоров встал, подошел к нему и, положив руку на плечо, сказал тихо, со смехом:

— Но у меня, дорогой мой хозяин, именно нет фрака.

Ретизанов удивился.

— Да... фрака! Так вы говорите, что у вас нет фрака?

Христофоров, все так же смеясь, уверил его, что не только фрака нет, но и никогда не было.

— Да, и не было... — проговорил Ретизанов с той же задумчивостью, и как бы серьезностью, с какой мог говорить о четырехмерном мире. — Ну, если и не было... — вдруг он хлопнул рукой по столу. — Если не было, так возьмите мой!

Христофоров, все улыбаясь, начал было его отговаривать. Но Ретизанов заявил, что если все дело во фраке, он обязательно дает свой, старый, но вполне приличный.

— Позвольте, — кричал он, уж у себя в спальне, снимая с вешалки фрак с муаровыми отворотами, на почтенной шелковой подкладке, — если вы не можете идти, потому что не во что одеться, а какой-нибудь Никодимов, игрок, дрянь, будет . . . Нет, это уж черт знает что!

Фрак оказался впору. Но Ретизанов так увлекся, что заставил мерить жилет и брюки.

— Послушайте, — сказал он горячо, — я очень вас прошу: наденьте все, здесь фрачная сорочка, галстук, бальные туфли.

Христофоров изумился.

— Зачем?! Для чего же . . .

— Я хочу поглядеть вас, в параде . . . Нет, пожалуйста . . . Вы, может быть, будете другой . . . Я выйду, вы оденьтесь, приходите в кабинет.

Как ни странно было, Христофоров исполнил просьбу. Когда он повязал белый галстук, оправился перед зеркалом, то и ему самому стало странно: правда, показался он как-то иным, тоньше, наряднее, будто свадебное нечто, торжественное появилось в нем.

«Вот и маскарад, — думал он, с горечью и странной нежностью, идя в кабинет. — Вот уж и я — не я!»

— Принц и нищий, — сказал он с улыбкой Ретизанову, войдя в кабинет.

Ретизанов одобрил.

Сговорились так, что в день маскарада, к одиннадцати, Христофоров зайдет к нему, и вместе они поедут.

Уже в передней, провожая его, Ретизанов впал в задумчивость.

— А скажите, пожалуйста, — вдруг спросил он, — что, по вашему, за человек Никодимов?

— Я не знаю, — ответил Христофоров.

Через минуту прибавил:

— По-моему — тяжелый.

— А по-вашему, он на многое способен?

Христофоров несколько удивился.

— Почему вы . . . так спрашиваете?

— Нет, ни почему. Я его нынче встретил. Вы знаете, что он мне сказал? Что непременно будет на этом маскараде, хотя его и не звали. Нет, невыносимый человек. Я его ощутил сегодня знаете как? Мертвенно. По-вашему, он зачем туда идет?

Христофоров ничего не мог сказать. Ему подали лифт, он поехал вниз плавно, и вдруг тоже вспомнил Никодимова, как спускались они утром, летом, в этом же лифте. «А действительно, тяжелый человек», подумал он. Вспомнил, как боялся Никодимов лифта. Ему стало даже жаль его.

XIV

Через несколько дней, в назначенное время, Христофоров вновь входил в знакомую квартиру. Ретизанов брился. Он был повязан салфеткой, одна щека гладкая, чуть синеватая, другая вся в мыле. Он оставил острую бородку — лицо его стало еще бледней и худей. Увидев Христофорова, кивнул, улыбнулся, с тем жалким видом, какой имеют бреющиеся люди.

— Как по-вашему, — спросил он, стараясь не порезаться, — ничего, что я бородку оставил? Или сбрить?

На него напала нервная нерешительность. Сбрить, или не сбрить? Он омыл лицо одеколоном, попудрил так, что большие синие глаза еще лучше оттенялись на белизне, и все колебался.

— Нет, не брить, — тихо сказал Христофоров.

— Так вы думаете — оставить . . . А знаете . . . — он вдруг захохотал, — я сегодня, по морозу, ходил мимо дома, где живет Лабунская, и выбирал момент, когда народу меньше. Осмотрюсь, и сниму шапку, иду непокрытый. Это было страшно радостно. Вы меня понимаете?

Он вынимал уже обмундировку Христофорова. Слегка стесняясь, тот стал переодеваться. Он был в несколько подавленном настроении — и безучастен. «Хорошо, — думал он, глядя на своего двойника в зеркале и застегивая запонку крахмальной рубашки, — пускай маскарад, или что угодно. Что угодно».

— А вдруг, — говорил в это время Ретизанов, повязывая галстук, — я приеду, и не узнаю там Лабунской? Черт . . . все в масках, и костюмах . . . Это может случиться?

— Вы почувствуете ее, — ответил Христофоров.

— Почувствую . . . я ее чувствую; когда она в Петербурге . . . Но вдруг нападет слепота . . . Понимаете, духовная слепота . . .

В двенадцать были они готовы. Ретизанов надел на гостя шубу, они вышли. Наняли на углу *резвого,* запахнулись полостью и покатили. Рысак, правда, шел резко, но сбивался; снег скрипел; Москва была уже пустынна; по небу, освещенные снизу, летели белые облака, и провалы между ними казались темны. Закутавшись, Христофоров глядел вверх, как в этих глубинах, темно-синих, являлись золотые звезды, вновь пропадали под облаками, вновь выныривали. Привычный взор тотчас заметил Вегу. Она восходила. Часто заслоняли ее дома, но всегда он ее чувствовал.

У большого особняка, на Садовой, сиял молочный электрический фонарь. Подкатывали извозчики. Вылезали закутанные дамы, мужчины, хлопала дверь. В

передней надевали маски. Тут висел голубой фонарь. Из-под шуб, ротонд, саков появлялись испанцы, турки, арлекины, бабы, фавны и менады. Два негра в цилиндрах, в красных фраках, отбирали билеты — у входа, декорированного под ущелье. За ущельем шел коридор, драпированный шалями. Здесь, проходя мимо зеркал, где оправляла прическу маленькая венецианка на деревянных башмачках, в черной шали, с розами в смоляных волосах, мельком увидел Христофоров две тени, во фраках, шелковых масочках и безукоризненных манишках. Снова не совсем он узнал себя. Снова подумал — может, так и нужно, если маскарад. И чем дальше шел, тем больше нравилось быть под маской. Точно лоскуток шелка, с бархатной оправой для глаз, становился для него приютом в долгом и пустынном пути; точно из-под его защиты виднее было происходящее, и отдаленней; и еще менее участвовал он сам в пестром гомоне карнавала.

Как всегда первое время был холодок: не все еще съехались, не все узнали друг друга, не разошлись. Маски бродили группами и поодиночке, рассматривали гостиные — увешанные коврами, расписанные удивительными зверями и фигурами, небесным сводом в звездах, магическими знаками. Была комната китайских драконов. Были, конечно, гроты любви. В большой зале началась музыка и танцы. В комнате через коридор, отделанной под нюрнбергский кабачок, за прилавком откупоривали бутылки; цедили пиво из бочки. На стенах кое-где надписи: «Все равны». «Все знакомы». «Прочь мораль».

К двум часам съезд определился. Больше толпились, хохотали, танцевали. Легкая маска, тоненькая, в восточных шальварах и фате, быстро подхватила Христофорова, склонила голову — серые, будто знакомые,

и незнакомые глаза взглянули на него, будто знакомый голос шепнул:

— Он ходит, он ждет. Но напрасно, напрасно . . .

И убежала на резвых ногах, замешалась в толпе менад, окружавших розового Вакха, с тирсом, в виноградных лозах.

— Это кто была, по-вашему? — беспокойно спросил Ретизанов. — Что она вам сказала? Нет, куда она делась?

И он бросился искать восточную девушку.

Христофоров же пошел дальше, все так же медленно. «Лабунская? — думал он. — Да, наверно» . . . Но его мысли были далеко. Он прошел мимо двери, пред которой на минуту остановился. Вся она закрывалась материями, лишь внизу оставлено отверстие, куда можно пролезть на четвереньках. Он заглянул. Дальше было опять препятствие, так что войти туда могли лишь очень решительные. Танцовщица в коротенькой юбочке, и астролог в колпаке со звездами проскользнули, все же, хохоча.

В следующей комнате было полутемно. На эстраду вышел худенький Пьеро, с набеленными щеками, и девушка Ночь, в черном газовом платье со звездами, в красной маске. На пианино заиграли танго. Пьеро подал руку Ночи — и они начали этот странный и щемящий, как бы прощальный танец.

Христофоров отошел к стене. Он глядел на эстраду, на толпу цветных масок, толпившихся вокруг, то приливавших, то, смеясь, выбегавших в другие залы. Кто так устал, так измучен, что создал это? Не жизнь ли, человечество остановилось на распутьи? Христофорову вдруг представилось, что сколь ни блестяща, и весела, распущенна эта толпа, довольно одного дыхания, чтобы как стая листьев разлетелось все во тьму. Может быть,

это все знают, но не говорят — стараются залить вином, танцами, музыкой. Может быть все сознают, что они — на краю вечности. И торопятся обольститься?

Венецианская куртизанка знакомой, мощной походкой подошла к нему, и слегка ударила его веером.

— И ты здесь, поэт?

— Здесь, прекрасная, — ответил он. — Смотрю.

Она засмеялась.

— И прославляешь бедность?

Он придвинулся, заглянул в темные глаза, окончательно узнал Анну Дмитриевну, сказал тихо:

— Ты веселишься? Это правда — он сжал ей руку. — Правда?

Она выдернула ее.

— Оставь. Не насмехайся.

Подбежал Ретизанов.

— Слушайте, — закричал он, — я в духовной слепоте. Я ничего не понимаю. Нет, черт, я не могу ее найти. По-вашему, она тут? Да нет, вообще, здесь все очень странно. Еще два часа, а уж есть пьяные, теснота. Не пускают Никодимова. Он скандалит. Вам нравится? — обратился он к Христофорову. — А главное, я не могу понять, что со мной сделалось. Я наверно знаю, что она приехала из Петербурга и должна здесь быть. Но где же?

— Ищите девушку в шальварах, — ответил Христофоров, — в низенькой шапочке и фате.

— Да вы почем знаете?! — закричал Ретизанов. — Ах, черт . . .

Глаза его блестели, он был уже без маски. Что-то нетрезвое, лихорадочное сквозило в нем.

— Мне кажется, — сказал он с отчаянием, — что, если сейчас ее не найду, это значит, я погиб.

Христофоров взял его под руку.

— Пойдемте, не волнуйтесь. Она здесь. Мы ее найдем.

Действительно, в третьей же комнате, окруженная толпой, Лабунская танцевала danse de l'ourse с индийской царевной. Христофоров постоял, посмотрел и двинулся дальше. Он не снимал маски.

Попрежнему странное и горькое удовольствие доставляло ему — смотреть, не будучи замеченным. От Лабунской, как и всегда, осталось у него легкое ощущение, будто гений света и воздуха одухотворял ее. Но иной образ стоял в его душе, бесконечно близкий и дорогой — бесконечно далекий. Было что-то родственное меж ними, какая-то нота очарования. Христофоров знал, что сюда Машура не приедет. Все же, бродя, в пестром мелькании масок, он искал ее. Это волновало и мучило. Иногда мерещилась она в быстром танце, в блеске глаз из-за кружев, в полуосвещенном углу. Но как мгновенно вспыхивала, так же мгновенно и уходила. Была минута, когда, став в тени портьер, закрыв глаза, усилием воображения он ее вызывал. Она была бледна, тонка, в длинных черных перчатках, с худенькими плечиками. Масочка скрывала среднюю часть лица. «Это ваш поэтический экстаз, — говорила она с улыбкой и слезами: — сон, но не то, что в жизни называется любовью».

Он открыл глаза и тронулся. Машинально пробрался он вперед, и хотя теперь ее не видел, странное ощущение, что она здесь, невидимо, не оставляло его. Свет, люди, шум, изменялись *Ее* присутствием. Хотелось плакать. Сердце ныло нежностью.

В нюрнбергском кабачке очень шумели. Все столики были заняты, скатерти залиты вином. На бочке танцевала маска. Кто-то пытался ораторствовать. Другого

собирались качать. У прилавка стоял, очень бледный, Никодимов, и допивал коньяк.

— Несмотря на все, — говорил он флорентийскому юноше, с ласковым и порочным лицом, — я здесь... Дмитрий Павлыч Никодимов пришел.

Юноша дернул его за рукав.

— Дима, — сказал он тенором, вытягивая звуки. — Не пей. Тебе вредно.

— Да снимите вы маску! — крикнул Христофорову знакомый, веселый голос.

Обернувшись, он увидел Фанни, за столом с несколькими евреями. Толстый человек во фраке, с ней рядом, куря сигару, говорил соседу:

— Здесь и совсем Парыж!

Христофоров снял маску. Фанни, в предельно-декольтированном платье, с чайной розой, хохотала и кричала:

— Садитесь! К нам! Это м-милейшая личность, — обратилась она к друзьям. — Проповедник бедности, или любви... чего еще там? Жизни, что ли? Забыла! Но милейшая личность. Давид Лазаревич, налейте ему шампанского!

Давид Лазаревич, с короткими и пухлыми пальцами в перстнях, из тех Давидов Лазаревичей, что посещают все модные театры, кабаре и увеселения, говоря про одни: «это Парыж», а про другие важно: «ну это вам не Парыж», — отложил сигару и налил *молодому человеку* вина.

Христофоров имел несколько ошеломленный вид. Но поблагодарил и чокнулся.

— Очар-ровательно, — сказала Фанни, щуря продолговатые, подкрашенные глаза. — А откуда такой фрак?

Христофоров нагнулся к самому ее уху, с бриллиантовой сережкой и шепнул:

— Чужой, Александра Сергеевна.

— Милый! — закричала она. — Аб-бажаю! Очар-ровательно, весь в меня. Я такая же. Мы все шахер-махеры.

От вина голова Христофорова затуманилась — приятным опьянением. Он теперь рад был, что встретил Фанни, сытых израилей, и не отказывался, когда Давид Лазаревич налил ему еще бокал.

— Хорошо, что ушел этот Никодимов, — заболтала Фанни. — Фу! Не люблю таких. Что он из себя изображает? Загадочную натуру? А по-моему — просто темная личность с претензиями. Хоть и дворянин, и барин... И потом, он на меня тоску нагоняет. Что это такое? Нет, я люблю, чтобы весело было, и жизненно, без всяких вывертов. Не понимаю тоже и Анну — что она в нем нашла? Ах, бедная женщина. Слоняется тут. Выпьем за нее!

На этот раз она не спрашивала Давида Лазаревича, налила сама. За вином разболтала она многое о своей приятельнице, чего не сказала бы в обычном виде.

Скоро ее позвали — как распорядительница, должна она была устраивать новый номер. Христофоров посидел немного, и тоже поднялся.

В сущности, пора уж было уходить, вновь возвращаться, в полупустую свою комнату. Для чего был он здесь? Сердце его опять сжалось. Он вспомнил Ретизанова. Все-таки, тот встретил свою девушку в шальварах, — которую носят по залам гении ветров. Машуры же вновь не было с ним. В сердце пустота и одиночество. Значит, права была Лабунская, шепнувшая свои легкие слова. Значит, надо уезжать.

Он потолкался еще среди масок, по залам, и машинально забрел в темный закоулок у передней, откуда лесенка шла наверх. Он почему-то поднялся, — и попал в две полутемные антресоли. В первой шептался в кресле Пьеро с черненькой венецианкой. Христофоров прошел мимо. В дальней сел он на ситцевый диванчик, вздохнул и закурил. Эту комнату не готовили. Не было декорации, мебель обычная. В углу, у иконы, лампадка. Окна выходили в сад. Смутная, синеватая мгла.

Снизу слышался шум, танцы, доносилась музыка. Отсюда видны были деревья в саду, полосы света из нижних окон, да кусок неба. Христофоров сидел, курил, смотрел на это небо, на котором увидел голубую звезду Вегу. Она мерцала нежно и танственно. Среди веток можно было заметить, как по вековому пути движется она, ведя за собой, как странница, светло-золотую Лиру. Голубоватый свет ее успокаивал. Чем дольше смотрел Христофоров, тем более ему казалось, что ее таинственное сияние глубже разливается по окружающему, внося гармонию. Тот же голубоватый отблеск есть и в глазах Машуры, в милой Лабунской. Оцепенение, вроде сна, овладело им. Призрачней, нежней и туманнее летела музыка. Легче и нечеловечней казались маски. Очаровательней, ближе и дальше, возможней и невозможнее невозможная любовь.

XV

В это время внизу, в небольшой гостиной, уже пустой, стоял у окна Никодимов, тупо смотрел на улицу. Подошла венецианская куртизанка. Он обернулся.

— Дмитрий, — сказала она. — Почему ты здесь?

Он пожал плечами.

— Где же мне быть?

— Для чего ты приехал на этот маскарад?

— Меня об этом спрашивали нынче, — ответил он глухо. — В передней...

Куртизанка сжала пальцы.

— Для чего ты себя унижаешь?

— Этого я не умею тебе сказать.

Она вдруг быстро взяла его под руку и поцеловала.

— Иногда мне кажется, что все твое... всю тоску, скверное, я могла бы взять на себя.

Никодимов перевел на нее темные и мутные глаза. Слабая улыбка появилась на его лице.

— Женщина, — сказал он и вздохнул. — Особенный ваш род.

— И не стыжусь, что женщина. Я, милый мой, тоже много видела стыда на своем веку. Меня не удивишь.

— Ничего, — пробормотал Никодимов. — Ничего. Живу, как живу. Ничего не надо. Никаких сентиментальностей.

— Уедем отсюда, — вдруг сказала она. — Я тебя увезу на край света, будем жить у моря, солнца, путешествовать... Ты будешь свободен, но... уедем!

— Фантасмагория!

— Поселимся в Венеции...

Никодимов слегка вздрогнул.

— В Вене я был очень близко к смерти, — сказал он. — Никогда тебе не рассказывал. Во всяком случае, это сильное ощущение.

Он вынул часы.

— Пять.

Глаза его несколько прояснились, он подобрался и оглянулся.

— Поезжай домой. Пора. Видишь, все разъезжаются. А у меня есть еще дело. Я поссорился с одним человеком.

Никодимов поцеловал ей руку, с внезапной, но холодной вежливостью, и вышел. Куртизанка постояла, села на диван и уткнулась лицом в его спинку.

Никодимов же встретил в зале флорентийского юношу и подошел к нему.

— У меня сегодня дуэль, — сказал он. — Мы заедем домой, ты переоденешься, выпьем кофе, и в половине восьмого должны быть в Петровском парке.

Юноша попятился. Его бархатные, беспокойно распутные глаза взглянули испуганно.

— Дуэль? — произнес он слабым голосом. — Но тебя могут убить.

— Безразлично, — тихо и слегка задыхаясь ответил Никодимов. — А пока ты — мой . . . едем.

Юноша пытался возражать. Никодимов властно и нежно взял его под руку, повел к выходу.

Маскарад, действительно, кончался. В нюрнбергском кабачке орали еще пьяницы. Фанни в передней, накидывала свой палантин. Давид Лазаревич подавал ей ботики. По углам гнездились еще пары, не желавшие расстаться. Варили последний кофе — для пьяниц и для неврастеников, которые не могут вернуться домой раньше дня. Последними досиживают они, небольшими компаниями, среди синего утра, разбросанных окурков, облитых вином скатертей, зашарканных паркетов — всегдашней мишуры и убожества финальных часов.

— Где вы? Куда вы пропали? — кричал Ретизанов, поймав, наконец, Христофорова. — Черт знает, вы сидите здесь . . . понятия не имеете . . . А это ужас . . . Нет, это черт знает что! Такой негодяй . . .

Путаясь, волнуясь и крича, он объяснил, что полчаса назад Никодимов, ни с того ни с сего, грубо оскорбил Лабунскую.

— Нет, вы понимаете, это хам, которого раз навсегда надо проучить. Я ему это и сказал. И ударил бы, если бы не помешали. Но теперь — дуэль. Дело решенное. Нет, это давно надо было сделать.

Христофоров был поражен.

— Как . . . дуэль!? — спросил он.

— Сегодня же, утром, в Петровском парке. Он привезет оружие . . . Да что вы так удивились? Это давно надо было сделать, я давно собирался от него избавиться. Ничего не значит, что вызов без секундантов . . . Все-равно, вы должны присутствовать.

— Я, секундантом?

— Что? Вы не хотите? Нет, это уж дудки-с!

Христофоров совсем потерялся. — Что угодно мог он предположить, только не это. Участвовать в дуэли! Но ведь это бесконечно дико. Запинаясь, он старался объяснить, что никакой дуэли быть не должно, что это нелепая ссора, и, быть может, Никодимов просто нетрезв . . .

— Как?! — закричал Ретизанов. — Оскорбить Елизавету Андреевну — нелепая ссора? Вы не понимаете, что уж давно он к этому подъезжает, потому что он темный человек, и его бесит любовь, подобная моей. Нелепая ссора! Это должно было произойти, не сегодня, так завтра. Нет, уступить ему . . . дудки!

Христофоров понял, что теперь остановить его уже нельзя. Они сошли снова вниз, в нюрнбергский кабачок. Неврастеники дохлестывали вино. Трое пьяных в углу громко рассуждали, что хорошо бы предпринять кругосветное путешествие.

Ретизанов занял столик, заказал кофе и коньяку. Христофоров молчал. Он чувствовал себя странно. Ему казалось — то необычайное, что вторглось в его жизнь этой зимой и привело, во фраке и маске, в этот кабачок — владеет им и мчит дальше, по неизвестной ему дороге, навстречу необычным чувствам. Опять ему вспомнилось, как стоял он летом, на утренней заре, на балконе квартиры Ретизанова, над спящей Москвой, и ощущал великий жизненный поток, несущий его. «Да, может быть, и прав Ретизанов, — думал он. — Может быть, и правда, еще тогда, в ту шумную ночь зарождались события, которым лишь теперь надлежит вскрыться».

Ретизанов, между тем, пил кофе, вливая в него коньяк. Он молчал, потом стал улыбаться, и полузакрыл глаза рукой. Походило на то, будто он погружается в транс.

— Куба, Ямайка, Гаити и Порторико! — кричал пьяный путешественник. — Иначе не могу, поймите меня, я же не могу . . . Милые мои, хорошие мои, ну куда же я поеду? — он хлопнул кулаком по столу, вновь заорал: — Куба, Ямайка, Гаити, Порторико! И никаких шариков.

Ретизанов отнял от лица руки. На глазах его были слезы.

— Гении ответили, — тихо сказал он, — что я не должен никому позволять . . . даже если бы пришлось умереть. Я должен отразить натиск темных сил. А если Никодимов этот — вовсе не Никодимов, а кто-то другой, более страшный, в его обличье . . .

Ретизанов говорил все медленнее и тише. Глаза его горели. Сухая нервность была в руках. Христофорову ясно стало казаться, что он не в себе. На мгновение остро его кольнуло — ведь это полубезумный, его надо бы

везти домой, и в санаторий. Но тотчас же он понял, что сделать этого нельзя. Значит, надо повиноваться.

В начале восьмого они оделись и вышли. Начинало светать — хмурым, неясно-свинцовым рассветом. На бульваре, в деревьях шумел ветер. Фонари гасли. Побежали трамваи, над ними вспыхивала зеленая искра. На Страстной площади было пустынно. Дремал лихач на паре голубков. Лампадка краснела у входа в монастырь, открылась свечная лавочка. На колокольне медленно звонили.

Ретизанов подошел к лихачу и негромко сказал:

— В Петровский парк.

— Пожа-пожалуйте!

Лихач вскочил и бросился снимать с озябших лошадей попоны.

Через минуту они катили по Тверской, по прямой, классической улице кутежей, загородных ресторанов. Иногда навстречу попадались тройки — кутилы шумели, хохотали, и в облаке снега уносились. Проревел автомобиль. Лежавший на дне веселый человек, приветствовал встречных, выкидывая ноги кверху. Прокатили под Триумфальной аркой, где тяжело летели бронзовые кони побед. Светящиеся часы на вокзале показывали без двадцати восемь.

Христофоров находился в странном, полуотсутствующем состоянии. Он не особенно хорошо понимал, куда и зачем едут. Как будто изменились декорации, но все продолжается его мечтательное созерцание в мансарде — теперь летят навстречу арки, дома, сады — с тоже фантастической бесцельностью. И лишь подо всем, глубоко и жалобно, стонет что-то в сердце. Ретизанов молчал. Он был задумчив и сдержан, как человек, делающий важное, очень серьезное дело. Он указал кучеру, где надо свернуть, за Яром, по какой ал-

лее проехать. Потом остановил его. Они вылезли. Лихач шагом должен был возвращаться в указанное место.

— Вот сюда, — спокойно сказал Христофорову Ретизанов, и повел узкой, слегка протоптанной тропинкой на средину поляны. Там росли три огромных пихты; под ними — скамейка. Место было пустынное. Налетал ветер, курил снежком. Тяжело пронеслась, ныряя, ворона. Виднелись забитые и занесенные снегом дачи. Что-то очень суровое и скорбное было в этом утре, сияющем снеге, мертвых дачах.

Ждать пришлось недолго. С противоположной стороны поляны, шагая по цельному снегу, приближалась высокая фигура Никодимова, в николаевской шинели, которую приходилось подбирать. За ним шел военный врач и юноша в пальто со скунсовым воротником, торчавшим веером.

— Вот они где, — сказал круглолицый доктор, настоящий москвич, — будто отлично был знаком с сидевшими. — Привет на сто лет! Ну, и пустяковое же дело затеяли, господа!

Христофорову стало очень холодно. Никодимов положил на скамейку два браунинга и обоймы.

— Право, — сказал врач, потирая руки, улыбаясь и слегка пристукивая озябшими ногами. — Бросьте вы эти, простите меня, глупости. Что такое порядочные люди будут друг в друга из револьверов шпарить!

Ретизанов вдруг взволновался.

— Нет, нет! — закричал он. — Пожалуйста, доктор. Это не шутки.

Христофоров тоже попытался вмешаться. Но ничего не вышло. Никодимов только покачал головой. Пришлось отмеривать дистанцию. Ни Христофоров, ни юноша не умели заряжать.

— Эх, светики, ясные соколы, — сказал доктор и взял обоймы. — Еще называетесь секундантами!

Когда противники взяли оружие, Никодимов вдруг сказал:

— Впрочем, если господин Ретизанов извинится, я готов прекратить.

Ретизанов вспыхнул:

— Извиниться! Нет, это уж черт знает что!

И пошел на свое место. Христофорову ясно представилось, что действительно это маньяк, и если гении сказали ему, что нужно драться, он драться будет. Никодимов снял шинель, стоял высокий, худой, очень бледный, в лакированных сапогах и белых погонах. Он повернулся боком, чтобы меньше была цель. Ретизанов поднял браунинг весьма неуверенно, как вещь, совсем незнакомую. Долго водил дулом. Наконец, выстрелил.

Христофоров стоял, прислонившись к пихте. Он видел, как вдали, по замерзшему пруду шел мальчик, видимо ученик, с ранцем за плечами. Заметал по поляне снежок. Щипало уши. И казалось, так все необыкновенно тихо, будто нет ни жизни, ни Москвы, а только этот кусок снега с деревьями, идущий мальчик, серый день.

Раздался второй выстрел. Христофоров, не видя и ничего не понимая, пошел вперед. Он заметил, что Ретизанов качнулся, что веселый доктор побежал к нему, схватил под мышки.

— Вот . . . здесь, — говорил Ретизанов, держа рукой около ключицы. Он был очень бледен.

— Эх, батенька. — сказал доктор подошедшему Никодимову.

— Я предлагал бросить, — сухим, срывающимся голосом, ответил он. Фуражка его слетела. Ветер трепал

завитки прямого пробора. На темных волосах белело несколько снежинок.

Ретизанов очень ослаб. На скамейке, под пихтой, ему сделали первую перевязку. Юноша побежал за лошадьми.

Через четверть часа, на тех же самых голубках, что везли их сюда, Христофоров с доктором мчались к Триумфальным воротам, поддерживая Ретизанова. Было совсем светло. Артиллерийские офицеры ехали в бригаду. Пришел поезд — с вокзала тянулись извозчики, с седоками и кладью. Тверская и Москва имели будничный, обычный вид. И Христофорову казалось, что лишь они, скакавшие к Страстной площади, везя подстреленного человека, представляют обрывок этой печальной, шумной и сумбурной ночи.

Проезжая мимо Страстного, он снял шапку и перекрестился.

XVI

Дни, что следовали за дуэлью, были тяжелы для Христофорова. Ретизанов, с простреленной ключицей, лежал у себя на квартире. Ему взяли сестру милосердия, но Христофоров бывал у него постоянно, и его угнетало, что в этой бессмыслице, так дорого обошедшейся Ретизанову, принимал участие и он, христианин и враг всякого убийства. «Это, должно быть, все-таки было наваждение», думал он с тоскою. Только туманом и мог он объяснить, как не вмешался, как не уклонился, наконец, если не мог помешать.

Ретизанова многие навещали, и жалели — в том числе Анна Дмитриевна. Чаще других заезжала Лабунская. Она была мила, внимательна, завезла даже раз

цветы. Но Христофорову, глядя на нее, все больше казалось, что взволноваться до конца, страдать, терзаться — не ее область. Чистая, легкая и изящная, проходила она в жизни облаком, созданным для весны, для неба.

— Недавно, — сказала она раз Христофорову, уходя, — я познакомилась с одним англичанином. Ужасно трудно понимать по-английски! С одной стороны — он страшно великолепен — автомобили, шикарные апартаменты . . . С другой — очень прост и скромен. Вот он и предлагает мне на весну ехать в Париж, а в июне, чтобы я в Лондоне выступала. А потом, говорит, будем по Европе кочевать . . . ну, с танцами, с выступлениями. Мне и Москву жаль бросать, я московская, тут родилась, у меня здесь приятели — и заманчиво. Все-таки, пожалуй, потанцевать в Европе? А? Как по-вашему?

Христофоров улыбнулся.

— Потанцевать, — ответил он тихо. — Потанцевать, людей посмотреть, себя показать.

Она засмеялась, и пошла к двери.

— Вот вы какой, как будто бы и этакий . . . а одобряете легкомысленные штуки.

— Но не говорите пока об этом Александру Сергеевичу, — сказал Христофоров.

Она взглянула на его лицо, на глаза, ставшие серьезными, вздохнула, махнула муфтой.

— Не скажу.

Ее посещения вообще волновали Ретизанова. Он принимался говорить, спорить, доказывать. Поднималась температура. А это было для него очень многое.

Раз Христофоров, подойдя на звонок к телефону, услышал голос Никодимова. Тот спрашивал о здоровье раненого. Христофоров ответил.

Узнав, кто с ним говорит, Никодимов несколько оживился.

— Если вы свободны, — сказал он, — то зайдите как-нибудь ко мне днем. Если, конечно, — прибавил он холодней, — к тому нет особых препятствий. Я хочу вас видеть.

Христофорову показалось это несколько странным. Но он ответил, что зайдет. Ретизанову он сказал лишь, что противник осведомился о здоровье.

— Ха! — засмеялся Ретизанов. — Сначала убьют, а потом справляются, хорошо ли убили.

Помолчав, он прибавил:

— Но Никодимов меня ранил, это естественно. А насчет Елизаветы Андреевны, — он опять раздражился, — это гадость, гадость!

Дня через два, в пятом часу, Христофоров спускался по лестнице, чтобы идти к Никодимову. Был конец февраля. Светило солнце, с крыш капало. В окне синел кусок неба. Бледное облачко пролетало в нем.

На одном марше лестницы, быстро сходя вниз, он чуть не столкнулся с Машурой. Она шла вверх, медленно, опустив голову. Увидев его, остановилась. Они поздоровались.

— Вы к Александру Сергеевичу? — спросил Христофоров.

— Да.

Машура слегка побледнела, но лицо ее, обычно худенькое, остроугольное, имело печать спокойствия. Лишь в огромных глазах трепетало что-то.

— Это хорошо, — сказал Христофоров сдавленным голосом, — что вы идете к нему. Он будет очень рад.

Машура поклонилась, и тронулась дальше.

— Скажите, — спросила она, сделав несколько шагов, — правда, что он стрелялся из-за Лабунской?

Она слегка сдвинула брови. Что-то сдержанно-горькое показалось ему в этом лице.

— Правда . . .

Христофоров замялся и вдруг сказал:

— Вы не были ведь . . . там? На маскараде?

Машура несколько удивилась.

— Почему вы думаете? Нет, не была.

Христофоров хотел еще что-то сказать. Но промолчал. Машура вздохнула, медленно стала подыматься. Он так же медленно спускался, всем существом ощущая, как растет между ними высота. Сойдя в вестибюль, почувствовал усталость. Швейцара не было. Он сел на его стул, у стены, и закрыл глаза. В голове шумело. Куда-то выше, все выше всходила сейчас Машура, как кульминирующая звезда, удаляясь в неведомые и холодные пространства. Хлопнула наверху дверь, — замолкли ее шаги. Вошел кто-то снизу, с парадного. Христофоров встал, вышел, и двинулся к Пречистенскому бульвару.

Там шагал он по правому, высокому проезду, где важны тихие дома, греет солнце, золотеет купол маленькой церкви Ржевской Б. Матери.

Над Гагаринскими, Сивцевыми, Арбатами дымно сияло золотистое, уже весеннее небо Москвы, с розоватыми тучками. Начинался один из романтических закатов Арбата. Христофоров вспомнил — еще гимназистом ходил он тут, и такие же были эти закаты, так же томилось его сердце; как и теперь был он полон призраков, обольстительных и кочующих, владевших им всю жизнь, лаская, мучая. Голубые глаза его раскрылись шире, с тем несколько безумным выражением, какое принимали иногда.. И он шел, мало замечая прохожих, сам — призрак собственных же, далеких дней, о которых нельзя было сказать, куда развеялись они,

как и нельзя было удержать фантасмагорию его любвей, рассеявшихся в мире.

Так прошел он по Никитскому бульвару, по Тверскому, где Пушкин стоял, спокойный и задумчивый, глядя на мелькающую толпу. На колокольне Страстного, сиявшей розовым в закате, перезванивали. На площади торговали водами, папиросами. Мальчишки с цветами бежали за экипажами. Звенели трамы. Шли, ехали, сновали. На бульваре белел еще снег.

Машинально вошел Христофоров в ворота монастыря, под башней, пересек небольшой дворик со старыми деревьями, и поднялся в церковь. Она была обширна и светла. Служба только что началась. Хор монахинь выходил с клиросов, они расположились на амвоне, развернули ноты. Одна, довольно полная, немолодая, была за регента. Очень высокий, нежный, но однообразный хор вторил возгласам ектинии. Затем бледная монашка, в черном клобуке, читала у аналоя, при восковой свече. Весенний свет наполнял церковь. Свечи золотились. Женский голос, без конца и начала, читал святую книгу. Христофоров стоял рядом со старухой и двумя солдатами. Вечность и тишина были тут. Вечность и тишина.

Часы на колокольне указывали половину шестого, когда он вышел. Никодимов жил недалеко. Пройдя несколько переулков, Христофоров оказался перед гигантским домом. В вестибюле с колоннами, как в дорогом отеле, бродило несколько швейцаров. Джентльмен в широком пальто сидел на диване и нетерпеливо постукивал ногами. Зеленовато-розовый рефлекс весны ложился чрез зеркальные двери.

Христофоров бессмысленно, отсутствуя, сидел в лифте, напоминавшем каюту. С ним подымались ино-

странного вида обитатели и разбредались по бесчисленным коридорам дома — океанского корабля.

Никодимов, в расстегнутой тужурке, отворил сам.

— А, — сказал он, — очень рад.

Христофоров разделся в передней, и вошел в большую комнату, полную розового света.

— Значит, все-таки собрались, — сказал Никодимов, усмехаясь. — Сюда пожалуйте, к столу. Хотите вина?

Христофоров отказался. Хозяин налил себе стакан рейнвейна, и выпил.

— В этом доме, — сказал он, — живут иностранные комми, клубные игроки, актрисы, художники и такие личности, как я. Я занимаю студию. Здесь раньше жил художник.

Христофоров смотрел на него очень пристально, разглядывая белую рубашку под тужуркой и ворот видневшейся тоненькой фуфайки.

— Чего вы на меня так смотрите? — вдруг спросил Никодимов, и опять засмеялся. — Изучаете?

Христофоров смутился:

— Нет, ничего.

— Меня изучать, может быть, и интересно, — сказал он, — может быть — нет. Зависит от точки зрения. Я сегодня пью с утра, что, впрочем, делаю нередко. Да, я вас звал... — он вдруг впал в задумчивость. — Я ведь вас звал для чего-то... Может быть, вы обидитесь. Но знаете — ни для чего. У меня нет к вам никакого дела.

Теперь улыбнулся Христофоров.

— Значит, почему-то все-таки вам хотелось меня видеть?

— Да, хотелось, хотелось.

Он говорил рассеянно, будто это совсем не нужно было.

— Какой вы... странный человек, — сказал Христофоров.

— А что, — спросил Никодимов, довольно безразлично, — выживет Ретизанов?

Христофоров ответил, что опасности нет.

— Все это необыкновенно глупо, — задумчиво произнес Никодимов, — как и очень многое в моей жизни. Я бы не весьма пожалел, если бы убил его, но и то, и другое было бы совершенно ни к чему. Бес-смы-сли-ца! — раздельно выговорил он.

Дверь из соседней комнаты отворилась; оттуда вышел, в шелковом халатике, завитой, со слегка подкрашенными глазами юноша, бывший на дуэли.

— Дима, — сказал он, — затопи ванну. — А то я до театра не успею одеться.

Никодимов заторопился и побежал в маленькую комнатку, рядом с прихожей.

— Постоянной прислуги здесь нет, — зевая, сказал юноша. — Приходится самим возиться. Ах, да, — вдруг оживился он, — как страшно было тогда! Я думал, что Диму убьют. Но этот господин совершенно не умел стрелять.

Потом он заговорил о балете, осуждал Веру Сергеевну, о Ненароковой отозвался кисло. Вспомнил, как занятно было в Париже, два года тому назад, на русском сезоне.

— Мы и теперь собираемся в Париж, но Дима должен выиграть и взять отпуск. Или там без отпуска, мне все равно. Дима ленив. Все обещает выиграть... и вечно мы без денег. Впрочем, вот взгляните, он мне подарил.

Юноша показал на пальце перстень, с тонкой и прозрачной камеей.

— Это голова Антиноя, — сказал он. — Император Адриан любил одного юношу, Антиноя. Во время прогулки по Нилу тот утонул. А-а... Император был страшно огорчен, и велел обожествить Антиноя. На его вилле... знаменитой, под Римом, было найдено множество статуй и бюстов ... а-а ... юного бога. Вам нравится?

Он снял перстень и поцеловал камею.

— Очень мило.

И с тем же ленивым и несколько покровительственным видом, с сознанием изящества, превосходства, поплелся брать ванну.

Христофоров встал и подошел к окну. Еще более, чем от Ретизанова, была видна отсюда Москва, облекавшаяся, в глубине улиц, в синеватый сумрак и красневшая в закате верхушками домов. Купола золотели. Та же пестрота красного кирпича, зеленых садов, острых башен и колоколен Кремля, дальних труб на заводах. Темнели Сокольники. За Кремлем виднелась равнина, уводящая на юг, уже туманившаяся, с далекой, освещенной церковью села Коломенского. Внизу, у памятника Пушкину, казавшегося крошечным, зажглись белые фонари.

— Все деньги, деньги, — бормотал сзади Никодимов. — Париж. Вот, если банк хороший сорву...

Христофоров обернулся. Лицо Никодимова, в сумерках, приняло фиолетовый оттенок.

— Что, — спросил Христофоров, — играть очень интересно?

— Да-а... — протянул Никодимов. — Играть... Игра, кроме волнений, хороша еще тем, что необыкновенно отрывает от обычной жизни. Я играю всегда в

полусне... особенно, когда уж поздно. Только карты, они сменяются, так, этак, вами овладевает оцепенение...

— Я это понимаю, — тихо ответил Христофоров.

— Понимаете! Вот бы уж не поверил. Ваша жизнь мало похожа на мою.

Христофоров согласился.

— Я, — сказал вдруг Никодимов, — то, что называется темная личность.

Он налил себе вина и выпил.

— Мне это нередко говорят. Например, тогда, на маскараде. И — правы. Я не отрекаюсь. Хоть иногда это утомляет. Меня в корпусе еще мальчишки не любили. Звали: «Орлик доносчик, собачий извозчик». Я иногда плакал, иногда их бил. Но кончил хорошо, чуть не первым. Был честолюбив. Мечтал о славе, читал о Наполеоне, итальянские походы знал наизусть. Поступил в Николаевскую Академию. Там мне тоже устраивали бойкот. Так, особняком и держался. Но опять кончил, тоже недурно. Служил по генеральному штабу. Знаете мою специальность? Вместо полководца — военный шпион. Сначала в Австрию командировки. Я ходил в штатском, зарисовывал местности, около крепости. Потом получил назначение в Вену, в нашу военную миссию. Там жилось весело. Я знал Ягича, знаменитого предателя. Он нам продал мобилизационные планы. Дороговато обошлось. Но на случай войны — небесполезно. Это дело, частью, через меня делалось. Ягича я обхаживал... Да, но не совсем удалось, не совсем удалось!

Пока он рассказывал о Ягиче, юноша плескался в ванне. Он вызвал к себе Никодимова; долетали какие-то разговоры, опять слово *деньги,* затем, снова в халатике, он проследовал в свою комнату, одеваться.

Христофоров сидел в кресле, спиной к окну, в смутных, весенних сумерках, и думал о том, каких только людей и дел нет на свете. Его не возмущал и не раздражал Никодимов. Он замечал даже в себе странное любопытство. Хотелось дальше слышать о его жизни.

Никодимов извинился, что задерживается. И действительно, вернулся лишь проводив друга.

— Что же дальше было с Ягичем? — спросил Христофоров.

Никодимов сел, и помолчал.

— Ягича открыли, свои же, австрийские офицеры. Однажды, поздно ночью, они нас арестовали в одном . . . теплом месте. И привезли в отель. Ему дали револьвер, отвели в соседнюю комнату, и предложили застрелиться. Был момент, когда они собирались разделаться и со мной — я был в штатском, как настоящая темная личность. Я тогда чудом уцелел. Но вообще мне не повезло. Наши тоже косо на меня взглянули.

Он хрустнул пальцами.

— Стали подозревать, что я же и выдал Ягича. Знаете, эта игра всегда двусмысленна . . . Одним словом, карьера моя прогорела. Я все-таки служу, но это безнадежно. Вы понимаете, на имени моем — пятно . . . вот что. Нет, вы не из нашей компании, вы из так называемых проповедников, — прибавил он вдруг живо и резко. — Не поймете.

— Я не знаю, — тихо ответил Христофоров, — из каких именно я. Но то, что вы мне рассказали, все понятно. Можно ведь все это понять и . . . ведя другую жизнь.

— Хотели сказать: и не будучи прохвостом! — Никодимов захохотал.

— Вы принимаете все очень болезненно, — с грустью ответил Христофоров.

Никодимов налил себе вина и выпил.

— Болезненно! Вздор! — бормотал он. — Ничего нет хорошего. Разве Юлий... Этого мальчика, — сказал он, указывая на комнату юноши, — зовут Юлием. Я подарил ему перстень с головой Антиноя.

Через час он провожал гостя. Довел его до лифта и простился. Уже входя в каюту, Христофоров заметил, как содрогнулся Никодимов при виде этой машины.

В десять Никодимов поехал в клуб. Там он играл с ушастыми игроками, с седыми дамами в наколках, с содержанками; еще пил, погружаясь в карточный туман. Так было в этот вечер, и в следующий, и еще в следующий. Выигрыш не приходил. Антиной кис. Он развлекал, все же, Никодимова. Но тоска не унималась. Проходя ночью по пустынным переулкам, Никодимов думал, что его жизнь, с самой ранней юности, была чем-то непоправимо испорчена, и теперь, чем дальше, тем труднее ее влачить. Пустые дни, пустые действия, мелкие выигрыши, мелкие проигрыши чередовались утомительно. «Все это вздор, все гадость, — думал он. — Как скучно!»

Приступы беспредметной, леденящей тоски бывали столь остры, что опять вспоминал он о Вене, туманном утре, когда в закрытом автомобиле везли их австрийские офицеры, о комнате отеля, где он ждал судьбы, о глухом выстреле за стеной. Может, было бы лучше...

В одну из таких ночей, подойдя к подъезду своего дома, он думал об Анне Дмитриевне, и усмехался. «Добрые души, добрые души, спасительницы, женщины». Он машинально вошел, машинально побрел к лифту. Зеленоватый сумрак был в вестибюле. Уже подойдя к самой двери, он на мгновение остановился, охнул. Рядом, улыбаясь, сняв кэпи, стоял знакомый швейцар из Вены, и приглашал войти. Никодимов бросился вперед.

С порога, сразу он упал в яму, глубиною в полроста. Дверца лифта не была заперта. Он очень ушиб ногу, вскрикнул, попытался встать, но было темно и тесно. Сзади в ужасе закричал кто-то. Сверху, плавно, слегка погромыхивая, спускался лифт. Никодимов собрал все силы, вскочил, до груди высунулся из люка.

Его отчаянный вопль не был уже криком человека.

XVII

Несколько времени после того, как навестила Христофорова, Машура провела очень замкнуто. Видеть никого не хотелось. Она сидела у себя наверху, и разыгрывала Баха, Генделя. На дворе шел снег, бродили куры, кучер запрягал санки, а Машуре казалось, что со своей сонатой ut.—min. она отделена от всего мира тонкой, но надежной стенкой.

Перед маскарадом заезжала Анна Дмитриевна и звала ее. Машура отказалась. Наталья Григорьевна это одобрила. Машуру считала она безупречной, и потому именно не сочувствовала выезду на фривольный бал художников. Она советовала ей лучше — читать Стендаля. Сама же, среди многих своих домашних дел, заканчивала реферат для Литературного Общества.

Общество собиралось на Спиридоновке, в доме графини Д. Оно было старинно и знаменито. Некогда читались там стихи юноши Пушкина; выступал Лев Толстой, и Тургенев. В новое же время — обязательный этап жизни литератора — в некоторый вечер, в низкой, темноватой зале, среди белых стариков и важных дам, приват-доцентов, скромных барышень, студентов — прочесть новейшее свое творение.

Для Натальи Григорьевны этот экзамен прошел давно. Но к выступлению отнеслась она серьезно, много обдумывала и обрабатывала, не желая ударить лицом в грязь пред почтенными слушателями.

Туда Машура не могла не поехать. Мать несколько волновалась. Даже румянец показался на старческих щеках; в черном шелковом платье, с чудесной камеей-брошью, в очках и седоватых локонах, Наталья Григорьевна была внушительна. Как только кучер подвез их и они вышли, сразу почувствовалось, что все прочно, по-настоящему, что для дел Общества именно нужна Наталья Григорьевна своей солидностью, образованностью и умеренными взглядами. Это не выскочка. Она читала ровным, несколько монотонным голосом, но культурно, то есть так, что в зале веяло серьезностью, едва ли переходящей в скуку, и если переходящей, то лишь для очень молодых. Люди же зрелые — их было большинство — сидели в сознании, что об истинно-литературных вещах с ними беседует истинно-литературный человек.

Машура тоже покорно слушала. Вернее, мамины слова входили в ее душу, и выходили так же легко, как выдыхается воздух. Глядя на свои тонкие, очень выхоленные руки, сложенные на коленях, Машура почему-то подумала, что мама хорошо, все-таки, ее воспитала. В сущности, что дурного в том, что она была у Христофорова, а вот теперь она считает уж себя виновной, выдерживает некоторую епитемию. Мать говорила о поэме «Цыгане», а Машуре стало вдруг так грустно, и жаль себя, что на глазах выступили слезы.

Когда Наталья Григорьевна кончила, ей аплодировали не больше и не меньше, чем следовало. Седой профессор, которого Ретизанов называл дубом, подошел и поцеловал ручку. Наталья Григорьевна пригласила его

в среду на блины. Покончив с текущими делами, члены Общества стали разъезжаться так же чинно, как и съезжались. Машура с матерью села в санки с высокой спинкой и покатила по Поварской.

Дома она обняла мать и сказала:

— Милая мама, ты очень хорошо читала.

Наталья Григорьевна была смущенно-довольна.

— Там у меня, — сказала она, сняв очки и протирая их, — было одно место недостаточно отделанное.

Машура засмеялась.

— Ах ты мой Анатоль Франс!

Она обняла ее и засмеялась. Опять на глазах у нее блеснули слезы.

— Антон у нас очень долго не был, — сказала Наталья Григорьевна. — Что такое? Эти вечные qui pro quo между вами! Вы, как культурные люди, должны бы уже это кончить.

— Мамочка, не говори! — сказала Машура, всхлипнув, обняла ее и положила голову на плечо. — Я ничего сама не знаю, может быть, правда, я во всем виновата.

Но тут Наталья Григорьевна совсем не согласилась. В чем это Машура может быть виновата? Нет, так нельзя. Если уж кто виноват, то — Антон. Нельзя быть таким самолюбивым и бешено-ревнивым. Человек культурный должен верить близкому существу, давать известный простор. У нас не восток, чтобы запирать женщин.

И она решила, что завтра же позовет Антона, *обязательно*, на эти блины.

— Если он хочет, — сказала Машура, — может сам прийти.

— Оставь, пожалуйста. Это все — нервы.

И на другой день, как предполагала, Наталья Григорьевна отправила к нему девушку Полю с запиской.

Кроме истории, социологии, профессор любил и блины. Наталья Григорьевна знала его давно, хорошо помнила, что блины должны быть со снетками. С утра в среду человек ходил в Охотный, и к часу на отдельных сковородках шипели профессорские блины, с припеченными снетками.

Профессор приехал немного раньше и, слегка разглаживая серебряную шевелюру, главную свою славу, сказал, что в Англии считается приличным опоздать на десять минут к обеду, но совершенно невозможным — явиться за десять минут до назначенного.

— Благодарю Бога, что я в Москве, — добавил он тем тоном, что все-таки, все что он делает — хорошо. — В Англии меня сочли бы за обжору, которому не терпится с блинами.

Антон, напротив, поступил по-английски, хотя и не знал этого: явился, когда профессор запивал рюмкой хереса в граненой, хрустальной рюмке первую серию блинов. Антон покраснел. Он думал, что опаздывать неудобно, и невнятно извинился. За столом был молчалив. Иногда беспричинно краснел, и вздыхал. Машура тоже держалась сдержанно. Выглядела она несколько худее и бледнее обычного.

Затем заговорили о литературе. Профессор называл возможных кандидатов в Академию. Хвалил научность и обоснованность реферата в Литературном Обществе. Наталья Григорьевна говорила, что сейчас ее интересуют те малоизвестные французские лирики XVII века, которых можно считать запоздалыми учениками Ронсара, и которые несправедливо заглушены ложноклассицизмом. В частности, она занимается Теофилем де Вио. Профессор съел еще блинов, и одобрил.

После завтрака Машура позвала Антона наверх. Был теплый, полувесенний день. Навоз на дворе порыжел. В нем разбирались куры. С крыш капало. Легок, приветливо светлел в Машуриной чистой комнате масленичный день.

Она довольно долго играла Антону сонату Баха. Он сидел в кресле, все молча, не совсем для нее понятный. Кончив, она свернула ноты, и сказала:

— Я перед тобой во многом виновата. Если можешь, прости.

Антон подпер голову руками.

— Прощать здесь не за что. Кто же виноват, что я не загадочный герой, а студент математик, ничем еще не знаменитый . . . И никто не виноват, если я . . . если у меня . . .

Он взволновался, задохнулся и встал.

— Я не могу же тебя заставить, — говорил он через несколько минут, ломая крепкими пальцами какую-то коробочку, — не могу же заставить любить меня так, как хотел бы . . . И даже понимать меня, таким, какой я есть. Ты же, все-таки, меня всего не знаешь, или не хочешь знать.

Он опять горячился.

— Ты считаешь меня ничтожеством, я в твоих глазах влюбленный студент, которого приятно держать около себя . . .

Машура подошла к нему, положила руки на плечи, и поцеловала в лоб.

— Милый, — сказала она, — я не считаю тебя ничтожеством. Ты это знаешь.

— Да, но все это не то, не так . . . — Антон опять сел, взял ее за руку. — Тут дело не в прощении . . .

Машура молчала, и смотрела на него. Потом вдруг улыбнулась.

— У тебя страшно милый вихор, — сказала она, взялась за кольцо волос на его лбу, и навила на палец.

— Он у тебя всегда был, сколько я помню. И всегда придавал тебе серьезный, важный вид.

Антон поднял голову.

— Может быть, я не умею причесываться . . .

— Нет, и не надо. Так гораздо лучше. Наши девчонки, гимназистки очень уважали тебя именно за голову. Ты так Сократом и назывался.

Антон улыбнулся.

— Сократ был лысым, а ты говоришь, вихор . . .

— Это ничего не значит. Тебе и не надо быть лысым.

Она подала ему зеркальце, он посмотрелся. Машура зашла сзади кресла, засмеялась, схватила его за уши и стала слегка раскачивать голову.

— Говорят, что женщины — кокетки, а по-моему у вас, мужчин, кокетства даже больше, только как-то это не считается.

Антон стал защищаться, но несколько сконфузился.

Машура же продолжала, что любовь любовью, но в каждом есть, как она выразилась, шантеклер, петух, распускающий хвост.

— Например, это безобразие, — продолжала она, — ты знаешь, маскарад, на который меня звала Анна Дмитриевна, кончился-таки дуэлью. Бедного Ретизанова подстрелили, и, конечно, из-за женщины.

Машуре стало почти весело. Был ли тут светлый, веселый день, или устала она тосковать, и брала в ней свое молодость, но захотелось даже подурить, покривляться.

Она стала пред Антоном на колени и сказала:

— Ваше превосходительство, а ничего, что я навестила раненого Ретизанова? И даже обещалась еще зайти?

Антон засмеялся опять смущенно, но чем-то был доволен.

— Я знаю только одно, — сказал он, краснея, — что если нас ты укоряешь в шантеклерстве, то в вас, отродьях Евы, есть таки нечто... от древнего Змия.

Через час Антон уходил от нее, взволнованный и смущенный, но по-радостному. Он не совсем отдавал себе отчет, и некая прежняя тяжесть сидела в нем, но этот день и в его мрачную жизнь внес как бы просвет. Ничего не было говорено всерьез, но вновь он уносил в душе обаяние Машуры, которая и мучила, и восхищала его столько времени.

Машура же ни о чем особенно не думала; разыгрывала своего Баха, ходила на заседания «Белого Голубя», и иногда, в теплые, светлые дни по-детски радовалась весне, шагая где-нибудь по Никитскому бульвару, мимо дома, где умер Гоголь. Все-таки прочности не было в ее душе.

В один из таких дней зашла она на Пречистенку, к Ретизанову.

Его здоровье то улучшалось, то ухудшалось, опасность прошла, но в общем он сильно изнемог. С его худого лица торчали седоватые усы; глаза казались еще больше.

— Вы очень добры, — сказал он, приподнимаясь на постели. — Ха! Мне очень нравится, что вот вы взяли, и пришли... во второй раз.

Машура поставила ему на стол букетик живых цветов.

— Мне хочется взглянуть, как вы...

— И еще принесла цветов!

Он улыбнулся, взял и понюхал.

— Этой зимой я посылал много цветов в Петербург, Елизавете Андреевне. Ха! Она меня отдаривала, когда я вот так . . . захворал. Но последнее время редко стала заходить.

— Да ведь она . . . — Машура чуть было не договорила — «уезжает», но вовремя остановилась.

Как раз неделю назад, на собрании «Белого Голубя», она прощалась надолго, сказала, что едет за границу. Машура знала даже с кем. Она слегка вздохнула и сказала:

— Вероятно, очень занята.

Ретизанов оживился, и стал рассказывать о ее танцах. По его мнению, из нее выйдет великий художник. Ритм и божественная легкость составляют основу ее существа. Другие ходят, говорят, смеются — в ней же присутствует богиня, и лишь острый взгляд посвященного может понять всю ее прелесть. Грубых людей, как Никодимов, такие существа раздражают. Потому он и вел себя с ней так в маскараде.

— В Елизавете Андреевне, — говорил Ретизанов, — необыкновенно чисто проявилась стихия женственности. Голубоватое эфирное существо, полное легкости и света.

— Голубая звезда, — сказала Машура, и вдруг покраснела.

— Что?! — вскрикнул Ретизанов. — Как вы сказали?

Машура повторила.

— Голубая звезда! — произнес он в изумлении. — Нет, позвольте . . . в каком смысле?

— Можно думать, — запинаясь ответила Машура, — что одна звезда . . . она называется Вега, и светит го-

лубоватым светом... ну, одним словом, что образ этой Веги есть образ женщины... в высшем смысле. И что, обратно, в некоторых женщинах есть отголосок ее света...

Ретизанов слушал с возрастающим изумлением.

— Позвольте! — закричал он. — Это не женские мысли! Это говорил мужчина.

Машура покраснела.

— Даже если б и так.

— Вам это говорил мужчина?

— Да, — ответила Машура уже сдержаннее, — один знакомый развивал мне эту теорию.

Ретизанов несколько минут молчал, потом вскрикнул:

— Христофоров! Это он! Ах, черт возьми, он предвосхитил мои мысли.

Когда Машура вышла от него, был прозрачный стеклянно-розовеющий вечер. Бледно-золотистая Венера сопровождала ее путь по бульвару, плывя над домами, цепляясь за голые ветки деревьев. Машура глядела на нее, и думала, что это тоже звезда любви, быть может, таинственная устроительница сердечных дел. Быть может, и ее, Машуры, земная судьба связана с велениями неведомых, дивных богов.

Ретизанов же, после ухода Машуры, долго не мог успокоиться. Мысль о голубой звезде волновала и радовала его. Наконец, он накинул халат, и слабый, слегка еще задыхаясь, с кружащейся головой пробрел в кабинет. Там опять подошел к занавеске, раздвинул ее и, закрыв глаза, отдался общению с гениями. Он стоял так довольно долго, блаженно улыбаясь. Затем медленно возвратился к себе.

В то время, как звезда его укладывала чемоданы, чтоб начать светлое и бездумное странствие, гении дали радостнейшие ответы. Ретизанов лежа бормотал что-то, мечтал, и его душа была полна счастия и надежды.

XVIII

Постом Машура говела, слушала изумительные мефимоны, которые читал священник в черной ризе с серебряными цветами, канон Андрея Критского. Исповедывала нехитрые свои грехи под душной епитрахилью о. Симона, невысокого, немолодого и строгого священника с большой головой и седоватыми волосами. Со смутным, мистическим волнением причащалась.

Дома все шло как-то само собой. Как бывало и раньше, к ним приходил Антон. Как и прежде, косился он и фыркал на солидность Натальи Григорьевны, с Машурой бывал то нежен, то дерзок. Иногда, глядя на него, она думала: «Если я выйду за него замуж, он станет вытворять невероятные вещи, и с ним не очень будет легко. Может быть, именно так и должно случиться».

Наталья Григорьевна не была поклонницей страстных романов, страстных браков.

— Жизнь в браке, — говорила она, — это совместное творчество того общения, которое называется семьей. Семья же есть ячейка культуры, заметь себе это, — она целовала Машуру в лоб, — ячейка культуры, то есть порядка.

Машура улыбалась.

— Ах, мама, когда мне будет шестьдесят, то наверно и я буду интересоваться культурой, ячейками и порядком.

Она вздохнула, и не стала более распространяться. За дни весны, которая в этом году была прекрасна, Машура много ходила по Москве, по бульварам. Думала она о себе, своей жизни. Теперь не было уж у нее ощущения вины пред Антоном, того двойственного и странного, в чем жила она почти целый год. Не было к нему и никаких дурных чувств. Она его знала, знала насквозь, и иногда он казался ей очень мил, как очень свой, давно родной человек. «Ну, и что же, и это все? — думала она с улыбкой. — Брак есть совместное творчество общения, называемого семьей?» Ей стало почти смешно, и почти горько. «Ячейка культуры, порядка? Нет, это все что-то не то, не так . . . Не даром и Антон это чувствует». Она вспомнила свое вечернее посещение Христофорова, тот садик, луну, вечер, и ее сердце забилось волнением и истомой. В горле остановилась горькая спазма. Слезы выступили на глазах. «Нет, — через силу, как бы запинаясь, сказала она себе, — если нет, если этого нет, то и ничего не надо. Иначе ложь». «Ложь, ложь, — твердила она позже, уже подходя к своему дому и слегка задыхаясь. — И не надо скрываться, называть это жалкими словами». Раздевшись, она быстро прошла в кабинет Натальи Григорьевны. Та сидела за письменным столом, в очках, и старческой, бледной рукой с голубыми жилами писала отчет по детским приютам, где состояла в комитете. Весеннее солнце золотистым ковром легло по креслу, углу стола, пестрому леопарду в ногах, блестело в золотом тиснении переплетов в шкафах. Машура обняла мать сзади, поцеловала около уха.

— Мама, я сейчас почувствовала одну вещь, и должна тебе сказать.

Наталья Григорьевна отложила перо, взглянула на нее, сняла очки. Она видела, что Машура возбуждена. Ее остроугольное лицо было насьщено какой-то нервной дрожью.

— Ну, ну, говори.

Машура было начала, горячо и спутанно, что она виновата пред Антоном в том, что долго держала его около себя, и почему-то вышло, что они стали считаться женихом и невестой, но на самом деле это ошибка.

Тут она заплакала, обняла Наталью Григорьевну, и всхлипывая, сидя на ручке кресла, сквозь слезы бормотала, что надо все это выяснить, раз навсегда кончить, чтобы не мучить ни его, ни себя ложью . . .

Наталья Григорьевна изумилась. Не то, чтобы она была на стороне Антона, но во всем этом ей не нравился беспорядок, то шумное и нервное, что вносила с собой Машура.

— Успокойся, — говорила она, — не плачь, и тогда можно будет обсудить положение.

Она дала ей валерьянки, и когда солнечная полоса несколько передвинулась, прямо поставила ей вопрос: любит ли она Антона? На что Машура ответила, что и любит, как товарища и друга детства, но не так . . . и вообще это не то . . . именно теперь она убедилась . . .

Тогда Наталья Григорьевна со свойственной ей твердостью и логикой спросила: не любит ли она другого? Машура было смутилась, но мгновенно овладела собой и ответила: *нет*. Наталье Григорьевне показалось, что это не совсем так, но настаивать и выпытывать она не захотела. И в заключение сказала, что в таком важном и серьезном деле нельзя спешить.

— Не нервничай, не волнуйся, — говорила она, — если ты убедишься, что истинного чувства к Антону у тебя нет, то не силой же станут тебя за него выдавать. Все в твоих руках. Ты должна поступить прямо, честно. Но не опрометчиво, не поддаваясь минуте.

Слезы и разговор несколько облегчили Машуру. В сумерках она играла у себя наверху на пианино и думала, что пускай она и будет жить в этой светлой и чистой своей комнате, ни с кем не связанная, ровной и одинокой жизнью. «Если любовь, — говорила она себе, —то пусть будет она так же прекрасна, как эти звуки, томления гениев, и если надо, пусть не воплотится. Если же дано, я приму ее вся, до последнего изгиба».

В этот вечер Антон не пришел. Она просидела одна, рано легла спать и спала спокойно.

Следующий день был четверг Страстной недели, знаменитый день Двенадцати Евангелий, длинных служб, вечернего шествия с огоньками. Часа в три, в мягком опаловом свете дня, Машура вышла из дома по направлению к Кремлю. Шла она не к Двенадцати Евангелиям, а просто побродить, поглядеть Москву. Кремль был очень хорош. Тускло сияла позолота соборов, часы на Спасских воротах били мерно и музыкально. Золотоверхие башни казались влажными, над Замоскворечьем синела дымка весны; внизу, на Москва-реке половодье; река бурно катила шоколадные воды. От памятника Александру П видела Машура внизу милую и ветхую церковь Константина и Елены, покривившуюся, осененную несколькими деревьями. Заходила в Архангельский собор, где под каменными надгробьями в медных оправах спят великие князья и цари, в мрачном полусвете; веет там седой и страшной стариной. И затем — уже совсем случайно, мимо Успенского Собора, забрела в мироваренную палату, при

церкви Двенадцати Апостолов. Был день того двухлетия, когда на всю Россию варят миро. Машура поднялась во второй этаж, взяла налево и оказалась в невысокой, светлой и обширной зале. По стенам стояли зрители, а в правом углу, на некотором подобии плиты, в серебряных вделанных чанах варился священный состав. Непрерывно шла служба. Диаконы и священники в светлых ризах мешали серебряными ковшами. Худенький квартальный просил публику *не наседать*. Стоял теплый, необыкновенно дурманящий запах — редких масл, цветов, старинных благовоний. Диаконы, медленно чередуясь, подымали и опускали свои ковши. Кадили кадильницы. Свечи золотели. Непрерывный, однообразный голос читал у аналоя.

В Успенском Соборе побыла она недолго. Смешанное чувство Италии и Византии, домосковской Руси охватывало там еще сильней. На паперти, под дивным порталом столкнулась она, выходя, с Анной Дмитриевной.

— Нам везет встречаться у святых мест, — сказала Анна Дмитриевна, с улыбкой. — Помните, Звенигород?

Она сильно похудела, была одета в темном. Большие ее глаза глядели утомленно.

Они медленно пошли вместе через площадь.

— Господи, — сказала Машура, — я не могу вспомнить о Дмитрии Павловиче. Какая ужасная судьба ...

Она закрыла даже на мгновение глаза.

— Сегодня двадцатый день его смерти, — ответила Анна Дмитриевна.

Помолчав, она прибавила:

— В церкви, все-таки, мне легче.

Машура взяла ее за руку, крепко пожала.

Они посидели немного в галерее памятника Александру.

Начинало смеркаться. Сизая мгла спускалась на Замоскворечье. Белел еще Воспитательный дом, золотели купола в Кадашах.

— Его судьба, — сказала Анна Дмитриевна, — так же страшна, печальна, и непонятна, как была и жизнь. Во всяком случае, это был очень несчастный человек.

Машура вернулась домой в особенном, несколько приподнятом настроении. Она застала Антона. С ним держалась просто и добро, но самой ей казалось, что тонкая, как бы прозрачная и прочная стена выросла между ними. «Может быть, — думала она, ложась спать, — это ушло мое отрочество, домашние, простые, детские чувства?»

В субботу в их доме усиленно готовились к празднику. Чистили, мыли, Машура сама красила яйца, готовила пасху. Знаменитый окорок одевали в бумажные кружева. В духовке сидели золотые куличи. Все это напоминало детство, и имело свою особенную прелесть.

Как и раньше бывало, к вечеру пришел Антон — обычно они ходили с ним в Кремль к заутрени, смотреть иллюминацию, дышать тем удивительным воздухом, которым в эту ночь бывает полна Москва. Они отправились и теперь. Машура шла с ним под руку, но в Кремль они не попали, а часов с одиннадцати стали бродить по Москве, от церкви к церкви. В тихой, чуть туманной ночи видели они рубиновые в иллюминациях очерки колоколен, сияющие кресты; на папертях и в церковных двориках, иногда под деревьями, расставленные для освящения куличи и пасхи. По улицам непрерывно шли. Слышался негромкий говор. Иногда рысаки неслись, ехали кареты. Все было сдержанно, торжественно, тьма и золото огней господство-

вали над городом. Приближалась величественная и прекрасная минута.

Ровно в двенадцать в Кремле ударили — густым, гулким тоном. Неторопливо и радостно завторили все знаменитые сорок сороков. Тотчас двинулись крестные ходы, золотые стяги Спасителя поднялись во тьме ночи; на мгновенье все снова стали братьями.

«Христос воскрес!» «Воистину воскрес!»

Машура похристосовалась с Антоном, нежно и дружески. Слезы выступили у ней на глазах. Ее душа опять открылась на мгновение, вспомнились годы верной любви Антона, его сумрачной, нелегкой жизни.

Она перевела дух и отвернулась. Да, но не надо медлить, не надо тянуть и запутывать!

Она несла домой зажженную свечу, слегка прикрывая ее ладонью, казавшейся в свете прозрачно-розовой. Тысячи людей так же шли, и весь город был полон весеннего тумана; сверху светили звезды, а внизу растекались по переулкам золотые огоньки. Машура загадала, что, если до дому свеча не потухнет, все будет правильно, как надо.

Ночь была очень тиха.

Свеча не погасла.

Наталья Григорьевна встречала Пасху в церкви своего приюта. Она вернулась позже, очень парадная, в орденах и бриллиантах. Была ровна, покойна; на ее культурных чертах великий праздник не начертал своего духовного волнения.

На другой же день, когда вся Москва заливалась дружным, светло-радостным звоном, когда катили лихачи с визитерами, по улицам брел и ехал расфранченный народ, Машура сидела у себя в мансарде, и писала Антону. Она старалась собрать все силы души и ума,

чтобы написать получше, ясней и тверже высказать то, что, как она полагала, сложилось в ней окончательно.

Подписавшись, встала. Из окна, уже раскрытого, пахнуло на нее весной, апрелем, тополевыми почками. С необычайной ясностью она почувствовала, что теперь начинается для нее новое. Что именно — она не знала.

XIX

Конец апреля Христофоров проводил в имении Анны Дмитриевны, в средней полосе России. Выдались две дивных недели, какие бывают иногда пред холодноватым и переменчивым маем.

С июня Христофоров получал работу в крупной библиотеке южного города.

Сейчас был доволен, что временно можно отдохнуть, пожить спокойно и собраться с мыслями. Зима во многом для него была необычайна. В своем роде, это была даже единственная зима. Бродя один по весенним, нежно-зеленеющим полям, он вспоминал ее, как нечто бурное, цветное, ворвавшееся в его жизнь. Он сам крутился в этом потоке, то как участник, то как зритель, и теперь, коснувшись привычной, тихой земли, чувствовал как бы некоторое головокружение. «Может быть, это и суета, и возможно, я бывал неправ, все же . . .» Он не досказывал, но душой не отказывался от пестрого, быстро-летящего карнавала бытия.

Анну Дмитриевну он жалел искренно. Но и в ней ему нравились некоторые, теперь сильнее выступавшие черты. Явно стала она покойнее, как бы сдержаннее. Несколько облегчилась, прояснела.

— С меня долго надо смывать, ах, как долго смывать прежнее, — сказала она раз. — Голубчик, мне оттого с вами легко, что вы не теперешний, древний человек...

Она засмеялась.

— Уж и сейчас похоже, что мы удалились с вами в пустыню, но это только первые шаги. Ах, иногда я мечтаю о настоящей Фиваиде, о жизни в какой-нибудь бла-аженной египетской пустыне, наедине с Богом. Еще неизвестно, еще неизвестно... Помните, наш разговор у Фанни, о богатстве. Не подумайте, ваши слова очень запали мне тогда.

— Да, — сказал Христофоров. — Но и сам я не знаю, до какого предела идут эти слова. Уж никак я не за богатство... но и рабский, подневольный труд... это я тоже отвергаю.

Через минуту он прибавил:

— Человек не может представить себе времени, когда *его* не будет. Нельзя вообразить смерть, как засыпание, или сон, которому нет пробуждения. В то же время трудно понять, чтобы здесь, на земле, мы могли вечно жить. Вот недавно, на днях, — продолжал он, и его голубые глаза расширились, — я испытал странное чувство. На минуту я ощутил себя блаженным и бессмертным духом, существующим вечно, здесь же на земле. Жизнь как будто бы проносилась предо мной миражем, вечными сменами, и уходящих миражей мне не жаль было, а будущие — я знал, придут. Я забывал о прошлом и не думал о будущем. Быть может, такое состояние, со всегдашним ощущением Света, то есть Бога, и есть райская жизнь, о которой говорит Библия.

Анна Дмитриевна усмехнулась.

— Да, уж тут отпадает богатство, бедность...

— Это человеческие слова, — сказал Христофоров, — мы считаемся с ними в нашей... ограниченной, все же, трехмерной жизни.

В один из тех нежно-голубых, очаровательных дней, когда кажется, что ангел Божий осенил мир, Христофоров получил письмо из Крыма, от Натальи Григорьевны. С Пасхи жила она там с Машурой. Она сообщила, что Машуре юг очень полезен, что они одни тут, Антон остался в Москве, и вряд ли, вообще, приедет. «Должна добавить, — писала она, — еще одну печальную новость. На днях умер здесь Александр Сергеевич Ретизанов, простудившись, как это ни странно Вам покажется — в благословенной Тавриде. Машура была очень подавлена. Она ходила к нему. Из ее слов я поняла, что кроме болезни на него подействовало еще известие об одной танцовщице, Лабунской, которую, видимо, он любил. Лабунская только что уехала за границу с каким-то англичанином».

— Покойный Дмитрий Павлыч, — сказал Анне Дмитриевне Христофоров, — назвал раз Ретизанова — дон Алонзо-Кихада дель Ретизанов. И выходит, что отчасти он прав. В общем же, судьбы их разны, и одинаковы.

— Умер Ретизанов... — Анна Дмитриевна задумалась. — Это тоже был несовременный человек.

Вечером этого дня Христофоров, в своем потертом пиджачке и мягкой, видавшей виды шляпе, вышел из усадьбы. Глаза его были несколько расширены; и голубизна апрельского дня удваивалась в их природной голубизне. Из фруктового сада, где на яблонях наливались почки, он спустился в овражек; там стояли белые березы, уже одетые зеленоватым облаком. Дубы еще голы; кое-где на них темно-коричневая листва; вечерний ветерок звенел в ней слабо, таинственно. Сухие

листья шуршали под ногой. Влагой и весенней прелью пахло у ручейка. Напоминая соловьев, стрекотали дрозды-пересмешники.

За овражком начиналось поле. Здесь по зеленям шныряли мышки. Белый лунь, их враг, низко и бесшумно плыл над землей.

Обернувшись назад, сквозь тонкую сетку полуголых деревьев увидел Христофоров дом Анны Дмитриевны, и занимавшийся над ним золотисто-оранжевый закат. Этот закат, с нежно пылающими краями облаков, показался ему милой и чудесной страной былого. Он шел дальше. Странное чувство истомы и как бы растворения, того полубезумного состояния, которое иногда посещало его — овладело и теперь. Казалось, что не так легко отделить свое дыхание от плеска ручейка в овраге, ноги ступали по земле, как по самому себе, голубоватая мгла внизу, над речкой, была частью его же души — и он сам — в весенней зелени зеленей.

Он прошел так некоторое время, и присел у межевой ямы, где кончалась земля Анны Дмитриевны. Несколько мышек высунулось из нор, проделанных под комками пахоты; повертели мордочками и сверкнули домой. Тихо, медленно летела на болото цапля. Было видно довольно далеко. Поля, лесочки и деревни, две белых колокольни, вновь поля, то бледно-зеленеющие, то лиловые. Весенняя пелена — слабых, чуть смутных испарений, все смягчающих, смывающих, как в акварели.

Христофоров лег на землю. Долго лежал так, опьяняясь вином, имени которого не знал. Сердце его билось нежностью и любовью, раздирающей грустью и нежностью. Голубая бездна была над ним, с каждой минутой синея, и отчетливей показывая звезды. Закат гас. Вот разглядел уж он свою небесную водительни-

цу, стоявшую невысоко, чуть сиявшую золотисто-голубоватым светом. Понемногу все небо наполнилось ее эфирной голубизной, сходящей на землю. Это была голубая Дева. Она наполняла собою мир, проникала дыханием стебелек зеленей, атомы воздуха. Была близка и бесконечна, видима и неуловима. В сердце своем соединяла все облики земных любвей, все прелести и печали, все мгновенное, летучее — и вечное. В ее божественном лице была всегдашняя надежда. И всегдашняя безнадежность.

Когда Христофоров возвращался, ручей в овраге журчал той же смутностью и беспредельностью. Хоркая, тянул вальдшнеп. Рожок месяца, бледно-серебряный и тонкий, пересекался кружевом ветвей.

Москва, 1918 г.

— o —

ПУТНИКИ

E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Dante, Inf., XXXIV.

С балкона Казмин видел, как вороная тройка, которую он выслал за Ахмаковым, перемахнула через плотину. По лугам дорога была хорошая. Иван пустил шибко; через несколько минут они должны были явиться.

Казмин встал из-за стола, где накрыт был чай и стояла закуска, закурил, прошелся взад и вперед; под ногой скрипнула половица; сквозь колонны, в сереньком летнем дне были видны заливные луга, копны и вдали отлогий бугор. Под ним, у плотины, мельница. «Вот так Алексей Кириллыч, — думал Казмин, — взял да и собрался». Он немного даже посвистал. Эти мысли и посвистыванье просто выражали удивление. Ахмакова, известного деятеля, земца, члена разных обществ Казмин знал, и они были в добрых отношениях. Все же знал не настолько . . . Никогда не обмолвился он о том, что может приехать.

Услышав шум экипажа, Казмин вышел через гостиную и залу в обширные, темноватые сени и дальше, на крыльцо. Ахмаков вылез уже из коляски. Он снимал с себя и отряхивал пыльник, неизменно высылавшийся на станцию.

Увидав хозяина, Ахмаков засмеялся, показал много белых зубов над короткой, крепкой, черной бородой с проседью.

— А? Не ждали? Как снег на голову?

— Тем приятнее, — ответил Казмин.

— Да уж там приятнее или неприятнее — ввалился, ничего не поделаешь. А? Возражаете?

Они обнялись. Казмин слегка коснулся бритым подбородком, подстриженными усами — заросшей щеки Ахмакова. Вплотную глянули на него темные, умные глаза, чуть вздрагивавшие. Ахмаков хлопнул его по плечу.

— Как всегда выбрит, сдержан... И не толстеет в деревне.

Казмин повел его направо, в кабинет. Там на стенах висели фотографии родителей, в овальных рамках; на письменном столе — бумаги, расчетные книжки; лежал клок вики с дальнего поля.

Алексей Кириллыч снял белую матерчатую шляпу, легонький пиджак, стал умываться. Казмин заметил как изменилось его неправильное, значительное лицо с тех пор, как он его видел. Ахмаков сильно поседел.

— Я, — говорил он, отирая полотенцем волосатую шею, — засиделся в городе и, видимо, переработал. Вот как-то и вышло... — он вдруг смутился, даже покраснел. — Да, именно к вам и надумал... заехать. По дороге дальше.

Казмин ответил, что в деревне скучно. Пусть уж не взыщет.

— А я что же, на пикники рассчитываю?

«Почему он не спросил, где моя жена, семья? — мелькнуло в голове Казмина не без досады. — Вот уж эта джентльменская вежливость!» Но, конечно, тут он

себя обманывал: легче было, что Ахмаков не спросил. Вероятно, знал.

Когда кончился туалет, он провел гостя через залу, где стоял китайский биллиардик и лежали на фортепиано клейкие листы для мух — снова на балкон. Тут поил чаем, угощал холодной ветчиной. Налил мадеры. Ахмаков много говорил о Москве, кооперациях, общих знакомых. Казмину яснее замечалось, что и раньше он видел: в оживленных словах, даже смехе — тайная грусть; точно годами наболевшее. «И куда он едет, — думал Казмин. — Зачем? Впрочем, — вдруг добавил он себе, — впрочем, это . . .»

После чая они гуляли. Ахмаков видел фруктовый сад, шедший от балкона вниз, к лугам: пруд со старыми ракитами; вдохнул воздух лугов, видел вечерние дымки деревни, шел с хозяином по ржаному полю, среди сухого и густого запаха желтой ржи; слышал коростеля в низине; видел, как на деревенском, серо-облачном небе означился вечер — сумной тенью. И когда возвращались домой, сумерки явно надвинулись.

— Будет дождь, — сказал Казмин, — я предсказываю.

Он не ошибся. Дождь пошел незаметно, как бы с вежливостью. Потом все сильнее, ровным, мягким гулом.

— Вот вам и деревня, — сказал Казмин, зажигая свет в зале: — видите, на что попали!

Ахмаков сидел в кресле и дышал довольно тяжко.

— Ну, а наши теперь в ревизионной комиссии. Тоже я вам доложу . . . — он махнул рукой. — Мы полжизни просидели в разных комитетах. Нет, я деревню предпочитаю.

Ахмаков глядел перед собой рассеянным, тоскливым взором. Лампа со стеклянным матовым абажуром

не освещала всей залы. Эта зала казалась ему унылой. Казмин предложил сыграть в бикс. Ахмаков согласился, с покорной усталостью. Шарики звенели о металлические шпиньки, иногда звонил колокольчик. Казмин спокойный, молчаливый, бритый, стоял с кием в руке, рядом. Так проходил их первый вечер. Как полагалось, в девять они ужинали. В одиннадцать часов разошлись. Ахмакову было приготовлено в кабинете. А себе Казмин велел постелить в комнате жены, — в будуаре.

Все было знакомо ему здесь — до мелочей. Ширмы, отделявшие кровать красного дерева, гардероб; часы на комоде, с бронзовым бюстом Вольтера; едва уловимый, но тот же тонкий, туманящий запах — женщины, здесь жившей. Казмин потушил свет и вздохнул. Он думал, что заснет скоро, без боли перейдет в иной, в безвестный мир. Но, верно, его взволновал приезд гостя или комната, где давно уже он не был. Он слушал шум дождя — ровный говоривший о бесконечности, и думал о том, как покойная мать вела его, воспитывала, обучала, как он всегда был хорошо обставлен, отлично учился; как она полагала, что, кончив университет, женившись, он будет серьезным и счастливым деятелем — в деревне, в богатом своем имении. И как, несмотря на всю свою серьезность, просвещенность и богатство, он, Андрей Афанасьевич Казмин, лежит этой темной ночью один, в постели, со своим честным именем, с разгромленной душой и без надежд на будущее. «Вся моя жизнь, — думал он, — имела смысл до тех пор, пока Надя меня любила. Лишь до тех пор». Он вздохнул глубоко, застонал и перевернулся. Обычные муки нахлынули на него: образы прошлого, предательство, — как ему казалось, — близкого друга. Он долго утопал во тьме. И тот, другой мир, куда он стремился, встретил его недобро. Казмин оказался в поле, около усадьбы.

Пропалывали свеклу. Вдруг мчится поезд, и все быстрей, как раз к дому. Казмин бежит за ним, Там, у дома, Никаша наверно играет в мяч, и непременно поезд его раздавит. Но бежать трудно. Все, как будто, на одном месте: он делает страшные усилия, но уж поезд далеко, и что там происходит — неизвестно. Все же он добежал. И, наверно, не меньше за эти секунды пережил, чем если бы все было наяву. Паровоз отломил половину дома; она скатилась вниз. Казмин охнул, куда-то бросился. Перед ним серо-синеватая комната, он не может понять, где он. Все вещи знакомые; все на местах, как обычно: но это и не комната, и он — не он, и свет утра из-за туч — не настоящий свет. Вот из столовой кто-то вышел на балкон; точно бы Ахмаков.

Мгновенно он опомнился. Сердце колотилось, были холодны руки, но теперь уже все, как прежде: и комната, и мир, и сам он. Казмин накинул одежду, завернулся в плед, — снова вышел на терассу. Там стоял Ахмаков, спиной к нему у колонны. Туман наполнял все. За терассой, смутными тенями проступали две яблони. Дождь перестал. Капли падали с листьев, в глубокой тишине. Чуть светало.

Ахмаков тревожно обернулся.

— Вы что?

— Ничего, — ответил Казмин. — Не спится.

— Какой туман!

— Вам не холодно?

Ахмаков казался ему серым. Может быть, самому было холодно, но почему-то представилось, что гость дрожит.

— Как плохо, — сказал Ахмаков и закрыл глаза.

— Как вы относитесь к мелкой земской единице? — вдруг спросил он и захохотал. Казмин пожал плечами. Ахмаков будто смешался.

— Ах, это я вздор все, но не могу же...

Он, видимо, был подавлен и расстроен. В нем не осталось уж обычной, прочной осанки, вида настоящего человека, барина и земца.

Казмин сел с ним рядом, на скамейку. Как бы участие шевельнулось в нем к этому немолодому человеку без воротника, с помятой бородой.

— Такой туман, — сказал он, — на кого угодно может нагнать тоску.

Ахмаков встрепенулся.

— Нет, наверно сердце... У меня сердце плохое, и потом, конечно, психическое. Это скверно. Психическое! Не значит, что сумасшедший — вы Бог знает, что думаете, — Ахмаков почти обиделся. — Ну, просто, «душа моя мрачна».

Он задумался.

— Почему это я вам все докладываю? Ужасно интересно. А говорю зачем-то.

— Это ничего, — сказал Казмин. — Человеку нельзя же молчать всегда. Трудно.

— Терпеть бы надо.

Казмин побарабанил пальцами по перилам.

— Терпеть-то терпим. А там и заговоришь. Знаете, отчего это бывает?

Он продолжал тише:

— Старая, старая одна вещь есть. Обычно ее не помнишь. А иногда — вспоминаешь.

— Какая вещь?

Казмин протянул ему руку и пожал. Ахмаков ответил.

— Эта самая. Почему-то вы мне ответили. Не отдернули руки.

Ахмаков вздохнул.

— Сочувствие! — сказал он. — Устарелая штука. Несовременно.

Казмин не возражал. И теория не его, и возраст ее громаден. Но вряд ли от этого стала она хуже.

Помолчав, Ахмаков заметил:

— Все-таки, пожалуй, и не плохо, — он поднял голову. — Мы, ведь, как в пустыне.

Казмин улыбнулся.

— А то где же?

Ахмаков повернул голову.

— Тут был пруд, вид куда-то в даль, но сейчас все пропало. Ничего не разберешь. Вот, пройдите-ка по собственной усадьбе!

Туман, действительно, был силен. Кое-где деревья маячили в нем верхушками; низ же был плотно укутан, точно плавали эти тени по белесому морю. Рассвет занимался туго, в пустой и серой хмури.

Казмин принес гостю пальто. Они сидели еще, слушая пробуждение. Кто жил в деревне, знает утренние звуки природы: петухов полночных, петухов в два, жаворонков, начинающих с третьего часа. Потом коровы просыпаются, свиньи захрюкают. И еще позже двинется человек в валенках: повезет за водой бочку.

Казмин и Ахмаков легли в пять, под музыку этой бочки, возвращавшейся от колодца; вода плескалась в ней мелодично. На этот раз Казмин заснул просто и крепко. И хотя обычно вставал рано, — теперь проспал. Когда вымытый, слегка надушенный, вышел он в столовую, Ахмаков бодро пил кофе. Он заявил, что вечером хочет ехать.

Казмин удивился.

— Да куда же так скоро!? Вы же отдохнуть хотели?

Ахмаков замялся.

— Да, конечно, и отдохну... но к вам я так, проездом.

«Нет, он и сам не знает ничего толком», — подумал Казмин.

Ахмаков объяснил, что на юге, в губернском городе, у него есть свой дом, наследье родителей. Думает он туда проехать.

— А может, — прибавил он внезапно, — и по Волге проплыву.

Казмин не настаивал. Ахмаков был как-то нервно возбужден, смеялся, говорил, но весь день Казмину казалось, что не совсем это правда — не по-настоящему.

Он даже спросил:

— Что же, вам по Волге очень хочется поездить?

— Разумеется! Почему вы спрашиваете, дорогой?

К вечеру он заметно стих. Казмину не хотелось оставаться одному: он отправился его провожать.

Днем было сыро, но проглядывало солнце. К вечеру опять наползли тучи. Ехать было грязно. Иван высоко подкрутил лошадям хвосты; иногда брызги летели в лицо. Казмин и Ахмаков молчали. Коляска укачивала их. Недалеко от станции тучи надвинулись, стемнело; пришлось поднять верх: и огни железной дороги увидели они сквозь дождь. Он обливал и подошедший поезд. Ахмаков наскоро простился, поблагодарил. Казмин вошел с ним в купе. Ударила гроза. Молния заливала белым и зеленым светом станцию, платформу, березы сзади, телеграфистов в окне.

— Если я остановлюсь в Саратове, — вдруг спросил Ахмаков, — можно дать вам телеграмму?

— Как телеграмму?

Ахмаков засмеялся.

— Ах, это глупости! Просто чепуха. Ну, представьте, что вы мне чрезвычайно понадобитесь, экстренно, исключительно . . . Вы бы приехали, если бы я вызвал?

Это становилось совсем странно.

Раздался звонок. Спускаясь на платформу, Казмин сказал:

— Приехал бы.

Ахмаков стоял в дверях и улыбался.

— Это шутка. Разумеется шутка. На что вы мне можете быть нужны?

Поезд тронулся. Освещенные окна прошли мимо. Казмин пересек платформу, прошел дорожкой у берез и сел в коляску. Тройка шла шагом. У шлагбаума их не задержали, поезд прошел. Золотые искры летели в темноте, да вдали, по полотну, краснел фонарь последнего вагона. Дождь уменьшился. Но так как было темно, возвращались домой тихо.

Казмин вернулся усталый, как бы раздраженный. Смутное ощущение осталось у него от Ахмакова, его слов, намеков, — не то правды, не то шуток.

Собираясь ложиться, прошелся он по дому. Заглянул в кабинет, где спал Ахмаков. В руке у него была свеча. Она отразилась в зеркале, в стекле окна. Там, за ним, была тьма июльской, ненастной ночи. Стало как-то жутко. Подумалось — вдруг увидит он сейчас жену, Никашу. Но ничего не увидел. Подошел к столику, у дивана, где лежала книга Паскаля: «Мысли». Ахмаков читал ее на ночь. Казмин развернул. В одном месте было подчеркнуто карандашом, и на полях приписка: «Чепуха». В другом изображено нечто с рожками и хвостом. Внизу подпись: „Et bien, et voila la mort qui arrive!"

Казмин закрыл книгу, вздохнул и вышел.

II

Он был теперь хорошо знаком с одинокой жизнью.

Она давалась не легко. Но Казмин знал, что это неизбежно; и как человек, вообще воспитанный в рамках, из этих рамок не выходил. С отъездом жены внешность жизни его мало изменилась. По-прежнему он вел хозяйство, без увлечения, но добросовестно; косил, убирал, веял, сдавал угодья мужикам; сводил лес, платил налоги и ездил в город, по земским делам и личным. О себе он ни с кем не говорил. И бессонные ночи первого времени с ним и остались, не выходя из кабинета.

По вечерам Казмин любил ездить верхом. Иван подводил ему черно-пегую Леду, под желтым английским седлом. Казмин в ботфортах, перчатках и кэпи садился; ремни слегка скрипели; Леда шла полной и широкой рысью.

Чаще выбирал он пустынные, уединенные места — малоезженные дороги, межи, опушки. Была одна ложбинка, куда он ездил часто, — называл ее Иосафатовой долиной. Ничего замечательного тут не было, кроме щипанных кустиков и луговины; но так затеряна она в полях, так безлюдно здесь после заката! Боязливо ступает конь, да поздние утки несутся иногда с полей; пахнет полынью, и все, что видно — края котловины да над ними небо — звездный коридор. Тут легко могут убить встречного. Но нигде не ощущал Казмин так остро, сладостно-остро, что один только и существует он, да звезды, да над ними Бог.

Наезд Ахмакова несколько выбил его из колеи. Точно мрачное его спокойствие было нарушено: будто опять заговорили голоса, казалось, глохшие. «Непоря-

док, непорядок», думал Казмин; даже некое неудовольствие возникало к Ахмакову. «Просто он неврастеник, больной, и меня тронул».

Две недели спустя по отъезде гостя, в начале августа он проезжал по Иосафатовой долине. Поднявшись из нее в поля, взял направо. Ветер стал в лицо. Казмин почему-то вспомнил, как в первую минуту он хотел убить *его, того человека*. Узенький закат краснел; над ним, по всему небу, громоздились тучи, отливая огнем.

Совсем смеркалось. Казмин тронул рысью, что-то насвистывая; снова ощущение безмерного одиночества пришло к нему: «Неужели это был я? Неужели я мог убить?» пришло ему в голову. Тут с необычайной ясностью вспомнил он жену, Никашу; нежность залила волной сердце. Он похлопывал Леду по гриве, приподнимаясь в такт: по щекам, в темноте, текли слезы. «Что ж такое, — думал он, — что она ушла? Я ее люблю не меньше. Как богиня сходила она в мою жизнь, и ушла так же. Все терзания, злоба, муки — напрасны. Если она меня полюбит вновь, как в те годы — то вернется. Все это необыкновенно просто. И нет виновных».

Подъезжал к дому он в новом, самого его удивившем настроении. Он не знал, было ли оно прочно; но сейчас на сердце стало легко, как-то влажно, смутно, точно пожалел его милый ангел — крылом коснулся в безлюдье.

Совсем стемнело. Леда ввозила его на взгорье, во фруктовый сад. Кое-где яблони задевали; в одном месте, привычной рукой он сорвал *скрижапель*. Разговаривали сторожа, костер краснел. Он выехал в купу старых лип; стало черно, бархатной чернотой; светились окна дома.

Крикнув Ивана, похлопывая по ботфортам хлыстиком, Казмин прошел домой. В столовой, у прибора, лежала почта, газеты и телеграмма. Он вскрыл ее: «Если можно очень прошу приехать. Болен. Ахмаков». Сообщался адрес — в том городе, черноземной полосы, где у Ахмакова был дом. Казмин отложил телеграмму. Положительно, Ахмаков взялся удивлять его. И неужели не оказалось никого ближе? Все это довольно дико.

Телеграмма взволновала его. Меньше всего он собирался ехать. Но, может, правда, Ахмакову туго? А если — каприз, причуда? Ночью он плохо спал; был почти сердит. Ни с того, ни с сего скакать несколько сот верст! Он заснул с тем, что не поедет. Даст тому телеграмму — и конец.

Утро снова его удивило. Во-первых, оказался дивный солнечный день, сияющий, теплый. Второе — он проснулся с ощущением, что вчера, вечером, случилось что-то отличное, светлое и легкое. «Страдания гордости, обиды, — думал он, одеваясь, — какая чушь!» Те минуты, верхом, в потемневшем, диком поле, и слезы встали перед ним с живостью. «Да, конечно, еду, разумеется». Эта мысль как-то сама вышла, он не звал ее; но колебаний уже не было. Он с утра распорядился по хозяйству, на неделю, быстро уложился и в восьмом часу, на закате, ехал полями к станции.

Кое-где белела гречиха; овес стоял в крестцах, на одном из них, прямо у дороги, сидел совенок с круглой рожей. Белела церковь, леса темнели. Позже, на фиолетовом горизонте вышла прозрачная бледно-зеленоватая луна — уже прохладная луна начала августа. Пыль вставала с накатанной дороги; в деревне огоньки зажглись; въезжали и запоздалые возы. И вскоре засветил вдали зеленый семафор, как звезда в полумгле.

Два часа ехал отсюда Казмин по железной дороге; потом надо было пересесть в скорый поезд, шедший на юго-восток. Он пересел в двенадцатом часу с крохотной станции. Ему показалось на мгновение странным, зачем это он едет?

«Вот тебе и Казмин, Андрей Афанасьевич, —сказал он про себя, не без насмешки: — Вот и он собрался!» Но философствовать было поздно. В вагоне духота; ярко горело электричество, кой-где затянутое синим шелком; спали внизу, — наверху, в проход, торчали носки мужчин. Ему досталось крошечное место у окна. На короткой стороне, напротив сидела дама — светловолосая, в огромной черной шляпе. Шляпа была явно неудобна; казалось, самое простое — снять ее и положить наверх; но дама этого не делала. Она вообще сидела странно; например, подперев голову руками, а локти — на колена; в такой позиции виден был из-под шляпы лишь тонкий нос, да слегка растрепанные, над ушами, очень мягкие волосы. Зато шляпу мог он вполне изучить. Потом она резко меняла позу, закидывала ногу за ногу, вздыхала; в глазах видел он нечто воспаленное.

Казмин долго к ней присматривался.

— Извините, — наконец сказал он, — вы бы шляпу сняли. Так ведь неудобно.

Она обернулась.

— Шляпу?

Мгновение она посмотрела на него невидящими глазами, будто плохо понимая. Потом ответила:

— Да, можно.

Вынула длинные шпильки, похожие на копья, покорно положила шляпу в сетку и слегка откинулась в

кресле; теперь могла прислониться головой, подремать. Она закрыла глаза. Казмин заметил, что веки у нее припухли. Золотистые волосы были в беспорядке — такие тонкие и легкие, что с ними трудно: вечно образуют они туманно-беспорядочный, отблескивающий нимб вокруг головы.

«Нет, не заснет, — подумал Казмин. — Ни за что не заснет». Он не ошибся. Не прошло минуты, она вздрогнула, как от нервного тока, выпрямилась и уставилась на него.

— Я ничего, ничего, — забормотала она. — А? Куда же ты?

Казмин отлично знал, что это не к нему относится, и не ответил. Она сообразила, что он — чужой; легкое неудовольствие прошло в ее взгляде. Казмин сделал вид, что не заметил. Пробовал было заснуть и сам, сидя, но ничего не вышло. Теперь он почувствовал, что она на него смотрит. Правда, вытянув острый подбородок, оперев его на согнутую в локте руку, она глядела упорно и безучастно.

— Уверен, — сказал Казмин, — что так вы можете смотреть час и более. Сколько угодно. А в сущности, это ни к чему?

Пересохшим голосом она ответила:

— Ни к чему.

Казмин заметил, что наверно она мало говорила в последнее время. Она улыбнулась.

— Очень бестолковая?

— Не смею этого сказать . . . Но . . .

Она зевнула.

— Нет, отчего же. Смейте.

Она внимательно, теперь уже с сознанием его рассматривала, его вещи, будто соображая.

— Да вы кто такой? — спросила она вдруг. — Куда вы едете?

Этот вопрос его несколько озадачил. Он даже смутился. Но, овладев собой, ответил:

— Я никто. Путешественник.

Она кивнула одобрительно.

— Значит не по делам.

Он ответил, что не по делам.

«Какая странная, — подумал Казмин: — не то девушка, не то дама. И Бог ее знает, что с ней».

Она вынула замшевую подушечку, стала шлифовать ногти.

— Вот и я неизвестно зачем еду, — сказала она.

Казмин будто бы оживился, даже с оттенком раздражения:

— Нет, я знаю, куда еду. И зачем.

Она сказала равнодушно:

— Ах, извините! Так мне показалось.

В вагоне стало совсем душно. Казмин открыл окно. Начинало светать. Поезд шел полями, равниной тучной и могущественной, как подобает чернозему. Рожь убрали. Овес еще стоял. Пронеслись по грохочущему мосту, в сетке связей; внизу, над речкой, туман стлался; за лугами, жнивьем, бледно золотел рассвет.

— Это называется — Божий мир, — сказал Казмин, вдыхая воздух, свежий, золотисто-туманный.

Сразу взор ее отупел, она поглядела, помолчала.

— Мне все равно.

Казмин не удивился. Он не ждал иного ответа. И не возражал.

Через час, когда подъезжали к узловой станции, богатому, хлебному городу, где обоим надо было пересаживаться, солнце вышло над горизонтом — пылкое и огненное. Показался светло-серый элеватор, вагоны

на путях. Медленно подошли к вокзалу. Деревянная платформа была покрыта росой — сизела. Носильщик взял вещи; толпились пассажиры; несколько бородатых купцов, в картузах, длинных сюртуках, на минуту привлекли внимание.

Зала первого класса — низкое огромное помещение, вся была прохвачена солнцем. Пятна его сияли на полу, блестели по скатертям, кофейникам. В нем жалки пыльные пальмы над столами, помертвелые от утомления лакеи, человеческий скарб: сундуки, чемоданы; усталые путники, кочующие и ночующие; бедняги-дети, склянки с молоком для них, чайники — все мелкое убожество жизни, куда-то торопящейся, чего-то ждущей.

Ждать и им надо было — часа три. Уныние появилось на лице спутницы Казмина. Очень уж казалась она здесь чужой.

— Слушайте, — сказала она. — Тут ужасно скверно. Какая гадость! Пойдемте в город.

— Что ж мы там будем делать?

— Ах, что, что . . . Ну оставайтесь, я одна пойду.

Но Казмину не хотелось оставаться. Вещи они сдали на хранение. Спускаясь со ступенек, к выходу из вокзала, Казмин спросил:

— Как вас зовут?

— Елена.

— А дальше?

Она немного нахмурилась.

— Так и зовите. Я же сказала.

С восходом солнца, в незнакомом городе, они зачем-то выходили из вокзала. Даже извозчиков не было. Голуби бродили по мостовой. Листья кленов блестели влагой.

Они шли пешком по каким-то прямым, широким улицам, с одноэтажными домами. Было совсем тихо, солнечно; им встретилось несколько подвод с капустой, огурцами, морковью — видимо, на базар. Бабы не без удивления глядели на Елену, на ее зеленую вуаль-шарфик, развевавшуюся сзади, на желтые ботинки; она шагала рассеянно, была бледна; рядом молча шел Казмин. Так добрались они до площади, где около закрытых лавочек валялся сор, арбузные корки, жестянки; опять толклась стая голубей; из трактира выскочил мальчишка с чайником, рысью промчался куда-то. Возы стояли рядами. На одном дремал старик. Вдруг Елена остановилась.

— Не могу больше. Не хочу ходить. Устала.

— Возможно, — заметил Казмин. — Этого следовало ждать. Но что же теперь делать?

Она оглянулась. Потом сказала, указывая рукой направо:

— Пойдемте в чайную.

Казмину было все равно. Третьего дня еще к чему-то был он прикреплен. Теперь же все спуталось. О будущем он ничего не мог сказать. И на четверть часа вперед не поручился бы.

Чайная оказалась трактиром, а не чайной. Человек в белом с удивлением взглянул на них. Однако, согласился дать порцию чаю. Они сели у окна. Елена заявила, что хочет коньяку. Она вынула из мешочка деньги, лежавшие вперемежку с духами, носовым платком, в величайшем беспорядке.

— Я пять ночей не спала. Понимаете? Ах, если б эфир был! Все равно. Я напьюсь.

Половой еще более удивился. Он сначала отказал. Казмин настаивал. Вышел хозяин — худой человек, с подбитым глазом. Пошептавшись, они послали куда-то

мальчишку. Он все исполнил. Елена хотела, чтобы ей налили в стакан. Но Казмин не позволил: пили, как полагается.

— Почему вы не спите? — спросил Казмин.

— Не сплю и не сплю. И все тут.

Казмин задумался.

— Это я знаю, — сказал он. — Даже очень хорошо знаю.

Она опять уставилась на него, как тогда в вагоне.

— Все-таки, плохо понимаю... Почему это я в трактире, в городе каком-то... — она потерла себе глаза. — Фу... в самом деле.

Она поежилась.

— Вы обо мне Бог знает что подумаете.

Казмин спокойно выпил и сказал, откусывая сахар:

— Уж действительно, что так.

Она засмеялась.

«Нет, не подумает. Он барин. Джентльмен, все понимающий! Ах ты, Господи, ужас какой, ужас!»

Она положила голову на стол, на грубоватую салфетку, и заплакала. Казмин оглянулся. Никого не было. Лишь канарейка чирикала в клетке. С базарной площади, залитой солнцем, недвижно смотрели возы с капустой. Верно там говорили, смеялись. Но отсюда все казалось немо.

Казмин дал ей поплакать. Потом погладил по руке, сказал:

— Мне кажется, я вас знаю.

Она подняла лицо.

Он глядел на нее внимательно, задумчиво.

— Я, должно быть, встречал вас. Вот такую, как сейчас. Я видел вас в облике разных других женщин, которые страдали.

— Ничего вы обо мне не знаете. Кто вам сказал? Думаете, откровенничать с вами буду?

Он ответил:

— Откровенностей не надо. А ведь жить нам с вами нужно? Или окошко отворить, да лбом о мостовую?

— Мало ли как, — сказала она, тихо: — можно и под поезд. Я об этом думала.

— Вздор, — заметил Казмин.

Она сидела молча, потом спросила:

— Вы думаете, меня бросил любимый человек?

Гнев задрожал в ее зеленоватых глазах.

— Я этого не говорил.

— Не говорил! Но думаете. Я его вовсе не люблю, — голос ее оборвался, слезы нависли на ресницах. — И никому нет до меня дела. Я сейчас никого не люблю.

«Кто она такая? — думал Казмин. — Странный человек!» Что-то ему в ней нравилось, быть может, отдаленным, туманным сходством с женой. «И жила она в четвертом этаже, где-нибудь в Москве, на Арбате, без хозяйства, без денег, с будущим гением, но счастливо, пока беда не грянула. А потом вдруг схватила свою шляпу, шарфик, мешочек, и летит сейчас, как пуля, и сама не знает куда».

— Я о вас придумал целую историю, — сказал Казмин, улыбаясь.

Елена не ответила. Она смотрела в сторону, где в клетке висела канарейка. Вдруг подозвала полового, указала на птичку.

— Сахару бы ей дать.

— Мы и так кормим, барышня. Видите, и просо у ней, и выпить есть, ежели пожелает.

— Нет, нет, надо сахару.

Елена настояла на своем. Поставила стул, сама влезла, и, отворив дверцу, посыпала сахарного песку. Птич-

ка сначала испугалась, забилась. Торговцы-татары, только что явившиеся, тянувшие чай с блюдечек, в углу, зашушукались. Когда Елена слезла, канарейка поняла, что дело не так плохо. Она стала пробовать. Ее настроение поднялось.

Елена же через минуту о ней забыла. Казмин видел, что она в таком состоянии, что сейчас может заговорить с татарами, или выйдет на базар, или еще что сделает — ненужное, но дающее выход нервам. Он взглянул на часы и расплатился. На предложение ехать Елена не возражала. Они вышли и наняли извозчика. В пролетке Елена заложила ногу на ногу, поболтала узеньким носком и разговорилась. Неожиданно для Казмина довольно связно рассказала, что едет в имение, к бабушке, просто гостить. Это имение близко было от города, куда он направлялся.

— Все степи там, очень просторно, — говорила Елена. — Буду верхом ездить. Или охотой заняться?

На вокзал явились за полчаса. И вместе двинулись дальше: к далеким, непредвиденным целям странствия.

III

В вагоне было просторно. Елена вертелась, ходила беспокойно по коридору, опять в своей шляпе, за все задевая. Она теперь знала, что едут оба в один город, и зачем едет Казмин. Но взор ее так же был рассеян и быстр, как и там, на улице, в трактире.

Наконец, она села. Из волос выскочила гребенка; золотое руно готово было рассыпаться. Она смотрела в окно, как-то по-детски, покачиваясь на диване, и чем дальше заходил поезд в степи, тем больше она слабела, никла. Казмин устроил ей подушку; она подобрала

стройные ножки. Сложилась вдвое, как ленивая женщина, и, высунув из-под пледа ботинок, задремала.

Казмин стал у окна. Опять шли поля, не совсем ему родные, все же наши, русские. Деревни были редки и огромны; церкви тяжеловаты, с серебристыми куполами. Пахать крестьяне выезжали таборами, за много верст; пахали еще сохами. Грачи ходили за ними. Далекие, ровные горизонты открывались, и казалось, туда, на восток, лежат все такие же необъятные земли: Скифия, кочевники, курганы в степях. Набегали с юга тучи, из-за Каспия; поезд погружался в полосу дождей; а потом вновь светило солнце, блестя в куполах церквей, в лужах на станциях. Открывались голубые дали; и все тот же русский пахарь в них ходил за древней сохой. Мужики сменялись мужиками, поля — дубовыми лесочками, оврагами; станции уходили назад с детишками, предлагавшими молоко. Не было этому конца-краю.

Глядя на заснувшую Елену — верно, и правда она много не спала перед тем — Казмин ощущал как бы сочувствие и симпатию. Ребяческое и вместе горькое ясно в ней чувствовалось. И ему казалось очень правильным, что они встретились.

К вечеру она проснулась, вздохнула и вытянулась. Потом защурилась.

— А? Приехали? Где?

Казмин сказал, что оставалось часа три.

Она села, поправила волосы; одна щека у ней была красная; вынув из мешочка шоколад, стала есть плитку и задумалась.

— Скучно к этой бабушке ехать.

Оказалось, телеграммы она не давала. Надо было ночевать в городе; и уж утром нанять лошадей.

— Как не хочется, — сказала она. — Ужасно не хочется. Ну, хорошо, а если этот ваш человек... умер уже? Ведь может быть?

— Может.

— Что же вы будете делать?

Казмин пожал плечами.

— Домой вернусь.

Она встала, стряхнула с юбки крошки шоколада.

— А если жив?

— Побуду с ним.

Она помолчала. Опять села.

— Хотите, я вам помогу? Тоже за ним... присмотрю?

Этого Казмин не ожидал. Трудно было ответить. Всего верней — просто это причуда. Он высказался неопределенно. Она, должно быть, поняла и смолкла. Может, была несколько задета. Стала холодней, отдаленней.

К одиннадцати поезд, перейдя два моста, стал замедлять ход, подымаясь в гору. Слева заблестели огоньки среди садов, шедших к реке. И через несколько минут показался вокзал.

Парный извозчик вез их по мучительным мостовым. Улица была в тополях. У клуба, нового, белого здания, сияло электричество. Кинематограф светился разноцветным бордюром, как в иллюминацию. Над головой очень темно-синее небо, с привычными звездами; лишь, кажется, они крупней. Сидя с примолкшей Еленой, держа путь в гостиницу, Казмин не без удивления всматривался в это небо, синюю бездну, чьи дуновения бросают от дней к дням, от чувств к чувствам, из краев в края. Он ощущал, что течение, подхватившее его с приездом Ахмакова, влечет теперь куда-то к новому, отменяя его деревенскую, угрюмо-прочную жизнь. Ку-

да — он не знал. Как не знала, верно, и сидевшая рядом Елена, почему она с ним едет, что будет завтра, и куда это клонится.

Гостиница оказалась на площади, против театра. Это было старинное, помещичье пристанище в дни съездов, выборов. Широкая лестница, под красным ковром, прямо шла во второй этаж; горели газовые рожки; кой-где позолота блестела на перилах.

Казмин взял номер с балконом на площадь. Елена рядом. Они простились. Казмин слышал, как за стеной она долго возилась, мылась, ходила взад и вперед. Минутами ему казалось, что она с собой разговаривает. Должно быть, Елена опять плохо спала. Он тоже долго не засыпал, и слышал ее вздохи; она отворяла окно, когда уже светало. Казмин в эту ночь много думал о жене, сыне... Эти мысли не были мучительны, скорее — кротки. Он заснул поздно, когда трубила уже в рог свой заря; сквозь мягкие занавеси нежное золото лилось в комнату.

Утром Елена решила, что надо ехать дальше. Заплатила за номер, послала за ямщиком.

Казмин с ней простился. Ему надо было к Ахмакову.

Ахмаков жил довольно далеко, на тихой улице с садами, особняками; здесь процветали *порядочные* люди. Улица упиралась в монастырь и кладбище при нем — место отдохновения тоже *приличных* людей. Дом Ахмакова велик, прочен и уныл; солидные фабриканты, его родители, строили его. За дубовой наружной дверью, в вестибюле, куда вело несколько ступенек, медведь стоял, среди небольших пальм; на блюде, у него в лапах, визитные карточки, покрытые пылью: верно, местные нотабли завозили их покойному Ахмакову, с тех пор и лежат. Зала с люстрой, с мебелью в чехлах, на стенах Клевер и Маковский; красная гостиная

в зеркалах, в ковре; с шелковой мебели соскальзываешь; под зеркалом бронзовые часы в стеклянном колпаке — часы скучных, богатых домов, бьющие покойно и негромко; именно их голос говорит здесь о ненужности, о суете.

Казмина ввела домоправительница, — седая, важная прислуга; было ясно, что она презирает всех, кто *непорядочен*. Ахмаков лежал на турецком диване, в кабинете — угловой комнате, полной света. Он был в халате; лицо его заметно опухло. Особенно напухли под глазами мешки. Он читал Ренана. Рядом, на стуле, стояла салицилка.

Увидев Казмина, Ахмаков поднял голову, минутное удивление мелькнуло в нем. Он засмеялся.

— А? Приехали? Приехал, деревенский житель, помещик?

Казмин пожал ему руку.

— Взял, и приехал.

— Отлично! Великолепно! А я, видите, валяюсь... От безделья читаю старого, умного француза, — он отбросил книжку. — Небесное мы переводим с ним на земное. И выходит недурно. Я вас уверяю. Просто, но недурно!

Потом Ахмаков заговорил о жарах, потом о докторе... Не совсем естественно хохотал. Стал острить, но без особого успеха, *о чудаках*, которые друг к другу ездят. Но было видно, что приезду Казмина рад.

— А представьте, — заговорил он, нервно-развязно, — сыну я написал — у меня сын студент, красавец, его адъютантом зовут, но ... не получал, ответа еще нет ... — Ахмаков смешался, и опять покраснел, как тогда, в усадьбе. — Верно, письма плохо идут. Он на кавказском побережье.

Помолчав, Казмин сказал:

— К вам собиралась заехать, даже помочь, если понадобится, одна экстравагантная, и не плохая дама. Но я отклонил.

Казмин рассказал ему все. Ахмаков задумался.

— Этот дом давно не видел молодой, милой женщины. Вы напрасно отклонили.

Он сразу же заявил, чтобы Казмин к нему перебирался. Это было естественно, Казмин не возражал. Он не долго у него сидел; надо было взять вещи, расплатиться в гостинице. Входя через полчаса в переднюю, он спросил Домну Степановну о здоровье Ахмакова. Подавая ему пальто, она сказала с важностью:

— Так я считаю, что плохо, барин. Пухнут они. И сердцу ходу нет. Как с Волги, из Саратова, приехали, так и слегли. Ездит к ним доктор, Петр Петрович, но пользы мало. Даром, что по красненькой платим.

Карие глаза Домны Степановны, некогда красивые, повлажнели.

— Я так думаю, не встать барину, — она вынула платочек и сморкнулась. — Я их мальчиком еще помню, и папаша с мамашей на моих глазах померли.

Казмин, вернувшись в гостиницу, к своему удивлению застал в номере, на балконе, Елену. Подперев руками голову, она смотрела вниз.

— Что такое? — спросил он. — Тут?

Елена обернулась.

— Ничего, что я к вам зашла?

— Почему вы не в деревне?

Она вошла в комнату.

— Ямщика привели, да он мне не понравился. И лошади плохие. Вдруг стало так ужасно скучно . . . Я его отпустила.

— Как же вы теперь?

— Я вашу комнату за собой оставила.

Казмин стал укладывать мелочи. Елена сидела и имела вид неприкаянной, какой-то неустроенной женщины. Казмин взглянул на нее, и улыбнулся, будто с сочувствием.

— Вы шальная головушка, — сказал он. — Очень неосновательное существо.

Елена положила руки на стол, голову набок на руки, и глядела на него зеленым, тусклым взором.

— Головушка, головушка . . . — она потрогала себе пальцем голову, — а куда мне ее девать?

Он вспомнил Ахмакова.

— Вы вчера предлагали помочь мне, насчет моего знакомого, — сказал Казмин. — Вот и преклоняйте.

Елена чуть смутилась.

— Ну, ведь вы тогда . . .

— А теперь говорю, поедемте. Вы можете развлечь его.

Она улыбнулась.

— Значит, роль диакониссы?

— Там видно будет.

Елена стала ходить из угла в угол, лениво пошаркивая ногами. Знойные квадраты лежали на полу от солнца. Она то в них входила, то выходила. Свет перебегал по ней волной. — Когда Казмин собрался, она, ничего не сказав, вышла с ним.

Ахмаков еще менее ждал ее, чем утром Казмина. Он приподнялся, оправился и улыбнулся.

— Очень добро с вашей стороны, — сказал он, — что зашли навестить. Будем знакомы.

— Я привез вам, — сказал Казмин почти весело, — блуждающую Елену. Ту прекрасную Елену, которую считали Премудростью в облике женщины. С ней

странствовал некогда Симон Волхв — хотя на него я ни мало не похож.

Ахмаков засмеялся, погладил рукой крепкую бороду.

— Классические реминисценции...

— Но теперь, — продолжал Казмин, — следовало бы нам несколько познакомиться. Алексей Кириллович знает, — обратился он к Елене, — что до третьего дня мы не имели с вами понятия друг о друге.

Елена обернулась к Ахмакову.

— Я должна развлечь вас рассказом о своей жизни?

— Это называется — краткие автобиографические сведения, — сказал Ахмаков.

Она потупилась.

— Очень уж краткие. Даже неинтересно.

Домна Степановна подала им чай с медом, с сухарями, в старинных чашечках на серебряном подносе. Елена была смутна, сдержанна. Они узнали все же ее фамилию, что она из Москвы, жена художника, учится петь: «но в Москву больше не вернется». Тут она омрачилась. Было ясно, что этот разговор неудачен.

Казмин обратился к ней:

— Наше знакомство, — сказал он, — было довольно неожиданно. Даже, отчасти, удивительно. Позвольте мне звать вас просто Еленой, как вы тогда сказали.

— Да, — ответила она, — зовите. Я и есть Елена, просто Елена.

Все помолчали, и задумались. Но с той минуты стало легче и свободнее. Точно в этом молчании, перейдя некоторую черту, они стали друг другу ближе, — трое случайно сошедшихся, трое съехавшихся из дальних мест.

После чая Казмин ушел во флигель устраиваться: Домна Степановна приготовила ему комнату. Елена

разговаривала с Ахмаковым, бродила по дому, разбирала в зале ноты.

Обедали они вместе. Вечером Елена пела. Потом уехала в гостиницу.

IV

Целый флигель, выходивший на улицу, с обстановкой средней руки, был отведен Казмину. Он занимал одну комнату; а по ряду других ходил, из конца в конец, куря и размышляя. Хотя до дому было несколько шагов, через чистый двор, с садом в глубине, конюшней, каретным, цепными псами — все как следует — у него стоял еще телефон. Ахмаков мог звонить по желанию.

Утром Казмин пил с ним кофе, потом уходил к себе, читал, занимался. Обедали тоже вместе — вернее, обедал Казмин, в столовой, за богатым прибором, видя через улицу трехоконный домик; Ахмаков же присутствовал в кресле, когда чувствовал себя лучше, или лежа на диване.

Эта жизнь не была Казмину неприятна. Быть может, ему даже нравилось — после сурового однообразия деревни попасть в неожиданные, столь непривычные условия. «Это все ничего, — говорил он себе, как бы не договаривая: — поживем увидим». В глубине души знал — что нечто именно надо договорить; но пока не трогал, давал жизни идти, как идет; смотрел и ждал. Гулял с Еленой, которая было уехала, но снова вернулась; беседовал с Ахмаковым. Ахмаков много читал; ему хотелось поговорить, и тут Казмин — вежливый благовоспитанный слушатель — был удобен. Ахмаков нападал, иронизировал, впадал иногда в пафос. Противоречил себе и раздражался. Но одна была нота в этих

разговорах, упорно звучавшая: будто бы нечто уязвляло Ахмакова в его прежней жизни. Многим он был недоволен. И охотно брал тон насмешки над собою и теми, кто ему был близок.

— Мы, ведь, знаете, — говорил он, слегка задыхаясь: — мы ведь мир к порядку вели, к гармонии, справедливости. Ну, общественники-то... И уж очень на себя полагались. Точно мы одни и значим. Точно жизнь со вчерашнего дня началась. Вот-с были предрассудки, и невежество, но пришел девятнадцатый век, мы пришли, все изменилось. Прогресс, цивилизация... И будто бы смерти даже нет.

Тут он начинал почти сердиться.

— Ах, самомнение! Самомнение маленьких человеков, вчера явившихся. Мы — разум, соль земли. А мир древен, очень стар, и очень умен, об этом забывают. Навязывают ему свою мудрость, полумудрость. А до настоящей мудрости добраться очень трудно. Но пусть и господин Ренан не думает, что все объяснил. Он ничего не объяснил.

— Может быть, — спросил Казмин, — вы хотите стать верующим?

— Нет, я так веровать, как настоящие... нет, отказать!

Он помотал головой. Он казался сейчас тем, кто и сам не знает, кто он, волнуется, и мечется без толку; хочет лишь найти решение, но не находит, напоминая тех падших ангелов, которые не были ни за Бога, ни за дьявола, и погибали в аду, томясь в тоске.

Он завозился на своем диване.

— И люди мало изменились. Так же от любви страдали, от гордости. Так же умирали. Все главное — то же... Слава, счастье... А ответа нет. Страшен мир-с... К нему с воскресной школой не доедешь.

— Я думаю, — сказал Казмин, — что и прекрасен так же, как и страшен.

Ахмаков махнул рукой.

— Прекрасен! Думаете, не было уже такой Елены, вот как ваша?

— Я же сказал тогда, — засмеялся Казмин, — что это древняя Елена. Но позвольте, к чему, в сущности, эти все туманы? Вы ведь политик. А политику все ясно должно быть, все понятно и доступно.

— М-м! Вы хотите, чтобы политик был ограниченным человеком?

Казмин погладил его по плечу.

— Значит, вы не совсем для своей роли назначены.

Ахмаков опять заволновался.

— Когда больше всего *делал,* верно, именно и был ограниченней. Все только делал, учреждал, заседал, и жизнь как-то пробежала. Ну, и мы тоже правы были, даже очень... но в определенной мере, лишь в определенной.

В это время к ним вошла Елена.

— А ведь мы считали, снова говорю, что одни мы и правы... Все же остальное — дрянь, ненужность. Разве б мы ее приняли? (Он указал на Елену). Она для избирательного права, или, там, кооперации, пальцем не шевельнула. Мы все других учили, а сами...

Елена подошла к нему и поправила одеяло.

— Как вы шумите, Алексей Кириллыч. Вредно вам. Вы не адвокат.

Ахмаков захохотал.

— Видите — женщина! Они редко в философию залетали. Милая моя! — он взял ее руку и поцеловал. — Вот такой рукой женщина ласкала, раздирала нам сердце нежностью, умилением. Перевязывала раны. И умирающим — закрывала глаза.

Ахмаков положил ее руку себе на лоб и замолк. Казалось, весь его пафос усмирился.

— Женщина, — сказал он тихо, — всегда была лучшей славой вселенной.

Елена усмехнулась.

— Знаем мы эту славу.

Но Ахмаков настаивал. На него Елена вообще действовала хорошо: ему нравилось, что она задумчива, не болтлива, с оттенком причудливости. И когда становилось очень плохо, и приходила Елена — как бы улыбка являлась в его глазах.

Кажется Ахмаков понимал теперь свою болезнь, в общем — на нее не роптал. Казмин заметил, что в этом он теперь иной, чем был в деревне.

Раз, в жаркий, послеполуденный час, когда от солнца в кабинете спустили с одной стороны шторы, Ахмаков и сам сказал ему об этом: он пил лежа чай, с вишневым вареньем; волосы его слиплись; землистое лицо слегка блестело.

— Я вас тогда ошарашил, на станции . . . помните, еще спросил, приедете ли ко мне? Вы очень удивились.

— Правда, — ответил Казмин.

— Ну, конечно. Знаете, мне тогда очень уж плохо было.

Казмин сказал, что видел это. Ахмаков поставил стакан на блюдечко, приподнялся на локте.

— Дело вот в чем: мы живем и, понятно, о смерти иногда думаем. Но смерть-с даже таким, как я, полуседым, кажется чем-то *вообще*, не моим лично. Ну, и приходит день, когда она становится уже *моей*. Замечаете? Я ее вдруг с собой увижу, рядом, — он задумался. — Это надо пережить. Мы, ведь, старики, на положительной закваске, наше поколение. Не мистики. Там, насчет будущей жизни, и тому подобного . . . — он махнул

рукой. — Впрочем, это грозный час, думаю, кто бы вы ни были. Ах, тут трудно. Это именно со мной *тогда* произошло. Точно я заболел душою. Я даже думал — может быть, с ума схожу? А всего-то и было, что болезнь свою почувствовал. Понял, что вот лечь придется, и не встанешь.

— Я, пожалуй, это видел, — сказал Казмин. — То есть видел ваше душевное состояние.

— И я знал, что видите. Я приехал сюда — все то же. Я и вызвал вас. Почему вас именно? — Ахмаков опять как-то смешался. — Ну, казалось мне, что вы скорей . . . я вспоминал, как вы тогда со мной были на балконе . . . и думал, приедете. Разумеется, это все странно вышло. Вы могли посмеяться, — он перевел дух, потом продолжал, как бы разгорячась. — А ведь сын не явился, адъютант! Что же, впрочем . . . Это старая история, испорченная жизнь, все искаженное. Не пожаловал. А когда он маленький был, я его знал? Он вдали рос. Я его любил. Но с его матерью мы разошлись, это —главное. Отсюда и остальное все.

Волнуясь, задыхаясь, он рассказал об этой искаженной жизни. Как разошелся с женой, много лет тому назад, она его возненавидела. В нелюбви воспитала сына. Сама умерла. Умирая, слово взяла, — к отцу он не вернется. Так у дяди мальчик и прожил.

— Видите, как в жизни бывает? Замечаете? Мы с ним видались, встречались, позже . . . — он красивый юноша — вместо ребенка, которого любил когда-то, — молодой человек. Что же-с, надо сказать: мне чужой. И я ему . . . одно название — отец.

Он помолчал.

— Все же и его мне захотелось видеть. Он, ведь, когда крошечный был, у меня на руках засыпал. Я ему, да . . . помурлыкаю, он и заснет.

Ахмаков сел.

— Но вышло так, что у меня оказались вы и эта... Елена. Очень хорошо, но неожиданно. Впрочем, теперь так стало, что все *ожиданно*, приемлемо. Я теперь уж все знаю (он сказал устало). Приготовился, что ли, привык. Вон, не угодно ли?

Он протянул руку к окну. Казмин взглянул.

Мимо дома тянулись похороны. Шли факельщики, лошади показались в траурных попонах, белый с черным катафалк. На нем, в гробу под серебряными венками, лежала старушка. Профиль ее возвышался над ватой и слегка покачивался. Все лицо, с тонким носом, воскового цвета, с темными глазными впадинами, было видно отчетливо.

— Здесь монастырь недалеко и кладбище, — сказал Ахмаков: — я немало этих зрелищ вижу. И сам так же поеду. Но это ничего. Это только театральный занавес, в конце пьесы.

Казмин не ответил. Ему казалось, что и это не совсем верно: вряд ли так уж просто, вряд ли всего занавес.

В это время на паре в дышло подъехал доктор — немолодой, полный, ленивый человек, в нечистом сюртуке, старорусского вида. Он заведывал городской больницей; бывал у Ахмакова часто, имел вид вялый, и постоянно убеждал, что опасности нет.

Начался осмотр, Казмин вышел в сад, в несколько странном состоянии. Что-то его задело в рассказе Ахмакова о сыне. Он прошелся по кленовой аллейке. За каменной стеной подымались елочки соседнего сада. Голуби кружили над голубятней. Глухо лаял пес.

Казмин сел на скамью, голову положил на ее спинку. Трудно было дышать. Острая горечь, жарче обычной, наполняла сердце. Почему он тут сидит, около

умирающего Ахмакова? Что ему в этом хлеботорговом городе, в этих жарах, голубях, Елене, когда он знает, что в Петербурге его жена, как бы ни притворялся? Все эти метанья, никому ненужные разъезды . . . Деревенские работы, хозяйство. Обман! и очень жалкий. «Может быть. Но куда же деваться?» Да, он знал, что жена с другим ушла, что вернуться некуда, и Никашу взять некуда. Он это и всегда знал: но сейчас ощутил с той смертельной неотвратимостью, когда вместо жара тонкий, ледяной озноб проходит по телу; и показалось, что вместе со скамейкой беззвучно проваливается он вниз, как во сне.

Вдруг он услышал шаги. Поднял голову — Елена, как всегда, в огромной, черной шляпе, с выбившейся прядью волос. Мягкий рефлекс ложился на лицо. Она положила ему на плечо руку.

— Ну, — сказала она, чуть улыбнувшись, — ну? что?

Он, должно быть, выглядел дурно. Что-то прошло в ее лице. Она спросила серьезней:

— Что же вы тут сидите, правда?

Он, наконец, с ней поздоровался.

— Так просто . . . и сижу, — сказал Казмин.

Елена села рядом.

— У вас мутные какие-то глаза. Ужасно замученные глаза.

Казмин пожал плечами.

— Что ж теперь делать!

Она серьезно в него всматривалась.

— А, какой вы . . . Я таким вас еще не видала.

Казмин встал, расправился, закурил; ему хотелось согнать с себя то, в чем она его застала.

— Вы были у Алексея Кириллыча?

— Его мучить сегодня будут.

— Как мучить?

— Ах, ванны опять...

Этим хотела она сказать, что опять доктор прописал ему горячую воздушную ванну, чтобы вызвать испарину. Испарины бывало мало. Но страдал он — его нагревали градусов до пятидесяти — жестоко. Он едва это выносил и, обычно, слабел потом. Называл он это поджариванием святого Лаврентия — st. Laurent sur le gril de fer, как он выражался.

— Я уйду, — сказал Казмин. — Не хочу тут сидеть, пока будут это проделывать.

Они вышли с Еленой на улицу. У Казмина было чувство, что куда-то следует уйти, что-то сделать, что-то изменить.

Слегка вечерело. Жар спадал. Деревья были запылены, небо довольно странно: светило солнце, но не ярко; какая-то мгла сгущалась в воздухе, — туманила его. Эта серость не предвещала хорошего.

Они направились к окраине, через старинный, знаменитый монастырь с высоченной колокольней; на монастырском дворе росли клены; под окнами келий — гряды георгин. Встретившись в выходных воротах с ярко-рыжим монахом, который горячо доказывал что-то другому, толстому, в засаленной рясе, они вышли на лужайку.

Тут началась настоящая провинция, те отчасти легендарные места, где вместо мостовых — травка, вместо тротуаров — тропинки; гуляют коровы, домишки одноэтажны, с цветными ставнями, тонут в садах. Тут остались еще каменные домики Петровского времени, и кажется, и люди живут не близкой эпохи.

Проулком, мимо дощатых заборов, со скамеечками у ворот, где сидят старухи, — вышли они к обрыву. Отсюда видна река, направо и налево по горе пестрые ла-

чуги, с маленькими, будто расчерченными двориками, с тряпьем, юбками на заборах, детишками, собаками — всем тем, что есть живописного в русском или итальянском городе. За рекой же, со старинным зданием яхтклуба, далекие поля, луга, на горизонте — катящийся к мосту поезд.

Елена села на травку, сбегавшую вниз. Там, у забора с мусором, дети играли в мяч.

— Хорошо здесь, — сказал она: — далеко видно, очень покойно.

— Потому, что тут место простое.

Елена похлопала хворостинкой.

— Простое, простое . . . Ну, конечно, — она взглянула налево, под гору, где баба загоняла корову, — здесь не такие живут, как мы с вами.

— Их жизнь, — сказал Казмин, — очень ясна, очень неопровержима. Все на своем месте, и никуда не сдвинется. — Труд, маленькие заботы, горести, быт. Все это слито в одну прочную картину — слито, если хотите, и с теми далями, с нехитрым пейзажем, со всей нашей нехитрой, простонародной стариной.

— Хорошо. А кто же мы с вами? — спросила Елена. — Мы — чудны́е, чужие? Что нам делать?

Казмин помолчал.

— Мы, может быть, странники. И возможно, мы узнаем, что нам делать.

— Мне недавно старушка одна сказала, из простых: «Ты бы, голубушка, к Тихону сходила, к святителю». Это, значит, к Тихону Задонскому.

Казмин лежал рядом, на травке. Белый с желтыми пятнами теленок пасся тут же, привязанный к колышку. Казмину представилось, как такая вот Елена, в огромной своей шляпе, с духами, в модном платье, вдруг

отправится с бабами в монастырь. Он слегка улыбнулся.

— Это вы надо мной, я вижу, — сказала Елена. — Хотите, я сейчас разуюсь, шляпу возьму под мышку, и босой домой вернусь?

Казмин стал ее успокаивать.

— Да, а то ведь меня легко сбить, — говорила Елена. — Я вообще-то вас боялась немного. Особенно вначале.

Казмин удивился.

— Почему боялись?

— Так, очень вы серьезный господин. Господин Казмин... Бритый. Всегда аккуратный.

Казмин пожал плечами.

— Такой уж вырос.

Она внимательно на него посмотрела.

— А сегодня только мне показалось, что и вы... — она покачала головой. — И вы не очень-то основательный...

Казмин сел, снял шляпу и поцеловал ей руку.

— Пора, мой друг, — сказал он. — Вам пора заметить, что и я человек... не изваяние.

Они сидели некоторое время молча. Все так же громадна, беззвучна была равнина перед ними, — с лугами, полями, курганами, затерянными в степях, с мужицкими селами, бабами, с древним монастырем, с Доном, видавшим тысячелетия. Понемногу гуще стало на небе: померкло солнце в сизых пеленах. Сзади, за городом, накоплялись тучи, и молния вспыхивала. Пронеслась куда-то стая голубей, кидаясь из стороны в сторону. На дали, с небом еще светлым, лег мрачный отсвет.

Когда они возвращались назад, ветер уже налетал кусками; туча хмуро синела; на ней особенно белы ка-

зались колокольни; пыль клубилась вихрем. Деревья гнулись. Листья летели.

Проводив Елену, Казмин вернулся во флигель с первыми каплями дождя. К Ахмакову ему не хотелось. Он спросил по-телефону, как дела. Домна Степановна ответила, что барин очень слаб после ванны и почти не говорит.

Гроза рухнула с бешенством, — точно очень уж много набрала природа сил. От грома дребезжали подвески на люстре, дождь гудел сплошной массой, и улица, во вспышках белых и зеленых молний, казалась ручьем. Казмин был очень возбужден. Неопределенное волнение давило его. Пробовал он читать, смотреть на ливень, свистать марши, все не выходило. Пообедав один, в большом доме, он опять к себе вернулся; Ахмаков дремал. Стало почти темно. Он не освещал комнат, зажег лишь электричество в прихожей. Стеклянной стенкой отделялась прихожая от залы; свет падал на пол, вырисовывая узоры растений, стоявших тут в кадках. Казмин ходил взад и вперед по трем комнатам, к этому освещенному пятну. Раза два звонил в кухне колокольчик: это — шутки прохожих, провинциальное развлечение.

Но вот в одиннадцать, когда гроза почти стихла, позвонили, как следует — он сразу это почувствовал: некто, кому действительно к нему надо. Казмин пошел отворять. От подъезда отъезжал лихач с поднятым верхом. Раскрыв зонтик, стояла у дверей Елена, наклонив немного вперед голову. Что-то зябкое, беззащитное было в ней.

— Можно к вам? — спросила она. — Вы не спите?

Казмин сказал, что можно, и закрыл дверь. Его удивило, что она вся мокрая. Елена усмехнулась.

— Не одобряете! Просто мне очень скучно, я ходила по улицам. А потом устала. Извозчика наняла.

Она равнодушно сняла шляпу, с которой падали капли. Перчатки бросила в подзеркальник.

Казмин сказал, что единственно, что может ей предложить — стакан горячего чаю. Для этого пришлось взбудить мальчишку, спавшего у него в кухне. Тот поставил самовар.

Елене понравилось, что в гостиной свет падает сквозь стекла, и что странный такой полумрак. Казмин дал ей плед, она сняла ботинки, промокшие чулки и просила просушить. Он снес их в кухню, там мальчишка уложил все на плиту. Казмин вернулся, улыбаясь; странно ему было, что вот он занимается мелкими хозяйственными делами чужой, но отчасти — и не чужой Елены.

Он опять ходил из угла в угол и курил. Елена тихо лежала под пледом. Как будто она согрелась там и задремала. Потом потянулась и сказала:

— Я кажусь вам приблудной собачонкой, которая зря шляется? От хозяев отбилась, и лезет.

Казмин сел к ней на диван.

— Я этого не думал, — сказал он. — Никогда я так не думал о вас.

Он дал ей, наконец, чаю: в шкафу нашлось немного рому. Елена выпила и подбодрилась. Она теплее закуталась в плед и сказала, что теперь хоть чуточку похожа на человека. Потом задремала, как следует. Казмин по-прежнему сидел на диване, откинувшись на спинку; он пил чай. Спать не хотелось. За спиной он чувствовал теплое, тонкое тело Елены. Тишина, полночный час, ровный, но сильный шум дождя погружали его в удивительное, сладостное оцепенение. Точно он отделялся от момента; дух его ровно плавал над жизнью,

как над смутной бездной, и в эти минуты яснее предстало ему собственное прежнее существование. Спокойная, чистая юность; работа; любовь, занявшая все сердце; он оглянулся на спавшую Елену. Ее близость вызвала в нем нежность, может быть, будя воспоминание о другой, уже давно невиданной. «Я мало знал женщин, — подумал он не без гордости, — и не жалею об этом. Всю мою жизнь взяла *Она*. Я ее люблю. И остальное мне не нужно». Он вдруг засмеялся в темноте. Слезы показались на его глазах. Он взял Елену за руку.

— Елена, слушайте, Елена! — сказал он громко. — Проснитесь!

Он даже несколько испугал ее. Но это не показалось ему дурным. Он был взволнован и растроган.

— Как я заснула! Фу! Где мои чулки? — спросила Елена, и уже села решительно.

— Это ничего, чулки сейчас мы принесем... — Да, вот что, голубчик, дело-то в том, что я уезжаю отсюда, в Петербург, к жене.

Елена удивилась.

— К какой жене?

— Ах, ну к своей собственной...

Путаясь, волнуясь, стал он рассказывать. Правда, жена его ушла, и даже говорит, что кого-то там полюбила. Но ведь это ничего не значит? Наверно, просто увлеклась, ведь у них же в прошлом целая жизнь общая, сын... Неужели ж совсем она его забыла? А и если даже так, все равно должен он в Петербурге жить, где-нибудь около... Ведь она-то? Сын-то?

Елена положила голову на руки и засмеялась.

— Вот и серьезный, важный господин Казмин, который все научал меня правильности. А еще я говорила — как он ловко бреется.

— При чем тут бритье?

— Ну, вообще, я вас боялась. Считала благоустроенным.

Елена заплакала, обняла его голову, поцеловала в лоб.

— Головушка вы моя горькая! — сказала она сквозь слезы. — О, Господи!

Казмин был смущен, взволнован, удивлен. Все путалось у него в голове. Правда, мало был он похож в эти минуты на прежнего Казмина.

— Ваши слезы . . . — говорил он Елене, — и вообще все . . . вся вы . . . мне страшно дорого . . . но неужели то, что я сказал . . . так бессмысленно?

Елена плакала.

— Ах, не знаю! Может быть вовсе не бессмысленно, но как же все тяжело . . . Господи, спаси и сохрани . . . — она вдруг закрестилась по-детски, и зашептала молитву.

Успокоившись немного, взяла его за обе руки.

— Милый мой, мне вы ближе стали, гораздо ближе. Может быть, мы не зря тогда встретились . . . Знаете, я тогда . . . вероятно, что я тогда не осталась бы . . . Но вышло так странно, я попала к этому Ахмакову. В его доме сижу. Диаконисса!

— Вы умирать не должны, — сказал Казмин. — Нет!

Она сидела молча.

— Вы сказали нынче: странники мы. Пожалуй. Все за судьбой идем. Вы, я . . . и Алексей Кириллыч этот. Мне его жаль.

— Может быть, — сказал Казмин, — ему всех трудней.

— Он очень над собой смеется. Зачем это?

— Не знаю. Но и он о себе ничего не знает.

Елена встала.

— Нет, я знать хочу. О себе я должна знать.

В это время позвонил телефон. Казмин встал, подошел к аппарату. Звонила Домна Степановна. Ахмакову стало очень плохо, она просила зайти.

— Ах, сейчас, сейчас . . . — ответил Казмин. — Сию минуту.

Он зачем-то оправил галстук, захватил папирос. Елена отерла стезы. Накинув верхнее платье, вышли они во двор. Было темно, дождь шел, не переставая. Пахло влагой и тополями. Казмин держал Елену под руку, шел осторожней, чтобы не попасть в лужу. Пес залаял из будки. Елена прижалась к спутнику.

Они вошли с черного хода, через лакейскую, где стояла на столе свеча; за перегородкой кто-то храпел; их встретила Домна Степановна с побелевшим, как бы опухшим лицом.

— Очень задыхаются, — сказала она Казмину.

У Ахмакова было светло. Он сидел на постели, слегка покачиваясь, держа голову в руках.

— Плохо, судари мои, совсем плохо. Ie vieux voltairien va mourir. Пожалуйста, потрите мне спину.

Его просьбу исполнили. Худая, полумертвая спина казалась Казмину страшной. И все в комнате, ярко и недвижно освещенной электричеством, со слегка затхлым, сладковатым запахом, было безнадежно. Казмин взглянул на Елену. Ее лицо как будто замирало, вяло в этом гробе.

— Когда вы трете, дорогой, мне легче дышать, — сказал глухо Ахмаков. — И вообще, при вас все же лучше. Хотя я хорошо знаю, что зрелище умирания . . .

Он замолчал и перевел дух.

— Мне бы хотелось, чтобы на сердце были те мир и ясность, которые сулит христианство. Но этого нет. A bas les prêtres. Я не хочу кощунствовать, но не думай-

те, друг мой, что смерть есть поэтический венок, который возлагают нам... в вознаграждение всей жизни. Une couronne de lauriers. Сказки!

— Прочтите, — сказала Елена, — «Богородицу». Я всегда читаю, когда очень плохо.

Ахмаков взглянул на нее тусклым взором...

— Женщина! Милая! Все та же, во все века. Нет-с, мне уж поздно. Какой в колыбельку, такой и в могилку.

Казмина сменила Елена. Как будто от ее массажа Ахмакову стало вправду — легче. Он лучше дышал. Но слабел очень. Опять пришлось лечь.

Ни Казмин, ни Елена не уходили от него в ту ночь. Когда Елена с ним сидела, Казмин выходил в гостиную, дремал там на диванчике, слушая тоненький бой часов под стеклянным колпаком, — тех часов, что отмеряли время в этом скучном доме, и теперь добивали последние минуты Ахмакову.

Перед утром он забылся. Не то спал, не то бредил; увидев Казмина, сказал вдруг:

— Человечество переживает величайшие страдания, — потом засмеялся и перевернулся.

Казмин отошел от него, прислонился к портьере; от усталости или волнения, у него закружилась голова. Он прошел в залу, отворил окно, и опять лег. Свежий воздух наплывал теперь к нему. Дышать было свободнее. Он лежал молчаливо, ему казалось — что он один на дне какого-то глубокого колодца. Но — и ничего, пусть так. Это его даже успокаивало. Потом вдруг пережил он странное чувство: будто и он, и Елена, и Ахмаков, все уже *было;* и *уже* он терял любовь, и стремился к ней; и Елена бесконечно давно страдала от измены; Ахмаков целые века пытался что-то найти, барахтался, подымался и падал. Но непрестанно гонит их

вперед воля Великого Владыки. Тысячи раз придут они, тысячи раз уйдут.

В пять часов стало светать. Дождь перестал. Казмин и Елена сидели в зале, на подоконнике, растворив окно на улицу; было тепло; иногда капля залетала на усталый лоб, на завиток волос Елены, украшая ее бриллиантом. Бледно-зеленоватая зарница вспыхивала. Елена говорила:

— Я пойду к Тихону Задонскому. Полями теми, что вчера мы видели с обрыва. Далекими полями. Буду с бабами идти. Там помолюсь за себя, за вас, за Алексея Кириллыча и всех христиан. Может быть, помолюсь, поплачу — и больше пойму, что мне делать, как жить.

Казмин слушал и кивал головой. Из садов улицы плыло к ним благоухание утра, и их состояние было не то бодрствованием, не то сном.

В кабинете же в это время лежал на спине Ахмаков, с аккуратно скрещенными на груди руками. Лишь отчасти напоминал он Ахмакова прежнего: нечеловеческое спокойствие и мир выражали его черты, как будто теперь, выйдя на величайший простор, он постиг тайны вечности, закрытые для него на земле.

V

Прошло несколько дней. Ахмакова похоронили в том самом монастыре, куда мимо его дома возили и других покойников. В газетах, местной и столичных, сообщалось о его смерти. Провожали его представители разных обществ, партий. Любители речей называли его на кладбище светлой личностью и желали, чтобы земля была ему легка. Некролог начинался так: «Ушел

Алексей Кириллович. С трудом верится . . .» — и далее, все как следует. Так что можно было сказать, что если при жизни Ахмаков принадлежал к *порядочным и честным* людям, то смерть его прошла не менее солидно: со всей обстановкой хороших смертей.

Из лиц мало кому известных, за его катафалком шли Казмин и Елена. Был такой же жаркий день, как тогда, когда мимо дома везли старушку. Так же лицо Ахмакова было открыто, глядело кверху — лишь венков было больше. Елена надела креп. Казмин был молчалив, шел прямо и суховато. Обоим этот человек был в сущности мало знаком; но обоих судьба поставила с ним в странно-близкие отношения.

Как и предполагала, на другой день, утром, одевшись попроще, Елена ушла с партией странниц, где были знакомые из имения бабушки. Шли они к Тихону Задонскому.

Елена простилась с ним просто, по-дружески, но сдержанно. Оба знали, что у каждого свой путь, и если они встретились, то лишь на минутку, чтобы разойтись навсегда. Но как товарищи по общему делу, пожелали друг другу добра.

В тот же день, вечером, Казмин ехал на вокзал. Он был теперь опять спокойным, бритым Казминым, которого побаивалась Елена. В кармане у него лежал билет в Петербург. Он не знал, что ждет его там — поворот к лучшему, горе или отчаяние, но было ясно, что именно так следует поступить. Другого пути нет, а этот прям — как и всегда бывало в его жизни.

Вечер был ясный, прохладный. После дождей особенно ярок бархат ночного неба. Казмин закинул назад голову, — и тогда стало казаться, что не он едет, а плывут мимо него дома, деревья, улицы. Над ними же,

как удивительные светочи, горят вечные созвездия. Он вспомнил, как въезжал сюда две недели назад при этих же звездах. Его мысль перешла на Ахмакова. «Вот, — подумал он, — и vieux voltairien нашел свое последнее пристанище, и уж не будет кипятиться».

Навстречу ему, невысоко над горизонтом, сияла Капелла, переливаясь огнями; Арктур горел желтовато; и сам могучий Юпитер, страж неба, светил полно, божественно.

Казмин очнулся. Они проезжали каким-то плацом, мимо кадетских корпусов, по аллее тополей. Близок уже был вокзал. Предстояло идти в еще далекое для него странствие, в бурях земных противоречий, под блеском звезд, казавшихся недвижными, как вечность.

Притыкино, 1916 г.

—o—

ЛЮДИ БОЖИЕ

1. ДОМАШНИЙ ЛАР

Он родился в усадьбе, зимой, третьим сыном черной кухарки. Мать была ему не очень рада, и не очень не рада. Как и все в деревне, должен был он произрастать естественно, а там — что Бог пошлет. Он и произрастал. Сколько нужно — кричал; сколько нужно — сосал; и думалось, во всем пойдет по стопам братьев — бойких и живых ребят.

Но на третьем году выяснилось, что он не ходит; минуло четыре, пять, он не говорил, лишь начал ползать, выгибая дугой ноги. Глаз его смотрел вбок — не плохой, карий глаз, но выдавал вырождение. Мать тужила. Было жаль, что из него не выйдет работника, как из Сережи, или Алексея. но по русско-бабьей склонности, любила она его больше, чем других, *жалела*. Старшие росли быстро. Они вели жизнь деревенских ребят, зимой гоняли на салазках, летом ловили в речке раков, мучили птиц, кошек. Младший же сидел на печке, сиднем, как Илья Муромец. Он почти не рос. Время неслось над ним незаметно. Весь его мир — печка, мамка, да несколько звуков, неизвестно что значивших. Но это же время, сделавшее братьев крепкими

мальчуганами, вывело и его на улицу. Сначала робко, боясь упасть, ковылял он в братниных валенках; потом окреп, стал ходить, даже бегать. Гимназический картуз явился на голове, взор повеселел; к семи годам с победным криком мог он носиться по усадьбе, волоча рогожу, дохлую ворону — босой, в коротких штаниках, рваной кацавейке; она пестрела красными дырами.

К нему привыкли, даже полюбили. Нравом он смирен, оживлен, хотя обидчив. Иногда мать подшлепнет его, он рыдает; но тогда белая кухарка даст ситного — горе забыто. Он бегает целый день, летом. На всех путях в усадьбе можно его встретить. Он говорит мужчинам «папа», снимает картуз; женщины все «мама». У него есть свой язык, полуптичий, полузвериный; верно, самые первые люди на земле так говорили. Когда слов не хватает — изобразит жестом, действием: присядет, пробежит, помычит по-коровьи, или побрешет. Замечательно умеет куковать. Лучше всех понимают его дети. Он рыцарь барской девочки. Ей четыре года, ему восемь. Ростом они одинаковы; говорит она бойко, о чем угодно; он — лишь с ней. Она понимает такие фразы:

Он (указывая на отца): «Бахи — махи, лу (подымается на цыпочках, к небу), э-э».

Значит: «пусть папа влезет на дерево, пилить ветки». Он ее неизменный спутник, кавалер, телохранитель; он рвет ей цветы, собирает грибы; когда нужно, целомудренно отвертывается, весело и покорно возит ее в колясочке, работы деда; отгоняет гусей, зовет маму, все свершает ясно и толково, что она ни скажет. И одна у него скромная дневная радость: когда на балконе пьют чай, он является, снимает гимназический картуз и тихо говорит: «хай». Ему дают большую чашку жиденького чая; он прилаживается на лестнице; голова

его коротко острижена, легкими вавилонами; в руке он держит блюдце, дует, закусывает кусочком сахара, и блаженство можно прочесть на его лице. Выпив, подает чашку снова; ему опять наливают, как прочно заведено — точно маленькому домашнему божку, нехитрому лару древних. Он вышивает четыре, пять чашек, и когда больше не хочет, положит чашку на-бок, как принято в людской. Он уйдет. Но куда бы не выйти, всюду его встретишь; как настоящий обладатель усадьбы, он кружит по ней, иногда дразнит индюков, или вытаскивает гвозди; и будто бы он ничего не делает, но он живет, он часть общей жизни; он скажет вам что-нибудь на своем языке, засмеется и убежит, повинуясь собственным настроениям. Он веселится, если сказать ему на его же наречии: «бахи-баха», — слова неизвестные, загадочные.

И иногда, в дни тяжкие, когда все взрослые, да и весь, кажется, мир подавлен — бывает радостно видеть, как маленький человек беззаботен и счастлив куском пирога, булкой, конфеткой; легче сердцу, когда видишь, как ведет он домой девочку, как хохочет, везя ее в коляске. И верно, правы были древние, обожествившие мелкие существа домашней жизни, далекой от ужаса мирового; смутно чувствуем это мы всегда; потому и не жаль лишнего пряника — как не жалели его две тысячи лет назад.

Что ждет его впереди? Будет ли он деревенским дурачком, юродивым, усердным молельщиком в церкви, раньше всех являющимся? Или просто пахарем родных нив? Может быть — пильщиком, плотником в артели, работящим и толковым, но — немым, посмешищем девок, неудачником в романах?

Время, медленно ведущее его, покажет. А пока — он наш маленький домашний лар, покровитель и охрани-

тель мирной жизни. Как вчера — нынче явится он за возлиянием, и завтра. Нынче, завтра и послезавтра — его получит.

2. РЕСПУБЛИКАНЕЦ КИМКА

I

Не надо думать, что его имя — Аким. Он в действительности Федор Акимыч. Фамилии же, верно, сам не знает. Для простоты зовут его — Кимыч. Еще короче — Кимка.

II

Он ходит в чужой огромной каскетке, в чьем-то пальто, подпоясавшись ремешком. На кривых ногах рваные сапоги. Лицом похож на первобытного истукана, с едва намеченными глазами. Борода его густа и спутана. Из нее торчат соломинки, мякина; на ушах же, беспощадно оттопыренных каскеткой, ссохлась корка грязи.

Некогда был он молод.

III

Когда мы ехали с ним со станции, в телеге, по выбоинам осенней дороги, я сказал:

— Ким, ты знаешь, ведь у нас теперь республика.

Он дернул вожжами и обернулся, ухмыляясь.

— Республика!

Я объяснил, что это значит.

— Ким, — прибавил я, — пойми, ты ведь теперь республиканец.

Он захохотал. Слово ему понравилось.

— Гы-гы-гы . . . Республиканец! Скажешь тоже! Уж ты скажешь! Республиканец. Гы-гы-гы . . .

Телегу трясло. На одной ямке я вывалился, потом опять сел. Так совершали мы скромный путь. Безмерные поля были вокруг, попадались лесочки, запущенные, как Кимкина борода, разлатые деревни, телята, ребятишки, мужики. Издревле прелестный воздух осени. Древне-родная Россия.

Здравствуйте, Кимки! Здравствуйте, граждане-республиканцы! Сколько вас?

Кимка курит едкую цыгарку. Иногда улыбается. Верно, вспоминает смешное слово.

IV

Он работник в имении. Его дело нехитрое: привезти воды в бочке, покормить лошадей, напоить их. Съездить за керосином. Пропахать картошку, выбросить из парника навоз. Все это делает он медленно, как настоящий русский. Почешется, покурит, просто поглазеет по сторонам. Австриец Иохим, работающий с ним вместе, длинноногий и длиннорукий, похожий на игрушечного паяца, презирает Кимаша.

— Кима́ш ist dumm, — говорит он. — Не умеет работать. Только ругается. Er sagt immer, твою мать, твою мать.

Кимка, действительно, сквернослов. Речь обычная ему не дается. Трудно этим тяжелым мозгам, нескладному языку произнести что-нибудь связное. Слова вылетают, отдельные, хрипло, грубо.

— Напоить . . . лошадь-то напоить . . . Ишь чего . . . Я сам знаю, что напоить.

Но ругается он хорошо. Это удобно тем, что к каждому слову можно прибавить знаменитое упоминание о матери, троицу, на которой стоит русская земля. И будет отлично.

Дни Кима проходят в курении, вялой работе, еде, брани. Он с чужой стороны. У него нет здесь близких, да и вообще, кажется, их нет. В том же однообразии, как у Любезного, которого не всегда он поит, или Аспазии, чьих щенят равнодушно закидывает, проходят его годы.

V

Он сварлив, раздражителен. С ним трудно. Из-за пустяков он вспыхивает, краснеет и дико ругается. Иногда же бранится механически, по давней привычке. Во хмелю страшен и жалок. Думаю, что он, опившись спиртом, может кончить дни под забором.

Вне этих дел он угрюм, равнодушен. Хочется верить, что по природе он не зол.

VI

Если сказать: «душа Кимки», то многие, знающие его, улыбнутся.

— Какая же у Кимки душа? Тогда и у Трезора душа, и у серого придорожного валуна?

Все-таки это не верно.

У него есть улыбка, а, следовательно, и душа.

Иногда маленькая барская девочка, встречая его говорит:

— Кимка, у тебя на ногах мох!

Он опускает голову и смотрит.

— Не кланяйся, ведь я не Бог!

И тогда он смеется.

— Ишь ты . . . все шутишь . . . ишь ты шутница . . .

Лицо его расползается, — доброе, человеческое в нем видно. Да, и он тоже ведь был ребенком, может быть, даже милым! А теперь мы радуемся, что в нашей республике вырос республиканец, умеющий хоть ответить улыбкой на шутку ребенка.

Как ни удивительно, он умеет читать. Зимними вечерами читает кухарке, вслух, непонятные книги. Есть известие, что так прочел он Герберта Спенсера, доставшегося на цыгарки. Потом его выкурил.

VII

Некогда он был женат. На вопрос о жене отвечает неохотно.

— Ну, был и был . . . женился. Ну, ушла жена-то, чего спрашиваешь? А то, жена . . . жена . . . Сбеглá. Вот тебе и жена.

Есть еще более удивительный слух, что уже теперь, в преклонных годах, у него был роман с девушкой. Но и она «сбеглá».

VIII

Если не верить в Бога, то надо признать, что все его существо, вся тусклая и смутная жизнь, похожая на прозябание животных, развевается бесследным облаком. Жил он или не жил, нельзя будет даже сказать.

Если же верить, то, быть может, пред Его судом гражданин Кимка окажется лучше, чем пред нашим. Быть может, за то, что ему дан скудный ум, жалкая внешность, дикая речь; за то, что столь мало света видел он в жизни; за то, что его не любили и смеялись над ним, — ему будут прощены ругательства. И если верно, что последние да будут первыми, то Кимка, имя

коему — тысячи, не ведающий о себе республиканец, будет и вправду допущен в ограду и сделан гражданином иной, не нашей республики.

3. СЕРЕЖА

I

Василиса Петровна вздохнула и вытащила из комода, на котором в рамке из ракушек стояла фотография и лежало несколько бумажных роз — кусочек мыла, синевато-мраморного цвета.

— И уж так нечист, так нечист, что просто душенька моя не глядела бы.

Василиса Петровна, немолодая, мучительно-хозяйственная женщина, жена богатого хуторянина, жившего на семидесяти десятинах помещиком, была жалостлива и вообще склонна к слезам. Горько могла рыдать о пропавшей индюшке, о неудавшемся пироге. Десятки маленьких огорчений терзали ее. Ее лицо, некогда красивое, выражало теперь сплошной вздох. Глаза, как будто бы, всегда заплаканы.

— И по-одумать, — говорила она, напирая на о, по-ярославски, — по-одумать, где мыться-то выдумал, на галдарейке. Мне, го-оворит, здесь свету больше, и вид хо-ороший! О, Господи Батюшка, Царица Небесная!

Она вышла на стеклянную галерейку дома, залитую весенним светом. Посреди стояла лохань, рядом два ведра с холодной и горячей водой. Легкий пар шел от кипятка.

Человек неопределенных лет, в небольшом капоре, кацавейке, женской юбке и мужских сапогах стоял около ведер, пробуя воду пальцем. Маленькие его глаза

оживленно бегали; по небритым щекам росла желтоватая щетинка.

— Вот и благодарен, очень вам благодарен, Василиса Петровна, —говорил он быстро и вежливо, — я теперь отлично вымоюсь, а то меня очень вошки заели, так кусаются... Тут очень светло, и вид хороший со второго этажа, сад, зеленя, лесочек... совсем по-благородному.

Сережа снял кацавейку и почесался.

— Довершите вашу любезность, — сказал он: — когда я буду мыться, потрите мне спинку. А то, знаете ли, трудно самому, очень трудно.

— Ну и скажешь, правда, ну и такое скажешь... — Василиса Петровна опять расстроилась. — Как же я тебе спину буду тереть, когда я женщина, не какая-нибудь... Мне ведь неудобно, ты мужчина.

— Что вы, что вы, я бы никогда не осмелился... Но чего же меня стесняться? Я сам женщина... вы же знаете.

— О-ох, блаженный ты, блаженный... На вот тебе мыла, пришлю мальчишку, он тебе поможет.

Сережа засмеялся мелким смешком, и по-женски закрыл руками грудь.

— Только маленького, а то взрослого я постыжусь, они нас обидеть могут...

Василиса Петровна вздохнула, и ушла.

Сережа снял рубашку, юбки, попробовал обмыться холодной водой, но показалось неприятно. Горячая слишком была горяча. Много времени он потратил, чтобы сообразить, что воду надо смешать. Что-то напевал, мурлыкал, подходил к стеклянной стенке, и глядел, как работник вез в колымажке навоз под яблони. Наконец, с блаженным видом, стал оттирать мылом свое

тело — худенькое, желтое, со следами многих укусов. Когда через несколько времени к нему вошел рыжий мальчик лет десяти, с бойкой рожицей, — Сережа, тощий, с подведенными ребрами, как Иоанн Креститель, стоял в лохани, по колена в воде, и радостно улыбался. Он забыл лишь снять сапоги — так в них и мылся. Мальчик взглянул на него, прыснул, но все же помог.

Через четверть часа Сережа оделся — ему дали чистую рубашку; причесался, надел капот и пришел благодарить Василису Петровну. Увидев на комоде бумажные розы, он спросил, нельзя ли взять одну, на память.

— Моя покойная сестрица очень розы любила, — говорил он, прикалывая цветок к капору, и глядясь в зеркало. — Как вы думаете, Василиса Петровна, мне желтая больше подойдет, или красная?

— Да уж бери, бери, что там разговаривать.

Василиса Петровна вздохнула. Она вспомнила, что скоро будут делить у них скот и инвентарь. На глазах ее выступили слезы.

— Прощайте, — сказал Сережа. — Еще благодарю вас, Василиса Петровна. А теперь возьму палочку... мне идти надобно — некогда, некогда-с, Василиса Петровна.

— Да какие у тебя дела-то?

Василиса Петровна была права. Сравнительно с ней, чей день полон был заботами о скоте, индюшках, курах, пирогах — Сережа мог считаться совершенно праздным.

Он спустился вниз. Собаки залаяли. Но он их не боялся. Да и они не отнеслись к нему всерьез. И он двинулся по деревне, мимо пруда.

II

Был апрель, время ранней весны, когда едва поля обсохли, снег в оврагах не дотаял, пригреваются взгорья, затянутые сероватой пленкой. Появилась крапива, да тонкие, изумрудные иглы гусиной травки. По дорогам пустынно; если крестьянин встретится, — чаще верхом, на нечищенной, патлатой и голодной лошаденке. Но уж тепло; нежно голубеет небо, бледно-размыты зеленоватые зеленя. И еще несколько дней, скот, пасущийся по парам, станет кой-что доставать.

Церковь в селе Никонове, куда брел Сережа, стояла в стороне, за барским садом. За церковной оградой, с плитами памятников, начинался осинник, сейчас еще голый, серо-зеленоватый; там влажно, кой-где лютик желтеет, да белеет снег. На паперти яркокрасной церкви с зеленым верхом стояли бабы, девушки, несколько стариков. Человек с прямым пробором, примаслеными, блестящими волосами — невымерший еще русский тип — отворял ворота в ограду, всматривался в дорогу между садами, хлопотал — видимо принимал близкое участие. На колокольне перезванивали. Могильщики, здоровые парни в солдатских гимнастерках, с завитыми чолками, кончали могилу. Желтая земля ярко выступала на снегу.

Сережа пробрался к бабам, тоже смотрел, улыбался, иногда бормотал про себя.

Высокий помещик, с седыми усами и огромными руками, в поддевке, сказал полковнику, указывая на него:

— А ведь богатейший был человек!

Полковник, бритый, с небольшим бобриком, ястребиным носом, несмотря на изгнание, походил еще на множество полковников.

— Помешанный? — спросил он рассеянно.

— В этом роде. У него, изволите ли видеть, сестра некогда была... Ну-те-с... Эта сестра умерла. И он, представьте себе, вообразил, что душа сестры в него переселилась, и что он женщина... Обратите внимание, у него и роза прикреплена... вон как... одним словом, несчастное существо...

— Это бывает, — сказал устало полковник. — У меня в четвертой роте рядовой себя корпусным командиром объявил. Пришлось удалить.

— Но заметьте, что вот он явился же на похороны. Надо вам доложить, что покойный Андрей Михайлович, как секретарь дворянской опеки, из дворянских сумм нанимал ему комнатку, этакое, знаете ли, пристанище... Одним словом, не забыл последний долг отдать.

Полковник поморщился.

— Ну, вряд ли понимает... Посмотрите, чем занялся.

Сережа, под шепот и смешки молодых баб,. подошел к кусту акаций, снял кацавейку, стал ее вытряхивать. На солнце блеснула золотая серьга в ухе.

— Так, так, хорошенько тряхани, — посмеивались бабы.

Старшие их остановили:

— Чего ржете? Над ним плакать, а не смеяться впору.

Вдали показался священник в белой ризе, за ним гроб. Помещик и полковник вздохнули, вышли из ворот ограды, навстречу. В простом сосновом гробу, поколыхиваясь на белых полотенцах, приближался прах Андрея Михайловича, которого знал весь уезд, который некогда был местным львом, земцем, представителем древнего, но небогатого рода, другом Сережи —

и скончал дни свои на небольшом хуторке в трех верстах.

Сережа встретил гроб, за которым шли заплаканные дамы, как и все — крестился, но его желтоватые глазки бегали с такой же быстротой, доверчивостью, как на галерейке Василисы Петровны. Вместе со всеми он прошел в церковь.

Обедня шла довольно долго. Церковь вся была полна голубоватым весенним светом. Золотистые его ковры ложились на амвон, на старинный иконостас, разделанный под малахит, с барочными волютами вверху, и итальянской, полукруглой нишей, как бы для статуи. Туда лицом был обращен покойник. Венчик со словами: «Святый Боже, Святый Крепкий» опоясывал лоб. Потемневшее лицо с темными усами выражало то непередаваемое и нечеловеческое, что нередко бывает у мертвых. Служил священник со лбом Сократа и кудрявым обрамлением лысины. Хор сбивался. К причастию бабы вынесли плачущих детей. Молодой человек независимого вида, за псаломщика, помогавший священнику, вытиравший ребячьи ротики, по окончании обряда снисходительно улыбнулся на клирос: там стояли такие же передовые юноши с начесами. Его улыбка говорила: «Я работаю, но, разумеется, ведь это предрассудок». Человек с намасленным пробором по средине головы, в поддевке, с бескровными губами, как и много лет назад, обходил с тарелкой и кружкой.

Сережа стоял на клиросе. Иногда он подпевал, случалось — даже в тон, иногда фальшивя. То рассматривал близких покойного, и родных, толпившихся у гроба, то отворачивался, чесался и вертелся. К словам «придите с последним целованием» он остался безучастен. И когда рыдания раздались, с удивлением повер-

нул голову; потом принялся ловить муху, бившуюся о стекло, на солнце.

В дверях лезли любопытные, даже хихикали, рассматривая, как кто прощается. Потом растворилась боковая дверь. На верхнем каменном крыльце пригревало. Из расщелин плит, под апрельским солнцем, пробивалась травка. Поблескивала кадильница; ладан ярче синел. Бывший лев, земец и дворянин приближался к месту упокоения. Застучал молоток. Полетели вниз пригоршни глины, рыжей и вязкой. Девки висли на ограде, чтобы не пропустить чего.

Серьезный, немолодой мужик, глядя на засыпаемую могилу, сказал родственнику умершего:

— Мы-то его теперь не дождемся. А он нас встретит.

Потом помолчал и прибавил:

— Умаялся, сердешный.

Сережа подошел к дамам, улыбнулся, и вежливо попросил милостыню. Ему подали.

И пока долго и тщательно засыпалась могила, оставшиеся вели свои скромные земные дела: неизвестно было, кому отдать белые полотенца — в церковь, или могильщикам; кому ехать и кому не ехать на поминальный обед. У нагретой солнцем стены мужики рассуждали о ссорах в комитете. Они имели важный, сосредоточенно-хозяйственный вид. Все эти дни делили землю. И сейчас надо было идти, отмеривать, вычислять осьминники, нивы, десятины. На их лицах было выражение значительности, и той приятности, которую довольному трудно скрыть.

Сережа побродил между могилками, убедился, что больше не подадут и поплелся в чайную.

III

Вряд ли он понимал, что с Андреем Михайловичем ему не встретиться. Вряд ли знал, что вечность легла между ним и высоким человеком с черными усами, как разделит она радующихся и огорченных, берущих и лишаемых. Он шел осинником и ни о чем не думал. У поворота к селу, на опушке, блеснул под солнцем срез свежего пня, залитого соком. В этом блистании была весна, как и в сухих, слегка пылящих ноги и шуршащих прошлогодних листьях.

В чайной Сережу покормили. Тут еще больше было мужиков, занятых своими важными делами. Говорили о том, что нет семян на яровой посев. Что одни зимой чрезмерно расторговались, другие овес поели за недостатком хлеба. Какая-то баба кричала, что ей не дают земли на малолетнего, и что она будет делать со своими тремя осьминниками? Как всегда, были критики и недовольные. И хотя казалось бы, что довольных больше, недовольные шумели громче.

С мужиком, ехавшим в город, пристроился на облучке телеги и Сережа. Он не мог бы сказать, почему именно едет.

— В город тебе, что ли? — спросил мужик. — Чудной, ты в какие Палестины?

Сережа улыбнулся, и ответил:

— Подвези, пожалуйста... Масса дел, масса дел... Всего-то не упомнишь.

Он наморщил лоб, сделал серьезное лицо, как будто в уездной метрополии, правда, ждали его необычайно важные занятия.

Они одиноко ехали с мужиком по весенним полям, еще никем не оглашенным, кроме жаворонков, высоко

и трепетно стоявших в воздухе. У села Овечья, в ложбинке, где ярко краснели ободранные пеньки ольх, чуть было не угодили в трясину. У Павлушина встретили мужиков, шедших по пара́м группою, с тем сосредоточенно-довольным видом, как и тогда у церкви: эти делили землю. А за Павлушиным попались, как из сказки, старик со старухой, с палками и с мешками за спиной: та же Русь, только с голоду вышедшая побираться.

— Сла-а-бода! — сказал мужик, поравнявшись с ними, и плюнул.

Скоро выехали на большак, обсаженный дуплистыми и корявыми ракитами. Вдалеке завиднелась уже, полускрытая возвышенностью, соборная колокольня, и налево засинела, темнея вдали лесами, долина Оки. Но в Кудашеве, большом селе с барским парком, ампирным домом, прудом и железным мостиком на клочке шоссе, Сережа завозился, и стал озираться. Когда доехали до деревянной церкви со старыми колоннами тоже стиля ампир, среди вековых берез, Сережа вдруг спрыгнул.

— Эй ты, заяц, куда поскакал? — крикнул возница.

— Я тут, я сейчас, по делам, на минутку, — заговорил Сережа. — Мне бы тут к учительнице зайти, все собираюсь, собираюсь отдать визит, неудобно, уж сколько времени не навещал . . .

— Ну, тебя тут ждать не буду, — сказал мужик, и стеганул лошадь. — Ви-зи-ты у него!

Но Сережа не обратил внимания. Мимо огромной, кирпичной, вновь строящейся церкви он прошел к нарядному каменному дому с большими окнами, типа станций, под зеленой крышей — гордости старого земства — новой школе.

Учительница Вера Степановна, маленькая, аккуратная девушка в белом воротничке, уже пообедала, ког-

да явился Сережа. Он бывал здесь, и она не удивилась его приходу.

— Я к вам с визитом, с визитом, — быстро заговорил Сережа. — Надо же отдать визит, а то неудобно. И еще дельце есть малое.

Вера Степановна была очень чистоплотна. Она затворила дверь к себе в комнату, и повела его в класс, просторный и светлый. Она боялась его насекомых.

— Какое же у вас дело? — спросила она, сев за столик и взглянув на него ясными, серыми глазами. В них сквозила ее душа — честная, и уверенная в пользе книжек, просвещения и четырех действий арифметики.

— Надо меня проверить, — сказал Сережа, совсем серьезно. — Обучение юношества, вы знаете, как я к этому отношусь. Разумеется, в прежней жизни я достаточно хорошо владел пером... Но для учительской деятельности, в наше время...

Вера Степановна не поняла.

— О какой деятельности вы говорите?

Сережа улыбнулся.

— Ах, я не рассказал! Какая забывчивость! Меня собираются назначить учительницей, в Малоземово, вы понимаете. А я так мало упражняюсь в письме, что быть может забыл... Будьте любезны, вы как сотоварищ по просвещению народа...

Он схватил лист бумаги, обмакнул перо и быстро стал выводить буквы.

Вера Степановна вздохнула. Она даже не улыбнулась. Она была девушка серьезная, и раз Сережа безумный, то удивляться не следует. Это было бы неинтеллигентно. А как раз ей нужно выступать на учительском собрании, в городе, и там отстаивать интеллигентность.

— Совершенно правильно, — сказала она, взглянув на написанное.— Перед *который* мы ставим запятую.

— Верно, верно, виноват! Разумеется, запятую.

Потом он подошел к доске, взял мел и стал решать какие-то задачи. Но здесь арифметика Веры Степановны должна была уж уступить: Сережа складывал, делил и вычитал по правилам другой, лишь ему ведомой науки. Вера Степановна не возражала. Приглядевшись, заметив, что сегодня он гораздо чище обычного, она позвала даже его пить чай, к себе в комнату.

Откусывая кусочек сахару, и дуя на блюдечко — глазки его бегали, как у зверька — Сережа говорил:

— Значит, вы находите, что я не позабыл? Это очень приятно. А то, представьте себе, назначают новую учительницу, она является, и не знает, где букву ять ставить! *Шкандал!*

Он посидел еще немного, и сказал, что ему пора. Узнав, что завтра Вера Степановна будет в городе, он очень обрадовался.

— Я тоже приеду на собрание. Как же, как же, необходимо... сплочение просвещенных людей!

И еще раз прибавил, что если назначают учительницу, а она не умеет писать, то это просто *шкандал!*

Солнце садилось, горело в кресте церкви. Грачи орали на березах, — там настроили они гнезд. Сережа, с длинной палкою, от собак, вышел на большую дорогу. Опять росли по ней дуплистые, низкие ракиты. В канаве блестела вода, розовея на закате. Справа, слева, те же зеленя, по которым бродят спутанные лошади.

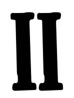
Неясная, но неизменно действующая сила вела его вперед, по этому большаку, в город, как завтра, может быть, поведет в другой конец уезда. Он не помнил уж ни об утре у Василисы Петровны, ни о похоронах, ни о будущем своем учительстве. Ему навстречу надви-

гался зеленоватый апрельский вечер. Он сменялся ночью. И уже весенние звезды зажигались. Орион рано скрылся за горизонтом. Подымалась Дева, со своею Спикой. За ней всходил четырехугольник Ворона. В это время в уезде одни, как Василиса Петровна, горевали о своих достатках, отходящих к другим, другие мечтали о получаемом, третьи, как учительница, готовились к общественным треволнениям, и все, обычно в этот час в деревне, собирались спать. Они жили и действовали, считая свои действия важными и жизнь — вечной. Андрей Михайлович спал очень крепко. Его знакомый, помещик с большими руками, думал посадить в изголовье его дубок вместо памятника.

А Сережа шел. Он ничего не знал. Над ним было ночное небо.

Притыкино, 1917 г.

— о —



УЛИЦА СВ. НИКОЛАЯ

I

Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления — это ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флер манны сыплющейся огневисто золотеют все витрины, окна разные Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает Прага, сладостный магнит. В цветах, и в музыке, бокалах и сияньи жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чем не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, сытая и ветром подбитая, и талантливая и распущенная. Гремят и вьюги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик в санках вытертых, на лошаденке Дмитровской, Звенигородской, как корабль нехитрый, но и верный. К Рождеству елки на Арбатской площади — зеленым лесом. Приезжают дамы в соболях; везут чиновники, тащит рабочий елочку на праздник детям. И отбушевавши новый год, в звоне ль шампанского, в гаме ли водочки с селедкой, входят в ледяной

январь, бегут, краснея носом, с усами заиндевелыми, обдуваясь паром — кто на службу, кто торговать, по банкам и конторам. Кто — и по трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче горит Орион семизвездием тайно-прельщающим над кристаллом снегов.

Не навсегда! Не навсегда! Там февраль, там и март с теплым ветром, с буйным дыханием; весна, грязь и лужи, блеск, солнце, первый разрыв лазури над Арбатом, ведущим к югу, к Брянску, Киеву, Одессе. И поэт золотовласый, чуть прихрамывая, припадая на одну ногу, в черной шляпе художнической, бежит по тротуару, приветствуя весну и милых женщин. А поэт бирюзоглазый, улетающий, и вечно проносящийся и в жизни, и в пространствах, точно облако белеющее, также пробегает по другому тротуару и приветствует лазурь, и ждет пришествия, и изнывает от томлений по закатам огненно-златистым над Арбатом — там — в конце, где он спускается к Москва-реке, в ней утопая. Смутны, и волнующи, и обещающи закаты эти! Чище, и хрустальнее, и дивно-облегченнее те миры, что там рисуются, в фантазмах златоогненных.

А когда апрель настанет, то растают почки в многочисленных садах вокруг Арбата, и зеленое благословение выльется — душистым, милым оперением. В старых тополях грачи вьют гнезда. Голубым оком глянет весна, заблестит в крыльях пролеток, в лакированных штиблетах и в зеркальных окнах, и в глазах веселых и воздушных. Мягко треплет ветерком — локоны девушек, бороды мужчин; смеется и перебегает по Арбату в блеске луж, в криках мальчишек, предлагающих фиалки.

Лето насыщает Арбат зноем и оцепенением. Маркизы магазинов никнут под огнем небесным. Налетает

пыль — тучкой азиатской. И к вечеру Арбат замучен. Млеют служащие в магазинах; барышни обрадовались блузочкам своим легчайшим. Но нет поэтов — ни златоволосого, бегущего Арбатом слева, ни бирюзоглазого — Арбатом справа. Улетели, как и их друзья, как и те жители, что занимают целые квартиры в домах с лифтами — кто на море, кто в деревню, кто на дачу. Врачи и адвокаты сладкогласные умчались за границу. «Ах, Карлсбад! Нет, Киссинген! Ну разве можно же сравнить!» И многих обитателей Арбата поразносят и международные вагоны по углам богатой, сытой и самодовольно-крепкой бабушки Европы. Сапожники же, медники и парикмахеры, кондуктора трамваев, булочники, мясники и бакалейщики сидят все лето, душное ль, дождливое ль, все на своих насестах, не подозревая о Карлсбадах и об ожиреньях сердца. Священники звонят в церквах Арбата — Никола Плотник, Никола на Песках и Николай Явленный — спокойные и важные, звоном малиновым, в ризах парчевых, вековечных, венчавшие и хоронившие тузов, и знать, и бедноту. Привыкшие к молебнам, требам, к истовому пению и жизни истовой, замедленной в бездвижности, и с ожиреньем сердца.

Гудят колокола, поют хоры, гремит трамвай, звенит румын в летнем зале Праги пышноволосой. Солнце восходит, солнце заходит, звезды вонзаются и над Арбатом таинственный свой путь ведут. И жизнь прядет, и все как будто чинно, все так крепко, и серьезно, и зажиточно, благонамеренно. Строят дома — сотни квартир с газом и электричеством; новые магазины — роскошь новая; новые мостовые, новый, не русский шик города. Льют свежий асфальт, и белят стены, и возятся и пьют, и накопляют, ходят в церковь и венчаются, и любятся, и умирают между трех обличий одного свя-

тителя — Николы Плотника, Николы на Песках и Николая Чудотворца. Зима, весна и лето, осень, хлад и жар, и мленье и закаты — все себе равно, или кажется таким.

II

Первые грозы, полумладенческие бури! Немотствовавший великан пытается сказать, выкрикивает и грозит, и смутно встряхивается — впотьмах и наудачу. И пылают барские усадьбы, останавливаются дороги, и рабочие выходят с фабрик — демонстрации идут Арбатом. «Господа» банкеты собирают, и изящно бреют русское самодержавие, между икрой и балыком, меж Эрмитажем и Прагою. Ах, конституция, парламент, Дума, новая Россия! А те, кто помоложе и попроще, кому до Эрмитажей далеко, торопятся, им некогда, все совершить бы завтра, всю бы жизнь вверх дном перевернуть. И митинги гудят, толпы чернеют, и кричат газеты об одном: вперед, вперед!

А там дружинники уже засновали по Арбату — и в папахах, и в фуражках; дворники, мальчишки помогают выворачивать столбы фонарные — для баррикад. Веселый рыцарь, Дон-Жуан и декадент, он же — издатель, и спирит, и мистик — собственноручно водружает красный флаг на баррикаде у Никольского; флаг — юбка женина. Большевики, эсеры, анархисты и художники, и гимназисты, и студенты пробуют себя: вместо «Моравии», где пропивали по рублю на пиво и закуски, целятся из маузеров из-за поваленных трамваев и калиток, снятых с петель, опутанных проволокой телефонною. Седой и старенький извозчик, годы плетшийся Арбатом, обликом похожий на св. Николая, затруднен теперь: от баррикады — лишь до баррикады. А там

нужно санки перетаскивать. Да и под пулю угодишь, как раз. Но, все-таки, он ездит, ровный и покойный, как патрон его, святой из Мирликии. Поэт златоволосый не сражается, но на словах громит, анафематствует жандармов, губернатора, властей — заочно и в лицо. Поэт бирюзоглазый ждет пришествия иной культуры, вспоенной громами бурь, кипением и массой. Но массе — еще рано. Еще сильно былое, крепок штык, тверда шеренга. И в декабрьский день, морозный, заревом пылает Пресня под шрапнелями семеновцев. Бегут папахи. Спрятались и маузеры, и карабины. Москва затихла. Молодежь по тюрьмам, кое-кто погиб. Серо, туманно, пасмурно и на Арбате. Будто б окончился спектакль, где нашумели, наскандалили ребята, а в конце прогнали их. И вот — распутывают проволоку заграждений, чинят фонари, ездят патрули и гвардейцы офицеры, победители на нынче, пьянствуют по Метрополям, Прагам, Эрмитажам. Лавочки открылись на Арбате, магазины, снова свет, и сутолока, веселье, блеск — одним забава — труд, забота для других. А седенький извозчик снова невозбранно проплывает по Арбату, снимает шапку у Николы Плотника, и крестится, и крестится на углу Серебряного, где Николай Явленный. Священники же рады, что все кончилось: опять привычное, все то же, вековое, и непотрясаемое.

Положим, что есть Дума, что там говорят и критикуют, и постановляют. Но ведь это *так,* все только *так,* для формы. Прежнее — все то же. И городовой, и мирное служенье, и богатство треб, и пышность похорон. И лик св. Николая в трех церквах все тот же — строгий и покойный лик.

И снова — строятся дома, фабрики, возрастают, везут зерно на вывоз и приходят в порты русские из дальних странствий корабли с товарами: как будто

крепнет, богатеет Русь. Как будто процветает и Арбат. Не нынче завтра весь он будет вымощен гранитом, как в Европе; и кафе его сияют, и огромный дом воздвигнется на углу Калошина, с бронзовым рыцарем в нише. Рыцарь задумчив, задумчив рыцарь. И стало уже тесно в Праге — думают надстроить новое святилище — выводят стены. И как будто весело, благополучно. Бегают художники, писатели и декаденты, процветают и шумят по клубам, по эстрадам, маскарадам. Сколько лирики! И темной, светлой, тонкой, уснащенной и скользящей, нежной и летящей! Поэт золотовласый улетел в Париж изгнанником — за резкости о троне. Но другие мифотворствуют и богоборствуют и препираются, и лекции читают, а иные, как поэт бирюзоглазый, все чего-то ждут. Идет ли? Не идет ли? Начинают уставать, и хриплые рога услышал уже кто-то. Ах, да так ли все благополучно? Нет ли тлена легкого, но острого, под танцем жизни?

И повсюду, на Тверской и в Камергерском, на Воздвиженке и на Арбате — смутный, соблазнительный и наглый, разлагающий, дурманящий и за собой влекущий — над великой пустотой поднявшийся:

«Танго».

И пляшут его пары на Тверской, и на Воздвиженке, и на Арбате. Сумрак! Сладко утомление. Танго, танго! И ничего не надо. Ни страстей, ни действий и ни силы любви, ни долга и восторга творчества, бессмертия, свободы — сладкий плен полуразврата-полукрасоты.

III

Страшный час, час грозный. Смертный час — призыв. Куда? — Вперед. Вперед, и в ногу, в ногу, и под барабан. Вперед. О, содрогнулась Русь, оделась в серую

шинель, и смертно лоб перекрестивши, руки сжавши, тяжко в ряды стала, тяжко марширует сапогом тяжелым: раз-два, раз-два! А черно в сердце и мила Москва, и горько — уходить. Идет Арбатом серый, крепкий строй; и на Угодника, что на углу Серебряного, взглянет ненароком проходящий, под винтовкой, ненароком перекрестится — и далее шагает. Раз-два, раз-два. Вот и Спасопесковский, с красным домом угловым, Никольский, где Никола Плотник, с позолоченной главой, за ним Смоленский, на углу толпа, и машут, слезы блестят; а там — дорожка ниже, ниже, на Москва-реку к вокзалу — голову клони, солдат. Уж дожидаются вагоны, паровозы, быстрые еще, и аккуратные; там снова — бабий вой, крик и рыданье; и влекут тебя, во мгле слепой, на жертву. Велика твоя повинность родине.

Родина же притихла. И насупилась. И затрезвела даже. Пьет — из-под полы, и удивляет старую Европу воздержанием. Надолго ли? Ну, там посмотрим. А пока — поблекли Праги, Метрополи, Эрмитажи, и все блекнут, задыхаясь в худосочии. Голубки все реже мчатся по Тверской, Арбату. И все больше лазаретов — знак кровавого креста над ними, знак печали-милости — и чаще попадаются их вывески в укромных переулках вкруг Арбата. Старые хоромы, гнезда дворянские, видевшие Герценов и Хомяковых, наполняются людьми в халатах, с лицами серо-бледнеющими, и в повязках, и на костылях. Серый суп, смутность, дрема, бледная тень жизни бедной! Хочется ль чего? Нет. Жалко ли чего? Нет, тоже нет — и все как было и как будет — тихий затон в буре страшной.

Буря же бурлит. Яростны люди, свирепы пушки, пули бессчетны и бессчетна смерть, в поле реющая — и в лесах, горах, ущельях и окопах. Волна мрака нако-

пилась, облака и тучи, и гремит, гремит бессмысленный Дракон, и пожирает, и других зовет; калек, усталых и полуживых, на родину, посмеиваясь, направляет. И идут полки вниз по Арбату, на Дорогомилово, а возвращаются в вагонах санитарных, по трамвайной линии, из-за реки.

Сердобольные ж хлопочут дамы, посещают, навещают, развлекают, музицируют и умиляются на «мощь героя серого». Серый же герой еще покорен. Все еще вытягивается и козыряет, и безмолвно умирает на полях далеких, неизвестно за кого и за что. Но еще крестится, на углу Серебряного, на древний образ Николая Чудотворца, глядит еще почтительно на две иконы, что под тротуаром — святитель Николай, спасающий матроса, и освобождающий пленного в темнице. Слушает еще и всенощные, и обедни на полях Галиции, и в Польше, и под Ригой.

Но клонится к закату, внутренне склоняется, сгнивая, старое. И бесподдержно, и вдруг, бесповоротно расползается сам трон, и нету больше древних генералов, губернаторов и полицеймейстеров, и гимна, и сурового орла монархии.

Все быль, сон былой — и новый сон уж начинается, пока лишь многословно-легкомысленно-пустопорожний. Молчали долго — и заговорили! Хочется сказать, и здесь и там, у памятника Скобелеву и под Пушкиным, и на Арбатской площади, и где угодно. Все серые шинели, серые герои, и один лепечет за другим, все тем же еще получленораздельным звуком, все о том же, о войне, свободе, революции. О том же говорят, и так же длинно, но изящнее и грамотнее, и бесконечные политики с Арбата, адвокаты, инженеры и военные, ныне страной правящие. О русские интеллигенты, о слова, слова, прекраснодушие, приятность, барствен-

ность, народолюбие! Сурова жизнь, и не приятна, и не прекраснодушна. Но профессора, экономисты из соседних переулков, получившие портфели министерские, гласные *свободной* Думы, из домовладельцев и врачей, еще надеются на что-то, думают управиться с героями в шинелях серых, воевать до одоления врага, и все тому подобное. Лишь более прозорливые, из богатых, денежки пересчитав, проверив — утекают, кто в Японию, а кто на запад.

И вóвремя, и вóвремя! Ведь надоело словопрение, шатание, незнание. И надоело жить в окопах, видеть смерть и ждать ее, и надоело зрелище богатых рядом с бедными, и так отлично — прекратить все это, отобрать, что можно, поделить, с кем нужно, и, на белый свет провозгласивши братство всех трудящихся, из ничего стать всем. И вал растет, буря идет. Поделена земля и допылали те усадьбы, что нетронуты двенадцать лет назад. Разведен скот, диваны вытащены, зеркала побиты и повырублены кое-где сады. Библиотеки отпылали, сколько надо — в пламени ль пожаров, в мирных ли цыгарках. И ты идешь домой, *серый герой,* трудно ведь на войне сидеть, когда в Рязанской, Тульской и Тамбовской, дóма, *добро делят*. Ну-ка, господин буржуй, иди кому угодно, под шрапнели, в мерзлые окопы, в вонь, ко вшам, на смерть? И облепились уже вагоны воинами без щитов, пустеет дикое, и горестное поле бранное. Но вряд ли надоело драться. Драться — да не там — не так.

И ты увидел, наконец, Арбат, опять войну — не детскую, как прежде, не задорно шуточную, нет, но настоящую войну, братоубийственную, с треском пулеметов, с завыванием гранат. Туго пришлось тебе, твоим спокойным переулкам, выросшим на барственности, на библиотеках и культурах, на спокойной сытости, изящной жизни. Неделю ты прислушивался, как громили

бомбами — ныне не Пресню уж, а самый Кремль. И за дверьми, за ставнями шептал: «Не может быть, нет, невозможно!»

Но пока шептал, уж новое пришло на твои камни, в серенькие дни ноябрьские, спустилось крепкой, цепкой лапой, облепило стены сотнями плакатов и декретов, выпустило новые слова, слуху несвычные, захватило банки, биржи, магазины и твои, спокойный, либеральный и благополучный думец, сейфы и бриллианты.

Ты же протирал глаза, о обыватель, гражданин и пассажир международных lux'ов, посетитель вод, Карлсбадов, Киссингенов; ты, страдавший ожиреньем сердца, ощутил, что все заколебалось в смутном дьявольски-бесовском танце. Проносились новые автомобили, грузовые, полные людей вооруженных, тех же *серых все героев;* заработала машина смерти; заработала машина голода. И прежние подвальники, и медники, и вся мастеровщина, туго жизнью пригнетенная, из щелей повыползала, из темных нор своих, и вверх задвигалась. «Попировали, и довольно! Нынче наш черед!»

Выходи беднота, тьма, голь и нищенство, подымай голос, нынче твой день.

IV

В январе толпы *героев серых,* возвращающихся с брани. Ночью, отлипая смутными гурьбами от площадок, крыш вагонов, буферов тех поездов, что добирались кое-как до Брянского, хмурые и молчаливые, с котомками через плечо, валят они валом неслабнущим, в темноте Арбата, к площади. «Эй, товарищ, как к Рязанскому?» Все Русь и Русь. Рязань, Тамбов, Саратов, все спешат домой, подальше от окопов, смерти хладной,

голода. Грязь, вши и мрак. Грязь, хлад в Москве, стон, вой и мерзость и в вагонах тех, куда спешат, стремятся на родину — в ту же мразь беспросветную. Арбатский житель, с ними повстречавшись, пожимается, карманы попридерживая — впрочем, пусто в них, как и в желудке — но сермягам и не до его карманов. Может быть покоен. А последнее пальтишко стащут с него в переулке, вежливо прикладывая дуло револьвера к уху. Ну, что ж, давать, так отдавать! Все равно, нету ничего. Ни дров, ни хлеба, ни угла — скитайся, голь, святая бедность! И скитаются и мерзнут, темной ночью, в сумраке пустынных ветров.

Но и утро занимается над городом. Пробрели все серые герои, призакончились убийства, грабежи и казни — солнце продирается в туманах инея, в огнезлатистых пеленах, столбах жемчужно-радужных. Пар от всего валит, что дышит. Как много серебра, как дешево оно! И на усах, и на обмызганных воротниках пальтишек людей жизни новой. Люди новой, братской жизни, парами и в одиночку, вереницами, как мизерабли долин адских, бегут на службу, в реквизированные особняки, где среди тьмы бумаг, в стукотне машинок, среди брито-сытых лиц начальства в куртках кожаных и френчах будут создавать величие и благоденствие страны. Вперед, вперед! К светлому будущему! Братство народов, равенство, счастье всесветное. А пока что, все ворчат. И все как будто ненавидят ближнего. Тесно уж на тротуарах, идут улицей. Толкаются, бранятся. Барышня везет на саночках поклажу. Малый со старухой, задыхаясь, тащит на веревке толстое бревно, откуда-то слимоненное. А магазины запертые сплошь, уныло мерзнут промороженными стеклами. И лишь «Закрытые распределители» привлекают очереди мизераблей дрогнущих — за полуфунтом хлеба. Да обна-

женные витрины двух иль трех советских лавок выставляют пустоту свою. Но не задумывайся, не заглядывайся на ничто: как раз в морозной мгле ты угодишь под серо-хлюпающий, грузный грузовик с торчащими на нем солдатами, верхом на кипах, на тюках материи, иль на штанах, сотнями сложенных. А может задавить автомобиль еще иной — легкий, изящный. В нем, конечно, комиссар — от военно-бритых, гениальных полководцев и стратегов, через товарищей из слесарей, до спецов, совнархозов — эти буржуазней и покойней. Но у всех летящих общее в лице: как важно! как велико! И сиянье славы и самодовольства освещает весь Арбат. Проезжают и на лошадях. Солдат на козлах, или личность темная, неясная. В санях, за полостью — или второстепенный спец, или товарищ мастеровой, но тоже второстепенный, в ушастой шапке, вывороченной мехом куртке. Это начальство едет заседать, решать, вязать. С утра весь день будут носиться по Арбату резвые автомобили, снеговую пыль взрывая, и гудя. Чтоб не было для них ухабов, обыватель, илот робкий разгребает и вывозит снег. Барышни стучат лопатами; гимназисты везут санки. И солидные буржуи, отдуваясь, чистят тротуар. Профессора, семьями тусклыми, везут свои пайки в салазках; женщины бредут с мешками за плечами — путешественницы за картофелем, морковью. В переулках близ Смоленского торгуют молоком, дровами, яйцами. Мальчишки выкликают: «Папиросы рассыпные, Реже, Ява, Ира!» И краснощекие красноармейцы, молодые люди в галифе, брито-сытые, с красной пентограммой на фуражках, отбирают себе Иру. Полусумасшедшая старуха, в рваной кофте и матерчатых полусапожках, широко расставив ноги бредет с палкой и бессмысленно бормочет: «Помогите! Помогите!» — и протягивает руку. Старый человек, спо-

койный, важный, полузамерзающий, в очках, сидит на выступе окна и продает конверты — близ Никольского. А у Николы Чудотворца, под иконой его, что смотрит на Арбат, в черных наушниках и пальто старо-военном, с золотыми пуговицами, пристроился полковник, с седенькими, тупо-заслезившимися глазками, побелевшим носом, и неукоснительно твердит: «Подайте полковому командиру!» Рыцарь задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в Калошином, вниз глядит, на кипение, бедный и горький бег жизни на улице, и цепенеет, в седой изморози, на высоте своей. А внизу фуры едут, грузовики с мебелью. Столы, кровати, умывальники; зеркала нежно и небесно отблескивают, покачиваясь на толчках. Люди в ушастых шапках, в солдатских шинелях, в куртках кожаных въезжают и выезжают, из одних домов увозят, а в другие ввозят, вселяют, выселяют, все перерывая, вороша жизнь старую. Туго старой жизни; притаилась в тихих переулках, думает, гадает, выселяется и тащит на Смоленский кружева, браслеты, чашки, шали, юбки, мундштуки, подсвечники и кольца, и спускает мужичкам, красноармейцам, спекулянтам, чтобы купить проклятой пшенки, радости советской. И все ждет и надеется: «Ну, теперь уж близко!» «Слышали, — ведь заговор. Нет-с, когда и среди них пошли раздоры, это агония!» Но от разговоров не слабей морозы, не дешевле дрова краденые — и дороже пшенка.

И теперь узнал поэт золотовласый, что есть печка дымная, что есть работа в одной комнате с женой и дочкой, что есть пуд картошки мерзлой, на себе тащимой с Курского вокзала. Но все так же, не теряя жизненности, силы и веселья, пробегает он по правой стороне Арбата, ловя взоры девушек. По левой же — все так же пролетает и поэт бирюзоглазый, сильно поседев-

ший, в пальто рваном и шапчонке тертой — он спешит на лекцию, на семинарий, в пролеткульт и пролетдрам, политотдел и наробраз, и в словах новых будет поучать людей новейшим, старым откровениям писаний.

Так идет, скрипит, стонет и ухает, гудит автомобилями, лущится семечками, отравляется денатуратом, выселяется и арестуется, жиреет и околевает с голоду жизнь на улице-долине, в улице, ведущей от Николы Плотника к Николе на Песках и далее к Николаю Явленному. Средь горечи ее, стонов отчаяния, средь крови, крика, низости, среди порывов, деятельности, силы и ничтожества, среди всех образов и человека, и животного — всегда, в субботний день пред вечером, в воскресный — утром, гудят спокойные и важные колокола Троих Никол, вливаясь в сорок сороков церквей Москвы. На зов их собирается различный люд. И старый, молодой, и бедный, и богатый. Из холодающих углов идут старухи, чья судьба недолга; из уплотненных, некогда покоев важных — фрейлины, аристократки. Лавочники лысые и мелкие служащие, и девушки, какие-то из скромных — может быть, из тех, что надрывались днем, таща бревно, работая на кухне, добывая пшенку. Интеллигент русский, давняя Голгофа родины, человек невидный и несильный, перекрестит лоб. И матери и сестры, и невесты, что оплакивают ближних, пожранных свирепой жизнью. Наконец, даже и ты, солдат красноармеец, воин новой жизни. Все сюда собрались, все равны здесь, равенством страдания, задумчивости, равенством любви к великому и запредельному, общего стояния пред Богом.

Служат старые священники. Есть, впрочем, также молодые, но иные уж, чем раньше; все иное. Все попроще, побледней, и будто строже. Будто многое отмылось, вековое, цепенившее. И будто бы Никола сам, по-

мощник страждущим, ближе сошел в жизнь страшную.

Колокола звонят. Свечи теплятся. Ризы сияют на иконах, хор поет. Любовь, спокойный, светлый мир зовет. «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененые, и Аз упокою Вы». И снова, и снова, как Рахиль древняя, как Мария Матерь Господа, омывает мать слезами постаревшее свое лицо, мать над сыновним трупом, над женихом невеста, и сестра над братом. И сердца усталые, души, в огне мятущиеся, души, грехом палимые, изнемогшие под грузом убиенных — все идут сюда, быть может, и палач и жертва, и придут, доколе живо сердце человеческое.

Хор поет призывно: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Девушки в платочках беленьких, как сестры милосердия, прислуживают при служении.

V

Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремленья — это ты, Арбат. Ты и шумел и веселился, богател и беззаботничал — ты поплатился. По тебе прошли метели страшные, размыли тебя и замертвили, выели все тротуары твои, омрачили, холоду нагнали по домам, тифом, холодом, голодом, казнями пронеслись по жителям твоим, и многих разметали вдаль. Залетел опять, как некогда, поэт золотовласый в чуждые края; умчался и поэт бирюзоглазый к иностранцам. Многие поумирали. А кто выжил, кто остался, те узнали, жизнь, грозный и свирепый лик твой. Из детей стали мужами. Окрепли, закалились, поседели. Некогда уж больше веселиться, и мечтать, меланхоличничать. Борись, отстаивай свой дом, семью, де-

тей. Вези паек, тащи салазки, разгребай сугробы и коли дрова, но не сдавайся, русский, гражданин Арбата. Много нагрешил ты, заплатил недешево. Но такова жизнь. И не стоит на месте. Налетела буря, пронеслась, карая, взвешивая, встряхивая — стала тихнуть. Утомились воевать, и ненавидеть; начал силу забирать обычный день — атомная пружина человечества. Снова стал ты изменяться, сам Арбат. И с удивлением взирает рыцарь в латах, рыцарь задумчивый с высот Калошина, что человек опять закопошился за витринами магазинов, и за дверками лавченок, мастерских; что возится и чинит плотник, и стекольщик заменяет пулями пробитый бём на новый, и старательно расписывает живописец вывеску над булочной. Вновь толпа наряднєй. Вновь стремятся женщины к одеждам, а мужчины к деньгам. Вновь по вечерам кафе сияют, и из книжных магазинов книги смотрят, и извозчики снуют. Блестит Арбат, как полагается, по вечерам. И тот же Орион, семизвездием тайнопрельщающим, ведет свой путь загадочный в пустынях неба, над печально-бурной сутолокой людей.

А ты живешь, в жизни новейшей, вновь беспощадной, среди богатых и бедных, даровитых и бездарных, неудачников, счастливцев. Не позабывай уроков. Будь спокоен, скромен, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанных, столь поруганных. Слушай звон колоколов Арбата. В горестях, скорбях суровых, пей вино благости, опьянения духовного, и да будет для тебя оно острей и слаще едких слез. Слезы же приими. Плачь с плачущими. Замерзай с замерзшими и голодай с голодными. Но не гаси себя, и не сдавайся плену мелкой жизни, мелкого стяжательства ты, русский, гражданин Арбата.

И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею улицей три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную проведет. Так, расцветет мой дом, но не заглохнет.

А старенький, седой извозчик, именем Микола, проезжавший некогда на санках по Арбату на кляченке Дмитровской, тот немудрящий старичок, что ездил при царе и через баррикады, не боясь пуль, и лишь замолк на время — он уж едет снова от Дорогомилова к Большому Афанасьевскому.

Москва, 1921 г.

— о —

БЕЛЫЙ СВЕТ

Бедная жизнь, малая жизнь, что о тебе сказать, чем порадовать? Не сердись и не обижайся. Будем скромней. Ведь в тебе несусь, ты принимаешь, и снежок зимний на Арбате зимнем посыпает и меня, да и тебя, ветер завивает и уносит, все уносит, рады мы, или не рады.

Ты хотела б быть пышней, нарядней, и могущественней. Может быть, и я бы превзошел себя.

Но есть Судьба. Тебе и мне. Хочешь не хочешь, ее примешь. Я — уж принял. Я живу в ней, в ней иду. Прохожу сквозь тебя, жизнь, и посматриваю. Печаль, веселье и трагедия, цена на молоко, очередь в булочной, новый декрет, смех, смерть, пирожные и муки голода — все вижу я и, пожалуй, знаю.

Заповеди счастия:

I. Помни о печке. Сложи каменную. Не забудь о дымоходе, полюби дрова, знай смысл полена. Если нет дыму и тепло, то ты в преддверии.

II. Ешь. Продавай штаны, женину юбку, книги, старые подсвечники и этажерку, только не ослабевай, иначе уж не встанешь.

III. Спи, или ты не выдержишь. Но выдержать ты можешь, должен. Ведь другие же выдерживают, да и мудрость, правда, уж не так огромна.

Снег, пушисто на Арбате. Мягкий скрип саней, автомобиль несется. «Чайная-столовая», «Гастрономия Н»,

папиросы и пирожные. «Есть свежие булочки». «Извозчик, на Солянку!» «Полтинник, барин».

Галифе с дамой румяною, в многомиллионном палантине катят.

У стены политики газету поедают. «Крах капитализма». «Надо бить в набат». «Держите порох сухим».

И летит ворона, села на крест церкви Николы Явленного, покаркивает себе. Белый же снежок все посыпает, и меня, и тебя, и коммуниста, и спекулянта в соболях, и чудака с моноклем, в рваном котелке, опорках, с мешком рухляди, и с видом элегантно-стынущим — деловито шествует он улицей, невдалеке от тротуара.

Бело, пустынно. Ты идешь. Страдал ли ты, был счастлив, строил планы? Надеялся, мечтал? — Но тут ты кланяешься: много на Арбате, ведь, знакомых.

И дальше, в белых буднях. Дни твои восстают, умирают, виденьями скромными, между хозяйством и литературой, Арбатом, лавкою книжною, книгами и газетами, в вихре политики, рушащегося и строящегося. Снова: будь скромен, и не заносись, приказчик за прилавком.

— Есть учебники?

— Древний мир, Иванова?

— А-а, скажите, нет ли о театре?

— Хозяин, азбуку.

Барышни Блока, Ахматову. Актрисы — Уайльда. Философы — о Гегелях, дамы постарше — в детском.

Важный субъект:

— Нет ли восемнадцатого века?

Хлопает и затворяется входная дверь, потрескивает печка, издатели приходят, философы беседуют — о выдаче пайка. Нуждающиеся в пшенке тащут свои книги, другие оставляют сотни тысяч и выносят связ-

ки книг, дверь все хлопает и затворяется, дамы, мальчики, снобы, студенты, поэты, техники, букинисты... — где конец? где начало?

А за кассою твердою рукою ведет дела дома торгового ясноокая Паллада. Вспыхнет электричество в четыре, в шесть погаснет. Тьма, снежок. Хладные улицы, зеленые огни.

Сиянье дальних океанов, древние наречия, озера, тонкий свет пейзажа, поля риса и монастыри буддистов, перезвон неведомых колоколов и легкий танец радости, и сонный плеск весла бамбукового. Изящно-краткий звук стиха. Лепестки вишен, падающие в фарфоровую чашечку вина златистого.

Малые основы жизни:

I. Пайком не брезгай (не гордись). Разговаривай о нем почтительно, не пропускай буквы своей, записывайся до свету; бери достаточно с собой бичевок и мешки. Не позабудь бутылок. Осмотри санки. Терпи в очереди, не кричи, что дали масло горклое или мясо с костью. Не волнуйся и не нервничай.

II Почитай примус. Он твой домашний лар. Наблюдай за жизнию его. Чисти иглой. Поршень, если ослабел, размачивай в стакане с кипятком. Делай возлияния ему — чистейшим газолином.

III. Затыкай все щели. Вентиляции, ведь, хватит. Холод же придет наверно.

Хочешь похворать? Что же, ложись. Сначала это странным может показаться. Жена тоже больна, и некому ходить за хлебом, скромно мерить Арбат зимний, ждать у касс, получать сдачу. Некому отправить девочку в училище, затопить печь, готовить. Ты ложишься, не без удивления. Знобит. Устало тело. Белый, зимний день в окне, и снег попархивает. Но покойно в

сердце! Что ж, ты невиновен. Сколько мог, трудился. Ставил самовар. Мыл посуду. Распалял примус — человечье имя у него — Михаил Михайлыч. Но вот, наконец, настигли и тебя. Неважно. Даже славно, отдохнуть и ни о чем не думать. Жизнь же? Жизнь наладится, наверно. Велика Москва, любвеобильна. Не покинут добрые.

С улыбкой думаешь: «В Москве, да чтобы дали сгинуть? Вряд ли».

И действительно, устроишься. Кто-нибудь пойдет к аптекарю, кто-нибудь самовар наладит. Добрая душа уберет комнату, сготовит на печурке, подаст градусник — и ты уж жив — житель беспечный на волнах хаоса — вот и день твой малый отшумел.

И хоть в хаосе — все же протекут, как надо, дни болезни, и ты встанешь, и с кувшином синим из-под молока, с корзиночкой побредешь Арбатом зимним, утренним за малыми делами жизни. Тысячи, и сотни лет трудилось человечество, изо дня в день. Возьми и ты уголок бремени. Это — чтоб не заносился ты, не важничал.

Если заспался, молоко уже раскуплено. Тогда — к Смоленскому, приюту верному. Свернешь направо, мимо двух лачужек, пустыря, где дом стоял, а ныне дерево одно торчит, увешанное тряпками.

Худая собачонка бродит, разбирая что-то в куче. Наигрывая на гармошке, шагают четверо парней, в тулупчиках, с лицами ясно-веселыми. С душой голубокою поют.

Вспомню, вспомню, вспомню я,
Как отца зарезал,
А любовницу свою
На дуге повесил.

Старуха на углу, сияя в снегу, со щекой подвязанной, клонится поклоном низким, древне-убого-покорным, руку протягивает — «Подайте милостыньку» . . .

В конце Толстовского, преддверия рынка, бабы молочницы с флягами. Тощему интеллигенту, барыне в салопе льют кружками белую жидкость со льдинками — в кувшины, кастрюлечки, махотки.

Смоленский! Средоточие Москвы, знамя политики, сердце всех баб, солдат и спекулянтов, родина слухов, гнездо фронды, суета, базар, печаль, ничтожество и безобразие убогой жизни. Кишит толпа, вечно кишит, с утра до вечера. Ее разгонят, оберут, засадят кой-кого — вновь собираются, торгуют в переулках, откупаются, — но все-таки торгуют, все же норовят друг друга объегорить, где-нибудь сорвать, на чем-нибудь нажиться. Долго разгоняли — но неутомимый, юркий бес все ж одолел — и невозбранная гудит маммона. В палатках продают духи и гвозди, мыло, башмаки и бриллианты, статуэтки и материи, торговцы опытные; а напротив, длинными рядами вытянулись мизерабли, на себе принесшие отребья. На снегу — чернильница и дамские чулки; старинная миниатюра; кружева. Вот женская рука вытягивается, в перчатке черной — кольца на ней нацеплены; старенькая дама стынет, леденеет над такими же как она старыми книжонками. Две девушки накинули сверх шубок платья; бритый барин в котелке предлагает тряпочные куклы. И временами все сторонятся — тарахтит форд, прокладывая вольную дорогу, путь начальства, власти, самоопьянения.

Опять сомкнутся вновь безмолвные ряды просящих лиц, сизых носов, глаз слезящихся, вновь ходят по рядам дамы нарядные, скупщики, спецы — без конца и без начала человечья орда — сутолка, под серым небом с пролетающими галками, снежком, зигзагом реющим.

Галдят, торгуются, пробуют материи, едят на лотках ситный, жуют свинину, разбирают сахар краденый, завертывают масло.

Вблизи молочниц, на снегу улицы — в раме гравюра. Отдых Пречистой на пути с Иосифом в Египет. Богородица уснула. Лишь Младенец тянется к двум ангелам, — один протягивает ему плошку, а другой дает еду. Иосиф в отдалении. И справа, за скалой, где приютились путники, спокойный, мирный слон.

„Buturum et mel comedet ut sciat reprobare malum et eligere bonum" — подпись.

А внизу:

„Ferdinando III Austriaco Magno Etruriae Duci — Nicolaus Poussin".

Так вот где Ты, Спаситель, и Египет, и Пуссэн, Этрурия! Так вот где. Смотрим и молчим, проходим с только что добытым молоком, которое снесем домой и будем аккуратно кипятить, задабривая газолином свежим нашего Михаила Михайловича, чтоб не спесивился и загорался пламенем изжелта-голубеющим.

— Забубнил, Михаил Михайлыч!

Но тогда не упускай минуты, путник, мешай ложкой молоко свое, чтобы не пригорело, не ушло, не хлынуло волной кипящей. Этого не любит наш Михаил Михайлович. Он обидится, и сам же ты потащишь прочищать его к старичку на Арбат.

Дубы оракула в Додоне, снега Парнаса, мед гиметский, Ликабета холм над Афинами, сумрак вечерний и огоньки в городе — дальний, безбрежный вздох ветра с гор. Стрекотанье цикад. Запах тмина. Круг моря, смутно висящего, нас сторожащего, гор оцепленье.

Мраморы Элевзина! Плеск волны, Нереиды и розы, гробницы Аттические. Медленный лет пчелы.

Идем, и покупаем новую бутылку красного вина. И — легкий дым забвения и возбужденья в пути полуденном — туманные очарованья.

Михаил Михайлович, ты не плох, ты друг. Печь — ты помощница. Дрова — союзники. Стены — защита. Окна — глаза наши в белую улицу, со снегом, и зимой, бегом саней, ходом людей, мало-печально-радостной жизнью нашей.

Здравствуй, чистильщик сапог, болгарин жуковидный на углу Кривоарбатского. Пирожницы и дамы папиросные, счастье-искательницы, мерзнущие на морозе. И кассирши в гасторномиях, и девочка, сбирающая корки за зеркальной дверью булочной. Мизерабли, дрогнущие в очереди к хлебу, и убогие старухи, руки тянущие, и приказчики, и буржуа в своих лавчонках — здравствуйте.

Ну что же, где же драмы, и томления, и страсти сердца, и любви мечтанья? Как пустынно! Как легко идти.

Белое небо, белый снег порхающий, белая жизнь, белая душа. И летит бойкий автомобиль, трамвай гремит. А навстречу ему баба, впряжена в рекламу. На тележке надписи. Там и актеры, пение и кабаре. Подвалы, *радостъ*. Может быть, вино?

Сумерки, церковь Николы Плотника. Можно бы и зайти. Открыта дверь. Сумрачно тоже, и холодно. Несколько человек. Гроб посредине, маленький. Весь в цветах. Свечи — смутное золото. Смутно, и темно — холодно по углам. Двое у изголовья девочки: вечные двое — отец, мать . . . — Поправила складку на покрове, цветы передвинула, а рука держит свечку, не бросит. И все только смотрит на кудерьки черные, на узенький, на лбу, венчик, провалы глаз. Девушка пла-

чет. Красоармеец у двери. Священник в серебряной ризе, и дьякон.

Долгим лобзанием поцеловала, припала, крестом смертным осенила. Вновь цветы поправила.

Крышку наставили — и застучали.

Вот она, Властная, в маленькой, бедной жизни нашей. Тысячи тысяч косит, купается, радуется, мы же идем да идем. И смеемся, работаем, пьем. Живем *ежедневно.* Вон спец в меховой куртке, желтых ботфортах, зашел пообедать в столовую. С военным бежит в кино советская барышня, румянощекая, на крепких, как свайки, ножках.

А нищие? Дети вспухающие? А людоеды? Нищему — подаяние. Людоеды — не тем будь помянуты к ночи. И дальше: весна придет. Растет снежок арбатский. Вперед, все дальше, несется.

Судьба? Так что ж. Терпи, трудись спокойно, в области высокой. И надейся. Мечтай: об океанах, о далеком, о неведомом. Не всегда же Арбат. Иди в прохладном свете зрелости, с улыбкою печали-радости. Малая жизнь, ты не Верховная. Не связать тебе путника. Он смотрит, но он жив, *желает.*

И средь трагедии и фарса, цены на молоко, возни с обедом, очереди в булочной, средь смеха, смерти, сладких пирожков и рева голода подъемлет свой бокал, с вином, крови подобным.

Белый же свет смутно, бережно нас осыпает крылом хладным.

Москва, 1921 г.

ДУША

Сентябрьский,
свеженький денек.
Андр. Белый.

Девочка попросилась в церковь. Мы нередко ходим в церковь с ней, по летнику, за полторы версты. Но нынче, я уж чувствую, хочется ей поглядеть свадьбу, после обедни. Друг, приехавший ко мне из города, чтоб отдохнуть, собрался с нами.

И хоть несколько капель крапнуло с бледно-лиловеющего неба, и звонили уж довольно отдаленно, мы идем садом среди золотеющих антоновок, меж кленов злато-огненных, чрез рощу, ясным полем с изумрудом зеленей. Девочка впереди. Видит она лошадь и меня дразнит ею:

— Папа, это Чижик наш на зеленях.

Разговор мой с другом ей не интересен.

В беленькой головке, со светлыми косицами, в быстрых ножках — юная душа, тайное соединение отца и матери ее.

Может быть, их страсти, горечи и недостатки в ней смешались, переплавились, родили серебро гармонии поющей. И ей близок жаворонок, синева далей сентябрьских, смех ее чист; вся она — круглая, хоть и остренькое личико у ней.

Когда мы прошли кладбищем и слегка спустились к роще, чтобы обогнуть ее, то показались люди уж из церкви: несколько девиц, да на лошадях двое прокатили.

— Может быть, не идти уж нам в церковь. Ведь, обедня, кончилась, — говорит друг.

Но мы пошли, девочка настояла.

Церковь почти пуста. Небольшая группа окружает батюшку чернобородого; он служит панихиду пред иконой. Свечи бледно горят. Все здесь перебывают. «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремени, и Аз упокою вы». Сколько все мы настоялись, и наплакались, служа об убиенном, также скончавшемся.

Свет Пречистый, поддержи нас...

У могилы, вблизи церкви, с белым крестом березовым, сидим на древней плите соседнего упокоения. Когда, назад два года, хоронил я здесь отца, сторож кладбищенский сказал: «Место хорошее, все князья лежат». Несколько плит тяжелых и замшелых, с высеченными надписями славянской вязью... Не прочтешь теперь, а все лежат. Береза листик золотой роняет; несколько кустов акации, камни, кое-где бурьян, да вид на речку и шоссе, серпом взбирающееся на взгорье. Двое подымаются по нем в тележке.

Курим. Синеет наш дымок от папирос.

Девочка рвет цветы. «Дедушке на могилку». С ней еще дети, наши же, деревенские.

— Ну, — говорю я ей, — домой.

Она подходит и смеется.

— Не хочу. Венчанья дожидаться буду.

Целует меня в щеку и слегка трясет за бороду.

Черноволосый батюшка, в черном подряснике, монашеской скуфейке, слегка осклабясь, приглашает нас напиться чаю, в домике напротив.

Дом поповский, жизнь поповская, сам поп. Как крепко... Мы за столом заедаем чай со сливками медком, свежейшим маслом на лепешках. Кот проходит.

За перегородкой дети зашушукали, возня. Образа слабо золотеют в уголке.

— Да-а, яблочками попользовался мой сосед, попользовался ... — говорит чернобородый иерей с карими, моргающими глазками, дуя на блюдечко.

— Да-а. А что бы поделиться?!.. То этого как не бывало, хоть ведь я, имейте в виду, сам теперь вместо него священник и церковным садом мог бы пользоваться. Да-да-а ...

Все у него есть, да все обидно, что у других больше. С горечью он вспоминает про других попов, у кого чего много, и у всех как будто изобильнее, чем у него. Много и у огородников. Много у мельников, наживающихся на счет советов. В Климовском прихожане пятьдесят пудов муки священнику собрали.

— Кушайте, покорнейше прошу ... Медку еще. Да, да-а ... времена.

Быстро моргает и говорит, что хоть то хорошо: мужиков оберут.

— Это им, чтобы знали, да-а ... чтобы понимали жизнь теперешнюю.

Даль в окне синеет. Грачи стаей плавают над ригой.



Так девочка и не вернулась. Она осталась с приближенными друзьями дожидаться свадьбы — милые цветы украсили могилу, а мы шагали летничком домой, средь нежно серебристых далей сентября.

Так тихо, так все благозвучно, светло, мирно.

Все понять бы ... Принять, одобрить и благословить. Как будто нет той жизни — страшной, грубой и безжалостной, где мы живем. Как будто нет и наших прегрешений.

Страна лежит, страна молчит. Солнце за перистыми облачками серебреет. Лежит сердце, молчит сердце. Молча истаивает.

***

Подходя к роще, паром полынным, ошмурыгивая горькую полынь, мы говорим о счастии и цельности, гармонии и раздвоенности, праведности и греховности, о тех делах, мыслях, стремлениях, с коими — тысячелетия — входит в жизнь человек и выходит из нее.

Синеющим, прозрачно-перламутровым, оком опаловым смотрит на нас даль, слушает душой эфирной.

Нежно алеет и золотеет в лесах. Хочется, чтобы журавли пролетели.

***

Роща, сад, дом.

Мало осталось этих домов, террас, покойных видов в них, покойных семей, мирно пьющих чай на воздухе. Многое сожжено, попалено, — как в видимости, так в душе. Но мы живем. И мы за что-то заплатили: за свои неправды, за прошедшее. Меч Немезиды многое сразил. Но, все-таки, живем. И даже чай пьем на террасе маленького дома и обедаем в дни теплые. И пообедав, как сейчас, играем с другом в шахматы, за стареньким столом, крест-накрест ножки, с крупными квадратами для шахмат, белыми, гнедыми.

Мы молчим часами. Серебристый день покоен. И ни свет, ни тучи. Как тепло! Как хочется быть кротким, добрым. Позабыть. Простить. Узнать Ее, чьей ризою эфиротканной все одето, заворожено, струится. Все струится с иным смыслом, выше нашего.

Движутся фигуры на доске, ведут призрачную борьбу. С клена падает лист, кружась. В красном стеклянном шаре перед террасою мир отражен.

Дали безмолвны, светлосеребряны.

***

О, если бы свет разлить,
О, если бы Лик любить
О, если бы Миг продлить.

Но его не продлишь, не убавишь. Ушел, новые листья с кленов падают, новые думы в сердце проходят, иные дела, малые, бедные, совершаются.

Девочка с девочками из церкви вернулась, отдельно обедает. Бабушка на нас ворчит — зачем все позволяем.

— А мы даже и свадьбы-то не дождались, даже и не приезжала свадьба-то, три раза правда, — доносится из столовой.

Бабушка наша серьезная и основательная. И сейчас все зовут ее барыней. Не обижают.

— И напрасно дожидались.

— Бабушка, ну как ждать-то интересно бы-ыло. Ждали мы — я, Надя, Катька ротастая, Катя клавиш...

— Ешь, ешь, нечего разглагольствовать.

***

Если я зайду во флигель, где живу, то увижу стол свой, книги, снимки, — тот угол, который удивляет моих граждан, что случайно забредают в мои комнаты. Одних смущает Микель-Анджелова «Ночь», повешенная над диваном, для других загадка — Данте бронзовый, глядящий строго на писания мои. Иногда и сам я удивляюсь. Мне — во-первых, странно, почему в бурю

эту уцелел мой угол; и второе, — занимаясь, например, читая Ариосто, иногда я не могу не улыбнуться, и я думаю: «Мог ли воображать поэт, что в стране руссов, отдаленнейшей Московии, через четыре сотни лет, в годы вихрей и трагедий, друг неведомый прочтет его творенья?»

И тогда бывает гордость, и какая-то особенная радость за слово наше, человеческое, несущее мне душу дальнюю, живую.

Я войду и в другую комнату, увижу там кровать, икону Божией Матери в ризе серебряной, на столе, убранную иммортелями. И с ней рядом из трех фотографий взглянет на меня лицо молодое и бодрое, взгляд острый, почти задорный... И нож быстро полоснет сердце, и не отразить ножа, не отразить. А вот и девушка, ему близкая — тоже ушедшая. Вот его друг, лицо полудетское — мученики времени, жертвоприношения сердец наших и удары Рока.

Вспоминая кровь, должен сдержаться. Это трудно.

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас...»

Много здесь выжито, много здесь перемучено. Но это — жизнь.

На столе Богородица в ризе серебряной. О Ты, прибежище всех матерей истерзанных. «Благодатная Мария, Господь с Тобой».



— Папа, на сходку, скорей, зовут!

Девочка приоткрывает дверь, для убедительности вновь кричит:

— Три раза правда!

Убегает.

— Стой! Куда?

— Некогда мне, за коровами!

И ее капор белый, синенькое пальтецо, косицы две мелькают уж далеко.

Что же, идем на сходку. Граждане зовут.

Прохожу тропинкою к деревне, садом. Этот сад отец сажал. Он теперь — деревенский. Но и нам оставила деревня долю нашу. А в этот год, голодный год, чтобы у нас и у деревни сада не отняли — я хлопотал. Успешно. Недавно баба ухватила меня за руку, пожала, а потом вдруг наклонилась, к моему конфузу руку мне поцеловала.

— За хлеб-соль. Теперича голодовать не будем.

Трудно об этом вспомнить без улыбки. И идя сейчас садом, в первый раз сильно принесшим яблок, я чувствую: сад насаждал не я. Так и не удивительно, что он не мой. Это вовсе не удивительно.

* * *

Барин я или не барин? Странник, нищий, или господин, которому целуют руку?

Но какой бы ни был, я хотел бы плыть тихо, с сердцем некровным, в светлой дымке сентябрьской. Не хочу ни дома, ни сада. Я путник.

* * *

Сходка — перед комиссаровой избой. Вокруг столика зыбучего, под рябинкой, на завалинке, на трехногих стульях и скамье, под вечерним сентябрьским небом заседают граждане мои. Раньше я их знал мало. Теперь — побольше. Помню, я их стеснялся, ибо был вдали от интересов их, стремлений, вкусов. А сейчас, по-моему, они меня стесняются. Мы совсем в добрых

отношениях. Но меж нами — пропасть. В разные стороны мы глядим, разно живем, разно чувствуем. Я для них слишком чудно́й, они для меня — слишком жизнь.

«Жизнь, как она есть . . .»

Невесело.

Записывают, сколько кто посеял, что собрал. Сколько отдать, куда везти. Все мрачны. Впереди голодная зима.

Среди унылых будней вдруг из-за ракиты выглянут глазенки детские, знакомые косицы; светлым, теплым проблеснет оттуда. И за ужином рассказывает девочка:

— Мой папа на сходке бы-ыл, уж он там с мужиками разговаривал, а я подслушивала. А потом мы: я, Катька ротастая, Катя-клавиш, Серенька, Оля, в ночное ездили. Уж хорошо ехать было, я рысью ехала, и даже меня Серенька догнать не мог.

Привет бесцельному. Глазам, ребятам, играм, ветерку, облаку, благоуханью . . .

«Жизнь, как она есть» — долой.



И в то время, когда девочка с друзьями скачет на овсянище, или к дубкам на ржанице, отец выходит в поле, как и много лет он выходил в поля родные на заре. Как здесь безмолвно . . . Как знакомы дали, очертания лесочков, нив и колоколен. Вечером в поле кажется, что людей нет, а есть Бог, вечность, природа, медленно, беззвучно протекающие.

«Ничего не было, ничего и не будет».

Или:

«Все было уже, и все будет».

**
*

Несколько позже: стоим у опушки рощи дубовой. Луна в ясном небе. Зелень в слабом серебре росы. Точно мерцает, мреет что-то над ними, как серебряные ризы Богоматери.

Одень покровом своим бедный мир, дохни сиянием своим в души страждущие.

Вечером, когда детские уста станут произносить слова молитвы: «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу» . . . Ты сойди, душа мира, Свет мира, Богоматерь в ризах серебряных, «осени души страждущие».

Мы стоим. Смотрим, слушаем, два призрака, два чудака в пустынях жизни.

Притыкино, 1917 г.

— о —

НОВЫЙ ДЕНЬ

И стерегут, и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах вечности и гроба.
А. Пушкин.

I

Было тепло, солнце светило. Леночка с холодом в ногах и падающим сердцем, взбежала на крыльцо старенького дома у дороги, наискосок барских оранжерей. Здесь помещалась ранее контора, жил отец, правил имением; а ныне поселилась Катерина Степановна, сестра мужа покойного; с нею и Оля.

Катерина Степановна высокая, худая, усталая женщина с землистым лицом и загрубелыми руками, стирала в сенцах, в небольшом корыте.

— А, это ты! Наконец-то. Дочь давно ждет.

— Ну, ну, как? — Леночка задохнулась, поцеловала ее во влажный, желтоватый лоб. — Что Оля?

— Да ничего, поправляется. Сейчас кофточку ей кончу и приду.

Отвернувшись, стала достирывать, а Леночка распахнула дверь — там пахло слегка затхлостью, чем-то старым, давно знакомым — быстро прошла в комнатку

за перегородкой. На постели, с завязанным горлом, сидела худенькая девочка лет восьми, и вязала. Увидев мать, чуть побледнела, опустила руки со спицами.

— Мамуля . . . — лицо ее стало напряженным, глаза заблестели. Видимо, сдерживалась. Но Леночка бросилась, обняла и сама заплакала. Теплая грудь ее волновалась. Простые, карие глаза сияли.

— Радость моя, золотой мой ребенок. Ну, слава Богу, мой, мой . . .

— Я все думала, мамуля, приедешь ли . . . — шептала девочка.

— Гостинчика тебе привезла, вот . . . яблок, шоколаду, и еще гребеночку.

Успокоившись немного, стала ее расспрашивать, рассматривать. Оля, ей казалось, похудела, повзрослела. Что-то почти важное появилось в глазах.

— Мы с тетей Катей все сами делаем. Ей теперь только труднее, что я больная. Но я скоро выздоровлю.

Леночка заставила ее тотчас же съесть кусочек шоколаду. Оля отгрызла. Остальное спрятала в шкатулку.

— Это я в другой раз. Буду есть и тебя любить.

Вошла Катерина Степановна, ополоснула руки, заглянула в дверь.

— Ну, нежничает уже мамаша с дочкой.

— Катя, ты представить себе не можешь, как я испугалась, когда Федóра ко мне в Москве пришла, стала рассказывать. Нивесть что подумалось.

— Я уж тебя знаю. А просто была у девочки жаба, и инфлуэнца. Да и по тебе скучает. Проголодалась, небось, с дороги-то? Вздую самовар, ради приезда . . . а там уж сама действуй. Мы тут люди чернорабочие. Все сами, все сами. На ногах с утра до вечера.

Она громко вздохнула и опять вышла.

— Тетя Катя очень устает, — тихо сказала девочка, — потому что на ней весь дом, и в поле она сама убирала, а я ей вязать помогала. Оттого она такая бывает . . . — Оля запнулась, и посмотрела на мать, — строгая.

Потом улыбнулась и погладила синего жучка на Леночкином капоте.

— Мне очень нравится этот жучок . . . Потому что твой.

Она обняла мать, и шепнула с мокрыми от слез глазами:

— Я тебя очень все люблю, ты веселая и ласковая.

Леночка стиснула ее, крепко поцеловала и встала.

— Пойду тете Кате помогать. А тебе на вот еще книжечку, посмотри картинки.

Книжек было три, совсем новенькие; от них пахло типографской краской. С тем же напряженно-блестящим взглядом Оля перелистывала их, каждую поцеловала, потом вместе все сложила, подержала на коленях, — и опять стала рассматривать. Временами поправляла гребенку на голове, туго прижимавшую волосы, гладила книжки и шептала:

— Миленькая, перемиленькая, размиленькая.

Леночка же вышла в сени, отняла у Катерины Степановны самовар, сама стала с ним возиться.

— Я духом, духом его! — смеялась, блестя карими глазами. — Господи, благодать какая здесь у вас, в деревне!

Катерина Степановна складывала выстиранное белье.

— Все такая же, Елена. Ни годы, ни заботы на нее не действуют. Должно, жизнь твоя в Москве хорошая.

Леночка сидела перед самоваром, дула, и от бурного ее дыханья угли разгорались ярче, золотым огнем. Ско-

ро загудело, сквозь жестяную, в трещинах, самоварную трубу полетели огненные стрелки.

— Солнышко у вас тут, свет, благодать, — говорила Леночка. — Как не радоваться?

Она взглянула на порог, залитый солнцем, на сухую, пыльную дорогу, сад с полуоблетевшей листвой — просветлевший, пестро-нарядный. Совсем вдали золотым стражем стоял клен.

Но Катерину Степановну нельзя было этим взять.

Давно и безоговорочно она что-то решила и никакие клены, солнца и осени не имели над ней силы.

— Благодать! Попробовала бы здесь пожить, спину с утра до вечера не разгибая . . .

И стала рассказывать, как ей трудно, как теснили ее мужики, как сама она пахала, и скородила, и стряпала. Здесь большие перемены. Усадьбу, правда, не разграбили, но, конечно, молодого графа давно нет, только Александра Игнатьевна живет еще в большом доме — да и его занимают. Лошадей графских всех позабрали, коров оставили — для молочной фермы. А для садов и оранжерей инструктор есть, молодой человек, и сады считаются советскими.

— Сначала на меня косились, что я с ней знакомство веду, — прибавила хмуро, — а теперь привыкли. Ну, с фермой-то у них плохо, коров нет, а сады ничего, Леонтий Иваныч старается.

Леночка поднялась над самоваром, выпрямилась и мгновенно задумалась. Как идет время! И как все меняется! Давно ли жила она здесь попадьей, в домике у церкви, с худым, мрачным о. Николаем. А потом смерть его, Москва, теперь служит она там, лишь изредка сюда наведываясь. Вольная жизнь, любовь, Василий Васильич. «Нет, вряд ли уж могла она тут прозябать, в прежней, бедной норке. Да, а Оля?»

Отвечать не хотелось. Пусть живет, пока что, здесь, «а что за Василия Васильевича выходить буду, надо, разумеется, сказать . . .» Леночка зевнула.

— Это, вон, кто в курточке между яблонь ходит?

Катерина Степановна взглянула.

— Он и есть. Самый наш инструктор. И никак к нам . . .

Белокурый молодой человек, с грубоватым, здоровым лицом, перелез через невысокий забор и направился к домику. На нем была кожаная куртка, картуз, высокие сапоги. В руке держал он яблочную снималку, и несколько яблок.

— Катерине Степановне нижайшее! Не желаете ли . . . — он протянул пару золотистых, уже прозрачнейших яблок. — Последние. Хожу, ревизию делаю. Навожу порядок, черт бы их побрал.

Увидев Леночку, немного запнулся.

Катерина Степановна поблагодарила.

— Это моя невестка. Из Москвы. Знакомьтесь.

— Очень приятно.

Он снял фуражку, поздоровался.

— Народ, знаете ли, мало понимает . . . Всюду надо следить и самому торчать, чтобы делов не наделали, черт их побери. Стадо в сад запускают, того не понимая, что корова молодой побег в раз скусывает, ей дыхнуть, и посадок ободрала. А ведь с меня спросится.

Он вынул из кармана еще несколько яблок.

— Могу еще предложить — коричневое, есть его любители, это, покрасней, скрижапель, оно, собственно, крейц-апфель, а в просторечии искажено в скрижапель. А вот это им позвольте представить — так сказать, яблоко из яблок, аркад. Там, в Москве, вряд ли найдете. Прямо скажу — чистейший сахар и аромат. Даже удивляюсь, как на веточке удержалось.

Яблоко было огромное, с красно-золотистыми прожилками; сок капал, когда Леночка откусила его тающее, нежное тело.

— Страна была одна счастливая, Аркадия, — пояснил он. — Откуда и название. Значит, там яблоки эти самые росли.

Леночка вдруг засмеялась.

— Ты чего? — спросила Катерина Степановна.

Та продолжала смеяться.

— Глупость, — от смеха карие ее глаза стали влажны. — Просто глупость. Я подумала, что верно Ева Адаму такое яблоко подарила.

Леонтий Иваныч засмеялся.

— Очень возможно. Лишь у них, знаете ли, сады не сдавались, и окапывать их, обрезать не надо было.

Катерина Степановна не улыбнулась, и спросила, как Александра Игнатьевна.

Он встрепенулся.

— Хорошо, что напомнили. В субботу, к семи, чай пожалуйте пить, мед будет, сдобные булочки какие-то. Александра Игнатьевна непременно наказывала вам передать. Я приглашен, да учительница, да, может, батюшка из Проскурова. А теперь разрешите откланяться, спешу, очень тороплюсь по делам, время в высшей степени беспокойное . . .

Подавая руку Леночке, слегка замялся.

— Может, и вы . . . с Катериной Степановной соберетесь. Александра Игнатьевна рада будет, она знаете ли, очень простой человек.

Леночка смотрела на него все еще смеющимися, веселыми глазами, протянула руку, и в звуке его голоса, во всем нехитром, но молодом и свежем его лице вновь почувствовала, что она нравится — то, что ее всегда свежило, веселило и бодрило.

— Может быть . . . да, как Катя скажет.

Он ушел. А Леночка пила с Олей и Катериной Степановной чай, потом гуляла, дыша чудесным воздухом сентября, улыбалась на солнце, и была счастлива, что она с дочерью, на отдыхе, в деревне. Вечером, укладывая спать, долго ласкала Олю. Потом блаженно легла сама, потянулась и поежилась теплым и нежным телом. «Ну, грехов на мне много, грехов, да Бог милостив. Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея».

Совсем уже засыпая, подумала: «Вот еще Оля . . . если я замуж-то выйду . . . и к Николаю на могилку сходить». На мгновение ей стало грустно. Но тотчас же заснула.

II

Оля почти поправилась. Ей позволили сидеть на солнышке, в старом пальтишке — сине-красными клетками. Она туго притянула к волосам гребенку, заложила на завалинке ногу за ногу, и серьезно, очень внимательно читала три книжки, что привезла мама — одну за другой, с равным интересом и уважением: мамин подарок.

Леночка же постоянно была тут — смеялась, болтала, доила корову — все делала весело и вольно. То, что некий Василь Васильич есть на свете, и сейчас ездит вдали, но ей пишет, о ней думает, действовало, как легкое, тонкое опьянение. Но иногда взглядывала она на Олю, улыбка сдерживалась на лице. «Как серьезна, мала, и как серьезна, — проносилось в голове. — В отца. Лоб такой же, и так же сидит». Это далеко было уж от ясного сентябрьского дня, от смеха, от Василия

Васильевича. «Надо ей сказать, ах, забываю все, ведь надо ж» . . . Но не говорилось. И Леночка себя не торопила.

Через день по приезде, незаметно от Оли, вышла из дому. Все такой же был теплый, золотой свет. В соснах, у дома, как всегда, грачи орали. За дорогой, справа, графские конюшни, каменные, тяжкие; покоем оцепляют они двор, ныне весь травой заросший — на трех колесах увядает там рассохшаяся бочка. Здесь, ребенком еще, помнит Леночка своры борзых, гончих, доезжачих в черкесках, рога охотников, кавалькады бар — жуткое и занятное тогда зрелище.

Прошла дальше, мимо дома за палисадником, славным розами. Роз теперь не было.

Четкая, легкая тень дерев синеватым плетением бежала по клумбам, тянулась к балкону, к самым голубым пихтам у подъезда. Леночка вздохнула. Вон и церковь белая, с крестом накренившимся, куда хаживала она скромной попадьей. Тут муж служил. В этом домике они жили — все прошлое. Жизнь старая, и отошедшая, все же чем-то с нынешней соединенная.

Она перешла мост через пруд, — как и раньше затянут он плесенью, и утки в нем плещутся, — взяла налево слободой, потом в проезд между дворами, где сады, гумна, конопляники. Тут шла работа.

Парнишка навивал омет соломы, золотой и чистой. Строили ригу. Там веяли; там девчонка бежала по огороду с хворостинкой за коровой — все кроя, ровно и неумолчно по-осеннему лопотала молотилка.

За последним скирдником открылось поле, и налево, наискосок, кладбище. Старыми ветлами оно обсажено. Паутинки, Богородицына риза блестят по полю, золотистым сиянием; свет струится в мелкой, глянце-

вито-серебряной листве ракит. Вдалеке, за полем лес сереет, с золотом берез.

Войдя на кладбище, Леночка перекрестилась. Сдвинутые с мест каменные ковчеги — образы гробов; поникшие кресты; кресты чугунные, тяжкие и грубоватые; две три свежих могилки, с желтеющим песком, с веткой полузавядшей рябины в огненных гроздьях; корова, лениво жующая — далекое теперь, вновь мерное и бесконечное лопотание молотилки, ровные окрики на лошадей «Ого-го-го!» — под солнцем осени сливались в тишину, бездольность. От всего далеко это место. Вот каменная часовня в глубине, в тени — склеп графский и последний порог прощания с живущим. Леночка хорошо знала эту церковку. Здесь нередко муж служил, и теперь сам он вблизи лежит, недалеко от графа, которого отпевал.

Она подошла. Икона висит еще в углу. Прохладно, сыровато и пустынно. Из плит мох пробился. Березка вытянулась с карниза.

У могилы мужа опустилась Леночка на колени. Слезы сдавили слегка горло.

Страшно было вообразить, что теперь от всего этого худого, сумрачного человека, некогда любимого, лишь скелет остался, жалкие кости в полусгнившем гробу.

— Господи, прости прегрешения мои, — быстро шептала она, и все крестилась, и кланялась, как маленькая.

Да, забыла его. Да, вела жизнь ветреную, чувственную. Если бы он знал! — Встала, смахнула слезу, оправила трепавшийся локон:

«Надо панихиду, панихиду заказать. Ах, могилка-то как запущена, ни цветка, ни памятки».

И представилось ей — так же и она умрет, веселая, смешливая Леночка — и от ее белых рук, нежной гру-

ди, теплой шеи с бьющейся жилкой — такая же останется могилка. Вздрагивающей рукой сорвала несколько ромашек да суховатых иммортелек — букетиком положила в изголовье. Но чувство жуткости, острой тоски не уходило. Как будто важное и хладное племя мертвых владело этой областью, упреком вздымало свои кресты.

Леночка шла назад иначе, в обход прудов, к фруктовым графским садам. «А если он не хочет, он . . .» И опять он, с длинными волосами, в темной рясе проплывал где-то, пересекая мрачным следом ее иной, простой, счастливый путь. Лишь у ограды сада, где солнце грело теплей, и вдали, в куртке, с кусачкой и садовой пилой приметился Леонтий Иваныч, почувствовала она себя свободной. «Я же ведь девчонкой была, когда за него выходила, ничего не знала и не понимала . . .»

Фуражка Леонтия Иваныча висела на ветке. Сам он с каплями пота на лбу, со сбившимся хохлом пилил сухой крепкий сук.

— Наше вам! — закричал он. — Прогуливаетесь, под ясным солнышком?

Леночка подошла.

— А мы трудимся все, трудимся, черт побери . . . всюду самому надо, а то чепуха одна выходит . . . нет, что ни говори, нам еще до культуры далеко.

Леночка улыбнулась, но сдержанно.

Сук, наконец, рухнул. Леонтий Иваныч отбросил его, вынул носовой платок, обтер лоб и стал собирать свои инструменты. Голубые глаза его глядели горячо и наивно.

— Если я садовод, так и сад свой люблю, и за деревом хожу, и его знаю . . . А мы сплошь да рядом видим лишь одну корысть, это очень далеко-с от порядочности. — Вы до дому? Ну, я с вами, мне в ту же сторону.

Он надел картуз, зашагал рядом, на коротковатых, крепких своих ногах.

— Новое время, новые люди, так ведь надо дело свое любить и знать. Ведь мы в эпоху живем . . . так сказать, в историческую эпоху . . . и с нас спросится. Ведь сейчас жизнь переделывается, а никто шагу ступить не умеет.

— Вот и надо учиться, — равнодушно сказала Леночка.

— Ха! Учиться! Хорошо сказать: учиться! Да учиться-то никто не хочет, всем готовенькое давай, и чтобы пожирней кусочек. Скажем, здесь: нынче сад крестьяне убирали, урожай, то есть. Им условие было — чтобы сад осенью окопать. Что же сделано? Разве это окопка? Так, потыкали лопатами, по поларшинчика вокруг корня, и вся недолга. Что же, я не говорил? Не указывал? Ну, одно дело яблочки собирать, а другое — за яблонями ухаживать. А вы думаете, на зиму они их обернут, соломой-то? Слово вам даю, тут по снегу зайчишки в волю поработают.

— Вы какой-то садовод исступленный.

— Ну, конечно, дамам эта материя неинтересна, им, понятно, чего-нибудь насчет чувств, театров . . .

Леночка рассмеялась.

— Уж и театров . . .

Она блеснула на него карими своими, опять влажными и повеселевшими глазами.

— Вы молоденький такой, а все о серьезном, об основательном, подумаешь, какой деятель . . .

Леонтий Иваныч тоже улыбнулся, широкой детской улыбкой.

— Я и сам бы не прочь повеселей быть, да вот, что-то не выходит.

— Вам, что . . . лет небось, девятнадцать?

Он слегка вспыхнул.

— Разве я таким щенком кажусь?

— Ну, двадцать. Эх, — прибавила она серьезней, — вы и жизни-то совсем не знаете, и чуть чуточку ее понюхали, а уж туда же, как большой...

— Нынче все должны быть большие... Наша эпоха, историческое, так сказать, время... Да. Александра же Игнатьевна вновь подтвердила, чтобы приходили.

Леночка подала ему руку и свернула к себе.

«Жизнь меняется, — думала она, подходя к домику Катерины Степановны. — Это-то уж конечно, и эпоха... Василий Васильич то же самое говорит, но, понятно, этому до него далеко. Да, мальчик смешной... Впрочем, горячий».

Дома Оля ждала уже. Она сидела за книжкой — внимательно взглянула на мать.

— Мамуля, где была?

— Прошлась немного.

Леночка ответила неясно, и яснее не хотела говорить.

Оля взяла ее за руку и поцеловала.

— Уедешь, опять скучать буду...

— Я служу, деточка, ты знаешь.

Оля прижалась к ней головой.

— Мама, возьми меня в Москву... с собой. Я тебе помогать буду, все делать.

Холод и тягость прошли в сердце Леночки. Она тоже ее обняла.

— Может быть, детка... да, конечно. Не сейчас. Сейчас трудно. Ты знаешь, как в Москве трудно... я в одной комнате живу.

Оля перебирала пальцами бахромку скатерти.

— Я бы тебе помогала. Все бы делала.

Леночка слегка задохнулась, поцеловала ее горячо.

— Там посмотрим, там посмотрим.

Оля молчала. Глаза ее наполнились слезами.

— Нет уж ты так говоришь . . . значит, не возьмешь.

— Милая, возьму, как только можно будет — возьму.

Леночка раскраснелась и заволновалась. Синяя жилка сильней билась на теплой ее шее.

— Да, я тебе еще что-то скажу . . . Ты знаешь, знаешь . . . я наверно замуж выйду, у тебя будет папа . . . Ну, вот, тогда мы . . . квартиру наймем, и переедем все.

Оля подняла на нее глаза.

— Мой папа умер, — тихо сказала она. — Я и могилку его знаю. У меня другого папы нет.

— Да, теперь нет . . . а будет . . . Он очень добрый, ты его полюбишь . . .

Оля отошла, молча стала перекладывать свои книжки. Она имела вид покорный, сдержанный, но отдаленный.

— У меня другого папы нет, мой умер, — повторила она упрямо.

И в тот вечер Леночка уж не могла развлечь ее — ни шутками, ни сказками, ни лаской.

III

В субботу, когда пришло время идти к Александре Игнатьевне, Катерина Степановна усмехнулась своими узкими губами и взглянула на Леночку.

— Мне хлеб надо на завтра ставить. Иди уж одна.

Оля молча шила. Леночка вдруг почувствовала себя виноватой.

— Как же идти, когда звали, собственно, тебя? — она слегка покраснела.

— Ты у нас гостья. И принарядишься, и посмеешься... А в нас кому какой интерес.

— Конечно, мама, иди, — сказала Оля. — Надень новую кофточку. Я тебе брошку заколю, будешь всех красивее...

Оля подняла на нее умные глаза. Сейчас казалась она старше и серьезней.

— А я тете Кате помогать буду.

— Наше дело работа, — заметила Катерина Степановна, — да за ребенком смотреть. А не развлечения.

В ее остроугольной спине, в сухих и жилистых руках с красными пальцами было всегдашнее неодобрение. Леночка чуть не вспылила — и она в Москве немало работает — но удержалась.

«Ладно, пусть, какая ни была, все равно не останусь. Нарочно не останусь, вот еще...» И, как советовала Оля, приоделась и отправилась.

К дому шла широкой липовой аллеей — некогда каталась здесь на пони француженка, любовница графа, скучавшая в деревне. Ныне солнце, краснеющими пеленами, ложилось под ноги. Огненной точкой сиял стеклянный, розовый шар у балкона. Сквозь ветки лип небо казалось высоким и пустынным.

Леночке вдруг вспомнилось — раз, давно, шла она так же по аллее этой, после ссоры с мужем — он не пускал ее в графский дом, куда их пригласили слушать музыканта заезжего, и она отправилась одна. «Все это сон, давнопрошедшее, — пронеслось в душе. — И граф, и муж, и Катерина Степановна, и вся жизнь. Обратят дом в школу, уедет Александра Игнатьевна, вот и совсем кончатся графские роскоши. Француженки! Лю-

бовницы! Будет мужичье царство — и пускай!» Ей было горько, не хотела она добра графу этому, хоть давно лежал он в могиле, да и француженка его покоилась, наверно, где-нибудь на родине.

Подходила к большой, каменной террасе. Дикий виноград, красными листьями, обвивал еще ее.

Под голубой сосной молодой человек в гимнастерке пытался сорвать шишку, нагибая ветку.

— Один момент, сударыня, мы эту шишку усовершенствуем. Один момент — говоря короче — однова дыхнуть.

Александра Игнатьевна, дама поджарая и узкогрудая, в митенках, пенсне, в тальмочке, стояла рядом, опираясь на зонтик.

— Это замечательная сосна, ее посадил мой beau-père в день своих именин.

Демократ сорвал, наконец, шишку.

— Надо все оглядеть, — говорил он с восхищением. — Я нарочно на велосипеде из нашего отдела приехал, зная, что у вас тут замечательные экземпляры есть, короче говоря, нам для питомника. Вы представить себе не можете, какие мы питомники через год разведем.

Из балконной двери вышел Леонтий Иваныч.

— Вы, товарищ, весной приезжайте за семенами, весной и питомник свой рассадите. А сейчас это слова одни...

— Удивительное деревцо, — продолжал молодой человек. — Мы его усовершенствуем. Сударыня, я бы очень хотел еще пчельник ваш осмотреть, и оранжерею, как в образцовом, культурном имении... Вы не подумайте, это все лишь для усовершенствования народа, ведь пора же нам, так сказать, человеческой жизнью жить начать. Ведь не век же так будет, как сейчас.

— Ах, уж не знаю. Этого, право, не могу сказать, как вы там с вашим новым правительством и новыми идеями устроитесь.

Увидев Леночку, Александра Игнатьевна улыбнулась и кивнула ей.

— Ну, а что же Катерина Степановна?

Леночка объяснила. Молодой демократ поклонился, восторженно и возбужденно спрятал шишку, взялся за велосипед. Он имел вид человека, коему дня мало, чтобы как следует все улучшить, насадить, усовершенствовать.

Александра Игнатьевна повела Леночку в столовую.

И здесь прелестен был пурпур солнца прощального. Бледно-серебряный самовар клубил. Старинные чашки стояли на подносе нежного фарфора.

— Милочка, — Александра Игнатьевна слегка, томно обняла ее, — я ведь вас вот еще какой помню, девочкой, когда вы с Alice в прятки играли. О, как время идет! Как тягостен его бег!

Леонтий Иванович потирал озябшие руки.

— Для кого как, товарищ Александра Игнатьевна. Для кого тягостен, для кого нет.

— Голубчик, я знаю, вы начнете сейчас разводить свои идеи, что мы отжившие люди, и тому подобное... Но, во-первых, в доме повешенного не говорят о веревке, и во-вторых, вы ведь верите, что все будет отлично... que l'âge d'or arrive. Я же сомневаюсь. Более, более чем сомневаюсь.

Леночка молчала, пила чай. Странное чувство овладело ею: да, вот это и знакомое, что некогда — в играх с покойной Alice — казалось таким важным и торжественным, теперь оно ужасает и уже сейчас она, Леночка, не так сидит здесь, как лет десять назад, когда и Леонтия Иваныча не было бы тут, и демократу нечего

было *усовершенствовать,* а на том балконе часами заседали гвардейцы, за вином, и всю ночь щелкали киями на биллиарде: все это прошло, как ушли люди, чьи портреты еще висят в зале, на стенах, как уходит все. Там будет музей, здесь библиотека, и по паркету ходят люди в смазных сапогах, и вот эта Александра Игнатьевна как бы из милости ютится тут, чем-то заведуя, что-то устраивая. Ей, конечно, грустно. И, конечно, неважно пахнут гимнастерки, смазные сапоги. Старые портреты смотрят с изумлением. Грустно, и радостно. Радостно, грустно. Мертвые уходят.

Подъехал батюшка — молчаливый и подавленный, с реденькой бороденкой. Тоже он жаловался, что его теснят, и это было верно, и весь облик его говорил: нелегко человеку.

— Все понимаю великолепно, и сам ругаюсь, и никого из вас обижать не хочу, — говорил Леонтий Иваныч. — Вы напрасно это, Александра Игнатьевна. Да ведь в толк возьмите — ведь тот-то, товарищ приехавший — ведь всю жизнь под спудом жил, и теперь вдруг... нате вам... голова и закружится — все хочу усовершенствовать. Я сам глупостей не одобряю. Много, очень много вокруг дряни этой самой, но не одна же дрянь, и нельзя тоже глаза закрывать...

— Да, но сколько грубости...

— Хотите, чтобы сразу беленькими все стали.

Спор, конечно, разгорелся и, конечно, ничем не кончился. Чай отпили, перешли в огромную залу, с верхним светом. На рояле Александра Игнатьевна зажгла свечи, вынула ноты. Леночка с Леонтием Иванычем сели на диван в дальнем, полутемном углу.

— Моцарт, Бетховен, это бесспорно, — говорила Александра Игнатьевна, усаживаясь на вращающуюся

табуретку. — Это высший мир, Леонтий Иваныч, и никто его у меня не отымет. Les voix des anges, qui chantent.

Голоса ангелов зазвучали на древнем, вечном своем наречии. Вдали камин краснел, а середину залы наполнял сумрак, слабыми тенями от огня.

— Эх, мир, конечно, высший, только нам туда далеко, — шепнул Леночке Леонтий Иваныч. — Еще много пожить, милая Елена Александровна, прежде нежели туда добраться.

Он сидел с ней рядом. В полутьме чувствовала она его горячие и наивные глаза. Он вдруг положил ладонь на ее руку и слегка погладил.

— Кого книзу клонит, а кто молод... Жить-то, жить как хочется! Вы ведь тоже молодая и должны понять...

Леночка обернулась.

— Жить!

Да, помирать, конечно, рано. Много сил, много жару... То же смутное, глубокое, важно-грустное, важно-радостное владело ею. О, далек, загадочен путь жизненный. Вольно идти по нем — вольному, как плыть в синеве звездам, что сквозь стеклянный свод залы видны на небе. Бетховен говорил могучим языком. Она была молода, чувствовала, что жива, красива, горяча.

— Как вы тогда говорили: Аркадия, это счастливая страна, где чудесные яблоки растут?

Он глуховато ответил:

— Так. Вы же сказали: верно, Адаму Ева такое яблоко предложила.

Леночка засмеялась.

Кончив, Александра Игнатьевна встала из-за рояля.

— Эгмонта я и сейчас не могу равнодушно слушать. Вспоминаю детство, Рим, где нас водили после обеда на Монте-Пинчио, там оркестр играл... Старый князь

Вадбольский давал нам шоколадки, а потом мы с нянюшкой шли в отель, на via Babuina. Итальянцы глазели на нянюшку нашу — она была в русском костюме.

Но из присутствующих никто в Риме не был, разговор не поддержался. С батюшкой и немолодой учительницей села Александра Игнатьевна за преферанс, перенеся на зеленый стол те же две свечи, что светили ей для голосов ангельских. Там, уйдя от жизни и своих печалей, погрузились они в мир валетов, дам и королей — таинственную фантасмагорию призраков, таинственную связь удач и поражений. Это успокаивало и туманило.

— Не хотите ли взглянуть, — сказал Леночке Леонтий Иваныч, — кои тут у вас перемены, как мы барское жилье для народа переделываем?

Леночка встала.

— Да оденьтесь, — отозвалась из-за стола Александра Игнатьевна, поблескивая пенсне своим, уныло качавшимся на худеньком носу. — А то нетоплено . . . Народ еще не обогрел . . . народ-богоносец.

Леночка накинула пальто в передней. Леонтий Иваныч взял фонарик.

Пусты, холодны, громадны комнаты в сентябрьскую ночь со звездами. В прежней биллиардной будет библиотека. В комнате графини — читальня. В кабинете — любимой комнате графа — музей. На стенах таблицы, географические карты; по столам модели, чучела, глобус, скелеты рыб, маленький телескоп.

Бюст Гомера затерялся в шкафу. Из мрака, смутной тишины, то одно, то другое выплывает, входя в бледный круг фонарика, вновь уходя в ничто.

Вспомнилось, как лежал здесь, на смертном ложе, граф — такой важный и далекий уже от всего земного, и такой торжественный, каким в жизни не был никогда.

И муж, в белой серебряной ризе служил над ним, ладан широкой, голубой рекой ходил тут. «Ах, ну не надо этого, опять... Не хочу ладана...»

— Нет, здесь мрачно. Пойдем наверх.

В верхних комнатах, антресолях, играла она некогда с Алисой в прятки. Все по той же лестнице, как и тогда поскрипывающей, поднялись они. Стало теплее. Те же низенькие потолки, та же мебель, обитая недорогим кретоном. Тот же образок в углу Алисиной спальни. Неизвестно кем теплящаяся лампадка перед образом. И на скатерти — как душа осиротелых мест — мертвая ссохшаяся бабочка.

— Ах, мы тут много бегали с Алисой, она была особенная и очень славная. Выросла — с родителями разошлась, вышла за эмигранта, голодала, и в Париже умерла. Где-то еще должна быть дверь на чердак. Мы и там прятались.

— Все найти можно, и дверь эту найдем, все найдем.

Тоном человека уверенного и жизненного, Леонтий Иваныч поднял фонарик свой, прошел вперед. Правда. дверь оказалась вблизи. Отомкнули крючок, дверь толкнули — очутились в черной тепловатой, затхлой пустоте. Свет фонарика едва означил балку, стропила, пол, усеянный птичьим пометом. Стая голубей с шумом взлетела, забила крыльями.

Леночка сделала вперед несколько шагов.

— Мы ужасно любили этих голубей. Ну, а если б вечером так, как сейчас, мы бы испугались...

Голуби подняли пыль, один за другим стали вылетать в слуховое окно, в темную ночь. Леночка подошла к стеклянному куполу. Вершиною выходил он над крышей, и внизу, сквозь запыленное стекло, которое протерла она пальцем, виднелась зала, две свечи, трое безмолвных людей, безмолвно, словно призраки ведших

свою игру. Вот одна тень встала, вот вошел в залу кто-то и наверно говорит — но ничего не слышно. «Как в аквариуме рыбки за стеклом».

— Нравится вам за ними смотреть?

Леонтий Иваныч поставил на пол свой фонарик.

— Очень. И вообще очень хорошо, что вы тут, мы вдвоем . . . что вы . . .

И не договорил. Леночка что-то поняла, знакомое, горячее. И засмеялась, коротким смешком. Он слегка обнял ее сзади, и поцеловал в шею, у теплых волос.

— Ах, вот как, вот как . . — она продолжала смеяться, слегка оттолкнув его. — Это уж не совсем . . .

Она не знала, что хотела сказать, это было и неожиданно, и ожиданно, ей стало весело и неловко, и знакомая ласковость волной прошла по теплому ее, многолюбивому телу.

— Жить хотите, торопитесь, — бормотала она, пробираясь к выходу и уже почти в дверях, полузакрыв глаза, мягко и нежно, чуть побледнев, влажными губами поцеловала его прямо в губы.

— Ну, и будет, будет, и идем, — прошептала, оторвавшись. — Что такое за ребячество . . .

И опять смеясь, но уж более решительно, спустилась в антресоли, а за ней Леонтий Иваныч, со своим фонариком, с громко бьющимся сердцем.

Через полчаса он провожал ее домой, по парку. Ночной туман белел. Звезды цеплялись за ветки. Была глубокая тишина сентябрьской ночи. Лишь шаги отдавались. Леночка вздрагивала и смеялась, смутное, сильное и ласковое, ток жизненной мощи нес ее, земля казалась легкой. «Это все глупости, чепуха, — проносилось в голове. — Ну, просто шутка . . .»

А Леонтий Иваныч говорил нежности на своем дубоватом наречии. На его руку удобно было опираться.

— Да ведь я же уеду, все равно, очень скоро . . . Ведь давно пора. Очень даже пора, ехать, ехать.

Катерина Степановна отворила дверь с видом всепонимающим, покорным, и непоколебимым.

IV

Леночка заснула сперва крепко, даже с улыбкой. «Ну и целовались, глупости какие, мало ли чего ни бывало . . .» Сон взял ее сильно, и горячо, как свою любимую. И из темного обьятия не выпускал всю темную часть ночи, пока стыла земля под заморозком. Но посветлело небо; зарозовели стекла, отуманенные за ночь; в чутком, звонком серебре, в хрустале инея выступила дорога, стеклянные оранжереи, парк с огромным кленом, конюшни. Верные стражи — петухи запели. И по мерзлой земле загромыхала телега. Леночка вдруг задышала тяжко, застонала и забилась. Ухватила край простыни и к себе тянула, и сама тянулась, а сердце так напряглось, вот сейчас оборвется. «Фу, кошмар какой, какой кошмар». Не то она умирала, не то хоронили ее, не то она не хотела лечь в могилу. Лоб холодный, в поту — видно, милый сон, так сладко взявший в ранние часы, ушел. «Николай, ведь это ж я, ну просто я . . . живая».

Она очнулась уж теперь, вот комната, и Оля дышит ровно и покойно, спит ясным сном. Там дверь к Кате. Нет, *он* был, все-таки, здесь сейчас, что такое произошло он был . . . а может, и сейчас тут? В ужасе обернулась — вдруг увидит траурную рясу, замогильный блеск очей. Но ничего не увидела. Только сердце колотилось. «Ровно в годовщину, как раз под годовщину

смерти его с Василием сошлась, — вдруг вспомнила. — Нет, не простит теперь, нет, не прощает».

Леночка села, сжала себе виски. «Свят, свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. Аминь аминь скройся!»

Стало немного легче. Все-таки заснуть она уже не могла. Укрывшись до подбородка, лежала тихо, глядела, как Оля спит и почему-то все хотелось не разбудить ее. Да, плохая она мать, несмотря на книжечки и шоколадки. Дочь . . . Горько, сладко щемило сердце. Может, надо для нее ломать жизнь, может нет. Она вздохнула, потихоньку взяла зеркальце. Вот отобразилось в нем кругловатое, простонародное лицо с карими глазами, так легко вспыхивающее, так легко подверженное свету, ласке. Яркие губы, столько грешившие. Теплая шея с синей, бьющейся жилкой, — вся та Леночка, что в двадцать восемь лет выглядит еще девушкой, часто ходит в матроске, и в Москве, на службе, за быстроту и расторопность, и за матросский этот воротничок зовут ее *капитаном.* Такая она есть, и разве изменишь? И если бы Николай был жив, что это бы была за жизнь? «Нет, уж видно — как положено, так быть! Ехать, нечего тут сидеть, на прежнем пепелище!»

Скоро завозилась Катерина Степановна, Оля проснулась. Леночка сделала вид, что спит. Встала позже, совсем оправившись. И сказала, что завтра утром должна на станцию. Оля приняла это покойно.

— Вот, смотри, мама, я тебе какую брошечку сделала, это на память, — и показала свою работу — медальон, обмотанный серебристым шелком, в нем маленькая фотография Оли, трехлетней девочкой. — Это из карточки, где мы с папой снимались, помнишь? Чтобы ты меня не забывала.

Леночка обняла ее, опять задохнулась, и слезы застлали глаза.

— Неужели... неужели думаешь, я такая мерзавка... я забуду?

Оля слегка отвернулась.

— Ничего, мамочка, это я так... Я, конечно, знаю...

Вечером Леночка забрала ее к себе в кровать, опять с ней поплакала, ласкала и поклялась, что возьмет в Москву, как только можно будет. Оля лежала рядом тихая, и тоже заплаканная.

— Мамочка, — прошептала она, засыпая, — только ты знай, что я тебя, все равно, больше... больше всех, больше жизни люблю.

На другое утро, очень рано, Оля проснулась и стала собирать мать. Делала это покойно и деловито, как взрослая хозяйка. Положила яичек, хлеба, масла. Вынесла небольшой ее саквояжик.

— Ну прощай, — сказала Катерина Степановна. — В Москву свою... Прощай.

Она поцеловала ее так же холодно, как и встречала. От поцелуя оставался след сухой могилы.

— Если Оле что понадобится — напиши.

Оля проводила мать до моста, через пруд. Там простилась. И до самого сворота в тот проулок, что вел к кладбищу, Леночка на нее оглядывалась. Маленькая фигурка махала платочком. Слезы и волнение стояли в сердце Леночки. Она шла быстро, легким шагом, и такое было чувство, что теперь уже ничто не остановит. Впереди Москва, жизнь, неведомое, то, что очаровывает.

Проходя мимо кладбища, она перекрестилась. «Этот-то уж не простит, наверно!» Все равно, все равно. Мертвые уходят.

Через десять минут достигла взгорья с облетевшим лесом. Чуть березы золотели, да винно-краснела осина. Отсюда снова обернулась на село, белую церковь, дом графский и парк, розовевшие в заре. За последним кустиком все стало для нее былым, умершим, и впереди двигались поля, деревни, и далекий силуэт станционной водокачки.

Солнце било в глаза. Над ним остановились облака, в пурпуре, с золотой каймой снизу. Зеленя укрылись матово, серебристой пеленой. По ним бродили спутанные лошади, проводя темнозеленые, яхонтовые следы. Свежо, прозрачно, хрупко. Дали синеют. Луга туманятся. В деревнях тонкими струйками дым из труб. Пахнет испеченным хлебом.

Пыль пылила Леночкины ноги; роса обрызгивала серебром, сухой дубовый лист, в перелеске, нежно шуршал. Каждое светлое облачко в лазури, далекий, полевой ветер, золото солнца лишь быстрей гнали резвые Леночкины ноги — по мéжам, по тропáм, лесочкам.

Москва, 1921 г.

— о —


III

ЗВЕЗДА НАД БУЛОНЬЮ

ПЛАВАНИЕ

С высоты пятого этажа вижу на тротуаре Элли. Держа в руке сумку — откуда выглядывает зеленый хвостик морковки, всякое другое добро — она разговаривает со старушкой. Старушка худенькая, невысокая. Обе оживлены, иногда притрагивются друг к другу рукой ласково.

Все это знакомо. Так полагается. Элли держит путь домой из утреннего странствия — священного обряда хозяек, каторги малой жизни.

Вокруг расстилаются наши края — черепичные крыши, сараи, склады, дома. Лишь вдали на горизонте, в сизо-голубоватом тумане видится другой мир: две башни Сан Сюльпис, еще дальше тоже две, страшные древностью своей — Нотр Дам. Кое-где пятна зелени, какой-то дальний подъем, там на закате ослепительно блестит иногда стекло. Мы же — преддверие разных заводов, мастерских, угольных складов. Мы второй сорт, пригород.

Сейчас мягко загудит подъемник, хлопнет дверь его, Элли со своей добычей водворится восвояси.

— С кем это ты разговаривала на улице?

— А это мадам Брошэ, милейший человек. Ей девяносто два года. Я ее очень люблю. Она меня тоже.

Когда идешь с Элли в наших краях, неведомые типы приветствуют ее — бабки, лавочники, дети. Иногда определяют: „dame russe du cinquième étage". Я тоже „du cinquième", но я просто инородное тело.

— Мадам Брошэ живет тут за углом, у нее свой домик, и она совсем одна. Совершенно. Я ее спрашиваю: «Мадам Брошэ, вам не скучно одной?» А она отвечает, знаешь, как тут всегда: „Non, ma pauvre dame". Так полагается уж „pauvre dame" — и прачка, и торговка скажет, если сочувствуют. Мне, говорит, не может быть скучно, потому что „le bon Dieu est toujours avec moi".

— Католическая бабка?

— Ну, понятно. Все меня расспрашивала, какая у нас вера. Очень довольна, что мы во Христа верим и почитаем Деву Марию.

Таково утреннее странствие Элли. Кроме свиной котлетки, моркови, апельсинов, вина, приносит она разные вести — вроде малой областной газеты. А потом у ней кухня: газ, плита, готовка. Это начало дня, он начинается, ему все равно, радостно ли тебе жить, или грустно. Он для всех один, будь ты свой, здешний, или пришлец, как мы. Он светел всем, будь ты свой, здешний, или пришлец, как мы. Он светел, равнодушен.

ДЕТИ

Темный провал отделяет его от дня следующего. Но и тот приходит. Портьеры еще задернуты, лень взглянуть на часы. Вдруг начинаешь слушать как бы щебетание. Сперва мало, отдельной струйкой. Потом струй-

ки сливаются — нечто вроде журчанья — небольшая, негромкая речка течет за окном, по улице, звуковая речка справа налево.

Девять часов. Дети пошли в школу. Значит, взрослым неловко валяться. Все-таки спешить некуда. Слава Богу, все школы, диктанты, задачи, курьеры в мифической дали. Было время, десятилетний человек напяливал в утренних потемках длинное пальто с серебряными пуговицами, форменную фуражку. За спиной ранец, в сердце тоска, в голове латинские предлоги. Девятнадцатый век! Калуга.

Если сейчас выглянуть, то увидишь малых французских граждан, иногда с мамашами. Граждане волокут в руках сумки с книгами — не за спиной в ранцах, как носили вы, — сумки полны премудростями, тащатся чуть не по земле. Тяжело! Граждане в большинстве хилые, голые ножки с неважнецкими коленками, порода не крепкая. Да и откуда быть крепкой? Отцы, деды, может быть прадеды, бабушки этих Жаков, Пьеретт, Алэнов все со здешних Рено, Сальмсонов, с маленьких фабричек, никому не известных. Наш край выводит свое племя — в трудах, серости, некрасоте. На улице семь бистро. И отцы, деды путников этих немало утешались у стоек — до войны сизым абсентом, после желтым Перно. Да и чем другим собственно было утешаться? Потомство же развели слабоватое.

Дети вольются в большой угловой дом, прогрессивные учителя, правнуки флоберовского Омэ, будут обучать их там вещам бесспорным. В половине пятого, на перекрестке вблизи школы восстает лик власти: хранитель Дениз, Жюлей и Жаков, насытившихся наукой. Он строго раскидывает руки. Движение останавливается. Автомобили ждут, мотоциклисты замирают — царство детей. И шумящим потоком, на ходу давая под-

затыльники, подставляя ножку, хохоча, растекаются они по переулкам, прочь от уродливой своей школы, сложенной неизвестным строителем из серых камней (нечем прославить ему здесь свое имя).

Дети будут обычно проводить вечер, ночью спать крепко, возрастать, меняться, на глазах наших проходить разное, от весенних сияний первого причастия, преддверия венчаний, до самых свадьб, живого обручения живому.

НАСМЕШКА

Наши края беззащитны. Что можем мы предъявить прекрасного, просто изящного? Нотр Дам, Сан Сюльпис, лишь вдали видны из моего окна. А свое — фабричные трубы, заводики, склады, кое-где пустыри да зелень. Аллея платанов — единственная заступница наша. Да еще кладбище, тоже в платанах. Из окна моего в нем белеют памятники. В общем же: на чем глазу остановиться? Семь бистро? Уголок зоны с лачужками? Мелкие лавочки?

— Лишь в Австралии видал я столь некрасивую улицу, — сказал двадцать лет назад о наших местах поэт.

Что возразить ему? Он объездил весь мир. Значит, только в Австралии. Возможно, что и хватил, ближе нашлось бы, просто здесь же в Париже. Но поди, разговаривай с ним. Высокомерно сказал. С ним самим позже поговорила жизнь. И горестно. Не у нас, а в другом захолустье парижском, не лучше нашего, прожил он последние свои годы. Все увидел, без всякой Австралии, и там же скончался.

— Дорогой мой, ты поселился на Растеряевой улице, — сказал другой поэт, брезгливо оглянулся. — Глеб Успенский, совершенная Растеряева улица!

Так посмеялись поэты над неизяществом нашим. Они, собственно, правы. Но не надо смеяться. Не надо смеяться над некрасивой бабкой, над алжирцем в голубом пиджаке с красным галстуком, над воскресною чинной прогулкой семьи, задыхающейся от скуки. «Смирись, гордый человек».

ДЖУЛЬЕТТА

Во времена войны сосед наш носил на руках мальчика в погреб, когда начиналась бомбардировка. Теперь мальчик больше отца. В недалеком углу зоны, среди лачуг гнездился маленький юный идиот. Победоносно носился он по улице, как наш тульский, притыкинский «бахи́-баха́», с выпяченной нижней челюстью, дегенеративными губами, чуть прорезанными глазами. Теперь он толстый молодой идиот, краса и гордость нашей местности. Некоторые даже считают, что он воспитан и хорошо одевается.

Джульетту помню маленькой девочкой, почти красивой, с несколько бараньим лбом, над ним кудряшки, с большими, упрямыми светлыми глазами на выкате. Жила она где-то неподалеку, отличалась тем, что вечно каталась на велосипеде.

— Ah, celle-ci, — говорила консьержка, мадам Жак, сухая, тощая и строгая. — Elle roule toujours! Это не доведет до добра.

Мадам Жак была женщина раздражительная, прямая и самоуверенная. Нас всех держала сурово. Джульетту вообще не одобряла.

— Ah, vous savez, c'est une famille!

Семейка Джульетты, действительно, не из важнецких. Мать умерла — кажется, после драки. Были братья, сестренки. Отец алкоголик. Многое разное говорили о нем, о его отношении к детям, к той же Джульетте. А время шло и Джульетта подрастала. Приближалась война и крашеная мадам Жак, похожая на нервную жердь, ушла из нашего дома. На прощанье едва не зарыдала, сказала вдруг мне, что мы с Элли были лучшие и единственные ее друзья — это навело меня на меланхолические размышления об одиночестве.

А Джульетта обращалась в красивую девушку. Хорошо, что мадам Жак не было уже здесь, когда появились немцы: Джульетту не раз видели с немецкими солдатами. Мадам Жак злорадствовала бы.

— Elle roulait au bicyclette comme une folle! Это не доводит до добра.

При «освобождении» ее не обрили, за немцев вообще над ней не издевались — не знаю почему. Вероятно, по недосмотру.

Вместо немцев явились американцы и опять то же: шоколад, бистро, аперитивы. Но Ромео для Джульетты не нашелся. Все продолжалось, как и надо. Только умер, наконец, отец. Джульетта переехала в небольшой отельчик, неподалеку. Велосипеда давно не было. А к разгулу она привыкла.

Раз утром я сидел у себя, занимался. Элли возвратилась из плавания. Распахнув дверь, с покупками в руках, сказала:

— Помнишь ты такую Джульетту, девчонка была, все на велосипеде катала?

— Помню.

— Ну, так ее только что убили! Такой ужас. Она недалеко тут комнату снимала. По вечерам исчезала, все по каким-то бистро, кабакам. А на днях вовсе не вернулась. Нашли в Булонском лесу задушенной. Ограбили, конечно, выбросили из автомобиля. Да что на ней найти-то можно?

Был зимний день. Редкий для Парижа случай: белизна крыш заснеженных. У меня в комнате светлый их отсвет, как в Москве моей молодости. Снег шел все эти последние дни. Он завеял деревья, ветки Булонского леса. Запорошил тело Джульетты.

МАДАМ БРОШЭ

Всем было невесело, нашему краю особенно. Совсем он принизился — и без войны неказист, тут захирел вовсе. Как и не захиреть? Остались такие, кому некуда уезжать, не на что. Заводам тоже не переехать, их старались громить с неба, заодно и нас грешных. И так-то уж мы не блещем, а тут еще бомбы. Весь наш край тогда заушался, это располагало к нему. («Горе сильным, горе богатым, горе заимодавцам!»).

В потемках утра Элли стояла в хвосте к молоку. Иногда я стоял. Я называл себя и сохвостников своих мизераблями долин адских. Мы, правда, похожи были на грешников Данте. Еще больше на них походили в подземелье домов при бомбардировке.

Там я и познакомился с мадам Брошэ.

Наверху выли сирены, глухо бухало. Большой подвал, куда вели коридоры, был полон жильцов. Элли сидела со мной рядом, дрожала. Я гладил ее руку. Со мной ей было легче — она приваливалась плечом ко

мне, точно я мог бы защитить ее, если бы дом рухнул. (Но у меня тоже было странное чувство — мужчины, защиты . . . Я тоже считал, что могу защитить).

Взрыв ахнул близко. Ребенок заплакал, стена вздрогнула. Пронеслось душное веяние из коридоров. В поднявшейся пыли вдруг явилось лицо старушки, худенькое, со слегка воспаленными глазами на выкате, древними бородавками. Оно улыбалось, сияло добротой. Рука с артритическими узлами гладила руку Элли.

— Сейчас кончится, мадам! Это последний удар. Ничего, ничего, все будет хорошо!

Элли встрепенулась.

— Ах, мадам Брошэ, как вы сюда попали?

Мадам Брошэ никогда вниз не спускалась. А на этот раз зашла к нам в дом и пришлось спуститься — началась бомбардировка, надо было сопровождать знакомую с ребенком.

— А это мой муж, — сказала Элли.

Мадам Брошэ изъявила полное удовольствие.

— Oh, monsieur, je connais bien votre dame. Elle est très très gentille.

Если и не последний, то оказался предпоследний удар — дело кончилось. В общем мадам Брошэ угадала. Да у ней и вообще был такой вид, что все ничего, если бомбардировка, то значит bon Dieu так хочет и нечего суетиться. Элли от одного вида ее подбодрилась, я же с того дня стал знакомым мадам Брошэ, le mari de la gentille dame russe.

Мы раскланивались, встречаясь, с видом чрезвычайной любезности, осведомляясь о здоровье, и часть ореола Элли падала на меня. Худенькая, некрасивая старушка с водянистыми глазами, бородавками на лице, ходила не быстро, но куда надо ей, добиралась: в молочную, булочную, съестную лавку.

Она вовсе не нищая. У ней собственный небольшой дом, двухэтажный. Внизу, в маленькой квартирке живет сама, остальное сдает. Рядом с ней мы с Элли безденежные. Но не это важно. Важно, что ничто не может сдвинуть ее с места. Никакие хвосты, ни рютабага, которой питаемся, ни бомбы. Мы худеем от войны, она нет — ей уж худеть некуда.

Встречая Элли, она говорит:

— J'ai toujours, une petite prière pour vous, madame! Chaque jour.

И улыбается. Элли тоже о ней молится, о Marie, у ней тоже „une petite prière pour madame Brochet".

БАРДАДАХ

Две ужасных зимы. Как было холодно! В январе снег лежал три недели — слыханное ли в Париже дело? Мы сопротивлялись. Я топил кое-чем печурку, мы жили в одной комнате, я сидел над Данте, Элли варила в ледяной кухне. Но мы держались на печурке. Без нее пропадать.

И вдруг внутренняя решетка ломается. Неловко уронил, старье развалилось. Просто переломилось. Топить нельзя.

— Надо звать Бардадаха.

Бардадах живет не в пещере, но вроде, в лачуге, стучит, гремит молотком, чинит, паяет. У него малый горн, как у Вулкана, но он не хромой и Венеры нет. Он просто мьсе Грениэ, но для нас с Элли — Бардадах — в этом его миф.

Дома он не всегда. Его дикообразный облик часто видится на столь некрасивейших улицах, у стоек бистро — самых последних.

Лишь ей ведомыми путями отыскивает его Элли. Бардадах появляется. Я показываю ему сломанную решетку. Он издает сумрачный звук — понимать его вообще трудно. На голове кепка времен Пуанкарэ, из-под нее седоватые космы, борода дика, нечесана, на щеках красные пятна — давние наслоения аперитивов. И в конце концов это вроде притыкинского Климки, речь бессвязна, жизнь убога. Но у Климки не было аперитивов. Климка проводил дни, убирая конюшню, пропахивая огород, ругаясь с черной кухаркой — напивался редко: не на что было часто, к сожалению.

Бардадах постоял, повертел решетку, унес в кузницу Вулкана. Из отрывистых его рыков кое-что поняла Элли, но не я. Он ушел, я же просто подчинился. И пришлось, несмотря на холод, отворить окно — освежить воздух от Бардадаха. Он носил с собой весь свой мир.

Вечером явился с решеткой, спаял ее. Поблагодарив златницами, я поднес ему, в знак поощрения, стаканчик рому. Бардадах осклабился, мучительно закатил назад голову, глотая, крякнул. Дружественный союз был заключен. С тех пор я осознал его. Бардадах вошел для меня в пейзаж местности, это нехитрый малый дух ее. Я стал чаще замечать — не только лишь, когда из-за поломки крана, печки приходилось его звать. Убогую фигуру в кепке, с красным носом, красными щеками, дикой шевелюрой нередко приходилось видеть теперь на перепутьях мест наших. Он всегда влекся куда-то, шаркая ногами, устремлялся к новым берегам — новым починкам, новым кабакам. Встречая меня, иногда издавал сочувственный звук. Вероятно в туманном мозгу восставал мой ром. Как бы то ни было, благодаря Бардадаху мы не замерзли. Храню доброе о нем вос-

поминание, как и о далеком тульском гражданине Климке, облике убожества российского.

Время шло. Война кончилась. Все менялось. Бардадах исчез. Вероятно сложил многотрудные кости после очередного coup de rouge. У нас его больше нет.

На площади же Порт Сэн Клу, в газоне сквера, поставили не так давно носорога под бронзу. Рог его победоносно поднят, на ногах смешные складки вроде штанов. Местный поэт сочинил, в духе капитана Лебядкина, похвальное ему четверостишие:

Над зеленой муравой
Воздвигается герой.
Он стоит в своих штанах,
Что за славный Бардадах.

МИР

Дальше от нас, в глуби Булони, разрушения войны заметней. Долго стояли дома со снесенными этажами, дико зияющими дырами. Тут безвинно убиен русский мальчик, воздушной контузией, прямо на улице. Там рухнул целый дом — под развалинами его погибли все, и ушедшие в погреб, и не уходившие. Ничего не осталось от дома. На его месте теперь площадка, играют дети в окружении посаженных топольков. Так над костями расстрелянной молодежи в Москве, у Рогожской заставы, забавляются футболисты.

На кладбище, среди зелени, целый ряд могил — не воинов, а таких же как мы насельников некрасивейших улиц. И над всем этим — вот зеленеет уже травка времени, ничем не остановишь. Будни идут. Идут дни. Мертвые ушли, живые ждут.

А пока что — как и другие обитательницы — Элли снимается утром с якоря, выходит в странствие, когда надо возвращается.

— Ты знаешь, что сказала мне сейчас мадам Брошэ? Вот чудная старушка! Когда встречаемся, мы говорим друг другу нежности. Нынче она себя превзошла. Я рассказала, что у нас есть под Парижем, кладбище, русское. Она говорит: «Наверное и вы с monsieur votre mari приобрели себе там место?» Я отвечаю — нет. Тут ляжем, вот рядом кладбище. Ты посмотрел бы, что с ней сделалось! Будто подарок получила. „Mais, chère madame, ma place est exactement là-bas! Nous serons dons voisins!" И понимаешь, так обрадовалась, точно мы к ней в гости собрались. „Enfin, quant à vous ce n'est pas pour demain... Mais ce sera un très agréable voisinage!" Так что мы с тобой теперь устроены, нескучно будет.

Вижу худенькую фигурку мадам Брошэ. Вот-вот будто и развалится. Но ничего, напротив, все в порядке. Живем, помрем, места найдутся. Все правильно. Все медленно, неотвратимо ведет к миру.

ПОЯВЛЕНИЕ ЗВЕЗДЫ

Я не любил кирпичную трубу, высокую и скучную, вздымавшуюся над фабричкой, пересекавшую мне горизонт. В скромный пейзаж из моего окна входила она резким звуком.

И вот однажды утром оказалось, что труба одета сеточкой. В сеточке двигались букашки. Ага, пришел ей конец! Просто ее начали разбирать. Каждый день таял кусочек наверху, труба садилась. Правильно: фабричку отменяют, на ее месте будет дом, жилой, их те-

перь много принялись строить. Из окна вижу с разных сторон растущие стройки. То десятиэтажный дом, то, на месте трубы, семиэтажный. Вдали, там и сям, подъемные краны, grues — у нас сооружение над колодцем в деревнях, чтобы вытаскивать бадью, называлось тоже журавлем.

Из окна своего, с пятого этажа, я все это приветствовал. Особенно же приветствовал сходящую на землю ночь. Это моя союзница. Мой друг. Ночь закрывала всю некрасоту. Темная влага, в ней золото огней. Направо, со стороны возвышенности Исси, огни мерцают отдаленно, мелко. Вблизи ярче, веселее. Но дай им Бог блистать всем, кто как может. Они являют тоже мир, свидетельствуя о жизни.

И главное — передо мною небо. Там свои огни, то, что волшебно для меня с юности — в России, в тишине деревни, в захолустье так чудесен узор звезд.

Зарево Парижа несколько мешает, иногда очень. Даже из окна, при широте охвата, трудно видеть звезды. Все же именно этой зимой, поздно ночью вдруг удалось увидеть Орион с поясом царей, над кладбищем повисший Сириус. Сириус это зима, снег, мороз, в русском морозе играет он самоцветом, зацепившись за мохнатую ветвь елки. Из чащи, может быть, выйдет лось.

Но теперь, в весенне-летнем булонском небе как в лесу. Где друзья, спутники с ранних лет — разные Капеллы, Лебеди, Плеяды, Близнецы, главное: где Лира с альфой — Вегой? Голубая звезда, с юности покровительница, столь мною воспетая.

Здесь «понимаю» только Большую Медведицу. Это налево. Ее не затмят отсветы, никакие туманы. Никогда и в России близка она не была. Сильна, грубовата, правда, Медведица, хоть и золотая, хоть по двум край-

ним ее звездам прямо докатишься до Полярной — столпа, оси мира.

Не так давно, в три часа ночи подошел к окну, растворил. Ночь ясная, летняя, для Парижа прозрачная. Над городом слабое зарево. На улице сумрак. И дальнее легкое гуденье, точно телеграфная проволока. Пустынно в общем. А со стороны Медона, с юго-запада, веет тихим благоуханием — там леса, поля. Когда тянет оттуда, воздух чудесный.

Все это знаю, ценю, нового нет. Но вот подымаю голову: высоко, прямо над головой, она, да, сомнения нет. Голубая звезда — Вега.

Я и раньше по вечерам видел ее, но уверен не был — сквозь городскую муть мелких звезд ее созвездия не различить. А теперь ясно: это она ведет золотой параллелограмм, четыре как бы сестрицы и еще одна сбоку, все вместе Лира, шестизначное созвездие. Его альфа есть голубая звезда, первой величины. Молодость неба, небесная дева Вега. Она ближе других и моложе, ее свет в меньшее время до нас доходит и он нежно-голубоват, в нем мир и успокоение.

Я видел ее в России, в счастии и беде, сквозь ветви притыкинских лип и из колодца двора Лубянки. Видел ее в Провансе, близ пустынного монастыря Торонэ, где в лесу сохранилась тропинка, по которой св. Бернард ездил на осле в аббатство. В Париже я ее потерял. Но вот в глухой утренний час она явилась мне вновь над Булонью.

МОЛЧАНИЕ

Вскоре после войны, в Страстную Пятницу, появилась на стене нашего кладбища, прямо на улицу, огромная надпись углем:

— Silence! Christ est mort.

Удивительно. Мы привыкли к другим надписям. Но живи и не удивляйся. Не удивляйся тому, что в Страстную Пятницу в нашем красном предместье действительно было тихо.

— Christ est mort.

Я и не удивляюсь теперь, что недалеко от нас, кроме нашей русской, еще две католические церкви, где служат молодые священники нового типа — иногда сухощавый силуэт не то в подряснике, не то в рабочей блузе, с портфелем под мышкой и тонзурой на голове, пересекает Растеряеву улицу. Как пересекают ее весной мальчишки с белым бантом на рукаве новеньких костюмчиков или девочки в белой фате с сияющими лицами.

И когда молодая монахиня в белом подкрахмаленном капоре, темном платье, с четками на руках катит на велосипеде и я с ней раскланиваюсь, тоже не удивляюсь: это знакомая, сестра Анжелика из St. Marie de la Présentation. Ее жизнь в том и состоит, что молчаливо входит она в двери недужных и страждущих, серыми бретонскими глазами скромно улыбается, вынимает шприц, делает свое дело, вспрыскивает что надо и на стальном коне катит дальше.

Не удивляюсь подземному произрастанию. В Страстную Пятницу все молчат, потому что Christ est mort.

СНОВА МАДАМ БРОШЭ

Не вечно все-таки ходить мадам Брошэ по нашей улице, встречаться дружественно со мной.

— Знаешь, — сказала раз Элли, вернувшись из плавания, — мадам Брошэ захворала. Что-то вроде удара.

В этом нет ничего удивительного, скорее то удивительно, что у нее раньше его не было. Сколько раз собирался я позвать ее к нам на чашку кофе, поговорить, расспросить о долгой жизни в мире, для меня далеком — и наверное многое она рассказала бы.

Но вот не собрался. А теперь уже поздно. Проходя в тот же вечер мимо ее двухэтажного домика с решеткой, с крыльцом и необычайной чистоты стеклом комнаты, где она жила, сразу почувствовал отсутствие. На столбике ограды сидел кот, ожидая блюдечко молока. Тишина и безмолвие. Мадам Брошэ в госпитале, остаток жизни ее теперь в других измерениях.

Она умерла через несколько дней. Весть об этом пришла по живой молве, по воздушной почте обитателей. Все так вышло, что ни я, ни Элли не были на отпевании. „J'ai une petite prière pour vous".

Отпевание могло произойти только у нас в сердце. И в день похорон лишь из окна видно было, направо, вдали, как входила процессия на кладбище — была ли это она или другое погребение? Кортежи нередки здесь, но это все равно. Она ложится сюда на кладбище, нынче или завтра, какая разница. „Mais, chère madame, ce sera un très agréable voisinage!"

Наверное она права. Мне такое соседство приятно, как и для Элли, но все же не знаешь, куда придется ложиться, до самого дня, когда ляжешь.

Тот вечер был очень тих и покоен. Когда мрак спустился, оказалось, что небо в звездах. Часов в одиннадцать я отворил окно — обычное златисто-голубоватое зарево над городом, в домах мало уже огоньков, и далекий гул, несильный, ровный. Иногда лишь его прерывает влетающая машина, гудит как несущееся ядро и, ослабевая, замирает.

Спят не уехавшие на отдых дети, кому скоро уже начинать беготню в школу, спят их мамаши, bonnes ménagères — завтра тронутся они вековечно в мясные и булочные, съестные, как двинутся папы по заводам Рено и другим, как побегут к метро худенькие мидинетки, на соседнюю фабрику женщины покрепче. Все идет медленным и непрерывным ходом. Старому еврею жить недолго, молодым аббатам долго ходить по приходу, сестре Анжелике долго ездить по больным на велосипеде. В доме мадам Брошэ поселятся родственники, давно уход ее караулившие, заведут жизнь свою, думая, что навсегда. И уйдут так же.

В небе тоже идет свое действо. Всматриваясь в него, видишь, как изменились сочетания звезд — одни, кого весной не было, взошли, других нет вовсе. Но они так же плывут, по тем же неизбывным законам, видя малую нашу жизнь, так же непостижимо прекрасные.

И вот, подняв совсем вверх голову, вижу над собой Лиру и звезду мою Вегу, почти зацепившуюся за край дома нашего. Голубой свет ее все такой же. Зимой не найдешь ее. Но ничего, ничего. Если даст Бог дожить до лета, она вновь будет сиять в эти часы над нашей бедной, некрасивейшей улицей.

Париж,
1955 г.

РАЗГОВОР С ЗИНАИДОЙ

De profundis clamavi

Ты явилась в наш прозрачный деревенский дом как вихрь. Просто прискакала на коне — была осень первой войны — примчалась из имения соседа, твоего двоюродного брата. Высокая, тонкая, с довольно широким лицом, несколько сумасшедшими глазами. Говорила без умолку, восторженно целовала мою мать, жену. Все кипело в тебе и бурлило. Трудно было усидеть покойно.

Странное время, грозное время. Оно вспоминается в осенних холодных зорях, в свисте ветра, гуле берез на въезде в усадьбу, в роковых сумерках надвигающейся ночи Европы.

В тебе всегда была удаль и отчаянность. Сколько сил, сколько жизни! Ты не могла просто ехать на лошади. Надо мчаться. И кони твои всегда были сумасшедшие. Раз, на заре, вылетая от нас из усадьбы, ты и слетела со своего дамского седла — лошадь шарахнулась от вскочившей собаки. Ты хлопнулась оземь, но ничего, вскочила, догнала и опять поскакала.

Мы и вместе скакали, помнишь, верхом по окрестностям?

— Нет уж, рысцой не могу! Ехать так ехать!

Гонка в красной заре заката, по опушке какой-нибудь Рытовки называлось у нас: бегство Карла Смелого после битвы при Нанси.

— Я и понятия не имею, какой это Карл Смелый, но если вы говорите, что он Смелый, то уж он мне нравится.

В тысяче верст от нас, в стороне кровавого заката шли бои, много погибало смелых. До нас еще не дошло. Судьба только еще подводила нас к театру: участия мы пока не принимали.

Но усидеть долго в тульской глуши ты не могла. Слишком гремело *там*. Мы немного с тобой поскакали по полям и опушкам каширским. Тот же ветер, что гудел в старых березах у въезда в усадьбу, унес тебя в самое пекло: ты пошла на войну, сестрой милосердия.



Тебя давно уже нет. Это ничего не значит. Вижу тебя и слышу, и вот говорю с тобой, какою ты была много лет назад, полоумной девчонкой в деревне, позже другом на чужбине.

Вот и слушай, что я скажу: прямо передо мной, под Распятием на стене, два маленьких металлических образка: св. Серафим Саровский и Христос Вседержитель — это ты нам оставила, помнишь? — вечную память о себе, о России: в смертный час тебе передал это русский солдат, умиравший у тебя на руках. Знаю руки эти, знаю сердце твое. «Неизвестный солдат» снял нательные образки и тебе передал — как сестре, истинной сестре, и не ошибся. Твои зелено-мокрые глаза смотрели на него. Он не ошибся. Передал кому надо. И на скромных образках тайно запечатлелась кровь му-

ченическая. Чувствую тебя, Россия. Безымянная и безответная Россия.

Слежу твой путь, Зинаида. Вижу тебя в госпитале, такую же бурную, неукротимую, как на коне, как в беседе.

На улице, под твоими окнами, лежит старенький раненый генерал. Идет стрельба. Госпиталь обстреливают, лежать генералу и ждать, пока его добьют? Кто вызовется спасти? Нужны серо-зеленые сумасшедшие глаза, но вот они есть, они нашлись. Только такая могла выскочить из дверей госпиталя и под огнем домчаться до старичка, дотащить, укрыть, спасти. «Рысцой не могу!» Тут надо вскачь. Святым Георгием отмечена за это твоя грудь.

Во тьме гражданской войны теряю тебя, не вижу и не знаю. По каким степям ты кочевала с лазаретами своими, чьи стоны слышала, кого напутствовала, я не знаю.

— Но что замужем была, в Киеве, знаете? Ах, лучше не вспоминать! Его убили через несколько месяцев.

Это я как раз и знал. Да, ее нет, но как будто слышу ее голос, все такой же, быстро-восторженный. Это и есть разговор с тенью — в тени этой часть прежней жизни, прежнего очарования. Ты явилась затем не как тень, просто Зинаидой — из Югославии, в Париж двадцатых годов. Так же бросилась к нам на шею и душила в объятиях, такая же полоумная, как прежде. Десять лет закалили тебя. Ты прошла ад войны, революции, междоусобицы, беженства. Не была уже той беззаботной девчонкой из барской семьи, какой носилась со мной верхом по полям тульско-каширским. Руки твои загрубели, руками этими ты теперь умела делать шляпы, разрисовывать платочки, шить, убирать, стряпать.

Все это ты сама знаешь. Но мне хочется вслух вспомнить, и я обращаюсь к тебе.

Но вот этого, может, не знала тогда: в тебе сидел уже тонкий яд — злой яд болезни, возбуждавший и отравлявший, зажигавший и подтачивавший: легкий кашель, смех, румянец, острота и упадок.

Ты и по Парижу металась, как раньше по полям российским. Полюбила ли кого по-настоящему? Полковника давно уже не было. Ты вышла в Париже замуж за знакомого своего по Загребу, — из «стрелков императорской фамилии». Хороший человек, простой и немудрящий, слабый. Как и император и все в полку его, носил небольшую бородку. Но теперь заведывал гаражем. Русские шоферы ставили туда свои машины. Был среди них и командовавший армией Западного фронта.

Хорошо ли ты жила здесь со своим стрелком? Не знаю. Думаю, так себе. Не знаю подлинных твоих романов и влюбленностей, но думаю, что всего этого было немало. Ну, да черта́ вечности отделила уже от всего «такого».

Стрелка̀, впрочем, иногда дико ревновала и вскипала на него. Выкидывала штуки, вполне на тебя похожие: поссорившись, могла уйти утром на целый день, заперев в шкафу его ботинки: пусть посидит дома! И стрелок со своей императорской бородкой так и просидел весь день дома, в бессильной ярости (глупость и пустяк, вспомнившиеся из твоей бурной жизни).

Здесь, в Париже, как и на полях сражений, как и в лазаретах, ты вечно кому-то помогала, бегала, поддерживала, горячилась. Но и на шляпы, над которыми корпела, и на выяснение отношений, и на любовь, и на сцены, нужны силы. Ты сильно кашляла. Замечала ли сама? Не знаю. В таких случаях, как у тебя, больные

склонны к оптимизму. Но худела, и твои зеленоватые глаза ярче и болезненней горели. Ты по-прежнему душила в объятиях друзей, которых знала еще по России, молодости. Но твоя молодость явно уходила.

И из тесной квартирки с незаконченными шляпами, манекеном в углу, разбросанными лоскутками материй, тусклым воздухом, где ты кашляла, сгибаясь над работой, в некий час тебя услали в санаторий, далеко, на границу Италии.

Стрелок остался один. Ты сидела в горах — вот след жизни той, снимок: с приятельницей санаторской, на утесе, те же восторженные глаза, длинные ноги, широкие скулы, сзади ели, кругом дикие горы. Это все так твое! Так тебе подходит. Может быть, ты сейчас полезешь на отвесный утес, поросший лесом, может быть прыгнешь вниз — так, из молодечества, чтоб что-то доказать кому-то. Бог тебя знает. Вероятнее всего, выкинешь что-нибудь неподходящее.

Но в твоей судьбе, как в твоих глазах, длинных ногах, быстрых движениях было всегда что-то неподходящее. Ты отмечена была странным, диким полетом и бескрайностью России.

А стрелок жил один. В одиночестве постреливал, как будто благодушно и невинно. Ходил, конечно, и в гараж, но чаще выпивал. Играл по вечерам в карты, дам угощал. Попал в круг знакомств двусмысленных. Денежки, денежки, на все нужны денежки. Понемногу слабел, распускался — и опустился. Иногда приезжала и ты в Париж, но редко, ненадолго. Замечала ли что? Но не говорила ничего, даже близким.

Туча же заходила, черно-зеленая. Пока ты кашляла, дышала горным воздухом рядом с Италией, туча росла, надвигалась. Наконец, и надвинулась.

***

Она съела всю твою, еще молодую все-таки, жизнь без остатка. Однажды некая молния, озарение, пронзили тебя там, в горном убежище, ты стремглав вылетела и внеслась к нам — не на коне, как прежде, но такой же пулей. В нашей квартирке в полубреду и жару ты лежала, а стрелка́ уже не было: денежки, денежки, водочка, кабачки. Своих не хватало, стал тратить чужие. Не много-то и растратил. Но вернуть уже не мог. И позора не пережил. Газ отвел от него позор, перевел в вечность. В газе этом заснул стрелок с императорской бородкой.

Это вот ты и почувствовала в своем Briансоне. К кому ехать в Париж? Ни отца у тебя не было, ни матери, ни сестры. Как к матери ты прижалась к моей жене, меня обняв рыдала. Но вокруг тебя была любовь, не только наша. Приходили, тоже обнимали, целовали, утешали. Более женщины: женские сердца обширней.

Страшна́ жизнь. Твой стрелок незамеченный пролежал три недели, никто к нему не заглянул. Только когда на лестнице запахло газом, догадались. Как не взлетел дом на воздух? Все-таки взрыва не было. То, что осталось от стрелка, упокоилось в земле латинской.

Ты уехала назад в горы. Случай с мужем твоим — таких сотни в Париже, Франции, мире. Поплакали, успокоились. Ты жила там одна, опять. Одна, средь полуобреченных и чужих, среди утесов, диких гор, диких елей по склонам, дыша там воздухом, какого мы тут и не знаем. Может быть, вновь взбиралась со случайной подругой на кручу, как тогда, и сидела, плакала или хохотала, и писала нам восторженно-отчаянные письма.

Смотрю вновь на образки, завещанные тебе солдатом. И опять ты, Россия, солдат, все сливается в одно: в стон, в молитву о всех страждущих — вот как ты, умиравшая в этом Бриансоне в одиночестве. Из одиночества этого, «из глубины воззвах», написавшая нам. «Вы моя родина, вы для меня Россия, и отец, и мать. У меня больше никого нет».

Но мы были за тысячу верст, когда в некий день хлынула наконец у тебя из горла кровь фонтаном, с тою бурностью и стремительностью, как всегда все было в твоей жизни. Не остановишь, нет, не остановишь.

Скромная твоя подруга, подлечившись там и возвратившись оттуда, принесла мне эту о тебе весть. Я ее принял. Я знаю, что ты лежишь одна в Бриансоне, в горной земле, но забыть нам тебя нельзя. Да, всегда ты с нами. По словам Апостола: «Поглощена смерть победою».

Париж, 1958 г.

— o —

РЕКА ВРЕМЕН

За оградой небольшой холм, на нем храм, несколько немолодых простеньких домов. С улицы ведет ввысь тропинка-лесенка, а вокруг разрослись каштаны, вечно переливается листва их, тени пробегают по земле, зеленоватый полумрак, зеленая мурава по склону, так до самой церкви.

Это русский монастырь имени великого Святого. В стране нерусской ведет он свою жизнь, вызванивают колокола, идут службы, в соседнем помещении юноши изучают богословие.

Немного не доходя до храма, в двух домах, нехитрых, по обеим сторонам дорожки, живут некоторые насельники из духовенства и светские профессора науки богословской.

В одном строении, от тропки влево, архимандрит Андроник, монах ученейший, автор трудов по Патрологии. Прямо напротив, через дорожку, тоже во втором этаже, окно в окно с Андрониковым — настоятель храма и прихода, архимандрит Савватий. Оба хоть и архимандриты, а совсем разные. Но в весьма добрых между собой отношениях. Андроник вовсе еще не стар, но с проседью уже, худой, высокий, несколько чахоточного вида, с огромными прекрасными глазами, молча-

ливый и всегда задумчивый. Савватий много старше, сильный, плотный, румяный, с ослепительно серебряной главой, бородой белейшею. Вид его столь внушителен, что он прозван Богом-Саваофом. Сколь учен Андроник, столь жизнен Савватий. Сколь книг у Андроника — любит он переплеты, ex-libris — столь много смётки житейской у Савватия — некогда управлял он в России даже церковным предприятием, а в средневековье мог бы собственоручно монастыри строить.

— Великой мудрости и познаний муж, — говорит об Андронике Савватий.

— Настоящий кондовый, коренной монах, — говорит о Савватии Андроник.

Из своих окон, через дорожку, перекликаются они иной раз, часто и бывают друг у друга.

Утро. Могучая, в седеющих волосах рука Савватия отворяет окошко, на подоконнике горшечек герани, вьющаяся зеленая «борода» спускается вниз. В прямоугольнике окна голова Микель-Анджелова Вседержителя.

— Хорошо ли почивали, дорогой отец архимандрит?

Савватий хоть и много старше, и к епископству представлен, и начальственно несколько выше Андроника в монастыре, но весьма уважает ученость и некий аристократизм соседа.

— Вашими молитвами, Владыко. Пока жив. Только сон неважный.

И Андроник устало, задумчиво смотрит на седую бороду Савватия, поправляющего на груди наперсный крест.

— Я хоть и не Владыка еще, но Первосвятитель митрополит изволил недавно подтвердить, что к осени вполне можно ожидать из Византии утверждения.

Архимандрит Савватий давно мечтает об епископстве. Но дело это длинное. У Константинополя — неизменно называет он его Византией — немало и своих дел. Не весьма торопится Его Блаженство.

— Знаю, знаю, дорогой авва, что сон ваш неоснователен. От чрезмерных трудов научных. Я нередко наблюдал свет поздней нощию в вашем обиталище. Иной раз подымешься на минутку, а вы всё над своими Отцами Церкви. Я науку весьма уважаю, но и здоровье необходимо плотской природе нашей.

— Да, — говорит Андроник, — вот Пасха выдалась, хоть и поздняя, а и погода прекрасная, и службы, говорят, прошли отлично . . .

— Душевно сожалею, что Пасхальную Заутреню не сослужили мне, отец архимандрит. Знаю, у вас свой приход, и сколь далеко от нас, на другом конце города, а все же жалею, что не вместе встречали светлый праздник.

— Ах, кстати: нам сюда доставили артос, приношение.

О. Савватий надевает очки почти на кончик носа и будто вдаль, как на планету астроном, смотрит на Андроника. Лицо сразу становится серьезнее, внушительней.

— И хороший артос?

— Превосходный, и очень большой. Но ведь у нас артос есть уже. Что же с этим прикажете делать?

— А который же из них больше?

— Новый гораздо больше.

Архимандрит Савватий снял очки. Лицо его выразило некую удовлетворенность. Медленно протирая разноцветным платком очки, он ответил:

— Не оскудевает вера православная. Дай Бог здравия дарителю.

— А как же быть с прежним артосом? Ведь нам два не нужны.

Савватий медленно вложил очки в футляр, цветной платок вложил в карман подрясника, где много чего может поместиться, неторопливо ответил:

— А прежний, дорогой отец архимандрит, вмените в оптический обман. Пользоваться будем тем, который больше.

Лицо его приняло совсем спокойное, прочное выражение.

— Тем, который больше.



О. Савватий занимает квартиру небольшую, все же две три комнаты. Обстановка простецкая. В углу, конечно, иконы, в шкафу одеяния, туда же он думает упрятать епископскую митру, ее он почти уже присмотрел и вот-вот приобретет. В особой шифоньерке, тщательно запертой, чековая книжка — небольшой текущий счет — и кое-какие деньжонки. Скуп он вовсе и не был, но «златниц» не презирал, кое-что сберегал. «Дым есть житие сие, пар, персть и пепел», — повторял иногда. Все же мощной своей натурой персть эту любил. Посты соблюдал, но в скоромные дни не прочь был «вкусить», иногда ездил к знакомым прихожанам и не без понимания пропускал другую, третью рюмочку «во благовремении».

У архимандрита Андроника одна комната, с крохотным чуланчиком-кухонькой. Его обиталище совсем не похоже на савватиево. Древнего письма икона в углу с неугасимой лампадой. Стены сплошь в книжных полках, книги затопляют комнату. Зеленоватый отсвет каштанов за окном дает ей полусумеречный, спокой-

ный тон. Глубокая и как бы нерушимая тишина в этой келии, где недалеко от икон висят: портрет Константина Леонтьева, император Александр I на коне, Леон Блуа — все любимцы архимандрита. Разумеется, никак не похож он на рядового монаха, но и нечто весьма древнее и вековечно православное есть в его огромных, глубокосидящих и глубоких глазах. Мать у него была старообрядка, святой жизни женщина, отец ученый.

Теперь, в преддверии лета, он особенно завален работой. Кроме экзаменов в Академии — читает он Патрологию — подготовляет международный научный съезд, здесь же в монастыре. Это нелегко. Переписка с Англией, Германией, не говоря уже о Франции. Хлопот много. Один ученый извещает, что приедет, а потом, извиняясь отказывается, другого нужно убедить, что больше сорока минут читать нельзя, третий хотел бы знать, возможен ли тут режим питательный. Надо и разместить богословов этих по отелям, достать златниц достаточно.

Но архимандрит упорен. И кроме лекций своих и Патрологий наводняет почтовый ящик письмами на разных языках, ходит по ближайшим отелям, хлопочет об устройстве кое-кого здесь же при монастыре.

Худеет еще более, но увлекается. Ему пó сердцу вся эта затея — *его* детище — невиданный еще выход православия на европейский простор. Католические богословы, протестантские, французы, немцы, англичане встретятся в скромном российском монастыре, под иконой смиреннейшего Святого, в братском общении с православным духовенством и учеными православия.

Но спит Андроник из-за этих трудов все меньше. И не об одном съезде думается ему в эти ночи.

Воспоминание невольно предо мной
Свой длинный развивает свиток.

Архимандрит Савватий некогда был женат, служил священником, а когда жена скончалась, принял монашество. Оно пришло просто и естественно, в не весьма ранних годах. Многое уже улеглось в натуре. Архимандрит Андроник в ранней молодости, из-за неудачной любви совершил прыжок, в минуту бедственную по отчаянию перескочил в другой мир. Был студентом, стал монахом. В одни сутки.

В эти летние дни чаще, дольше видел Савватий свет в окошке соседа. Про себя шептал: «Ах, ученость! Ученость! Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь неба и земля славы Твоея!»

Кое о чем в Андронике он догадывался. «Труден путь иноческий, труден, — говорил вздыхая. — Помоги Господи!» — переворачивался на другой бок, засыпал безмятежно.



Дни раннего лета плыли как облака, тихо и незаметно. Каштаны как всегда осеняли горку Святого, зеленоватые их тени блуждали и по взгорью, по крышам домов Савватия и Андроника, по цветнику близ церкви — детищу архимандрита Андроника. В храме шли служения, хор студентов пел древние распевы, небогатый колокол однообразно вызванивал, что полагается.

Архимандрит Савватий вел храм в простоте, силе, спокойствии. «Чу́дный наш боровик, лесной дух, — думал иногда о нем Андроник. — Кондовый, народный . . . ну, этот не из изощренных наших, простецкий, но он мне нравится». Ему нравилось даже, как бесхитростно сосед желал епископства.

После службы в приходе к вечеру возвращался Андроник в келию свою в зеленоватом полумраке колеблющейся листвы каштанов.

Некогда был он иеромонахом в Сербии, с Балкан вывез пристрастие к турецкому кофе. И вернувшись, нередко варил его у себя в маленькой кухоньке — тогда к запаху ладана (им пропитана была его комната) примешивался благородный запах кофе — крепчайшего.

Раздается легкий, но и значительный стук в дверь.

— Аминь.

В растворенной двери седовласая голова на могучих плечах.

— Зашел на минутку навестить усердного отца архимандрита.

— Всегда рад, всегда рад видеть.

— По благоуханию замечаю, что турецким кофейком утешаетесь. Знаю, по пребыванию в балканских странах приобщились вкусам их.

— Да и подкрепляет очень. Вот вы попробуйте. Кофе как раз готово, — Андроник выносит на подносе небольшой кофейник и две чашечки. Савватий грузно садится в старинное, вытертое кресло у стола.

— Вкушу охотно, хотя в балканских странах бывать не приходилось.

И два архимандрита не спеша, но сознательно принимаются за кофе, благоуханно дымящийся.

— Напиток сладостный, — говорит Савватий. — И точно: оживляет усталого человека. Вы, ведь, дорогой авва, в Сербии блаженной памяти митрополиту Антонию сослужили?

— Да, и сохранил о нем хорошее воспоминание.

Император Александр на коне и красавец Леонтьев молча смотрят со стен.

— Слышал я, что Владыка Антоний предлагал вам даже хиротонию во епископа?

Лицо Андроника делается серьезней, несколько суровей.

— Предлагал.

— А вы?

— Отказался.

Наступает молчание. Архимандрит Савватий расправляет знаменитую свою бороду — точно серебряные струи текут меж его пальцев.

— Прошу прощения, дорогой авва: могу ли осведомиться о причине?

Лицо Андроника становится опять спокойным, как бы и отдаленным: было — и прошло. Мало ли чего не было в его жизни? И утекло.

Отвечает он негромко, ровно.

— Не нахожу в себе способностей. Да и желания. Плохой бы я был архиерей. Вы меня знаете. Вот, службы в церкви, книги, рукописи, это мое, а управление епархией — другое. И молод я тогда был для епископа.

— Слышал я, что Первосвятитель наш и здесь предлагал вам митру?

— Совершенно верно.

Савватий замолчал. «Хоть и не так молод теперь, а отказался. Отец архимандрит упорен, его с места не сдвинешь. Что решил, то и сделает, — подумал Савватий. — А может, и гордыня какая . . .» Но осуждения в том не было. «Все — люди, все — человеки. У каждого свое».

— А вот я, грешный, не отказываюсь. Из Византии вести хорошие. Но не торопятся.

— Я очень рад буду. Вы отличным будете епископом, у вас и опыт, и жизненность и вы достаточно по-

трудились для действия церковного. Всячески вам желаю успеха и здравия на более обширном поприще.

Андроник встал во весь огромный свой рост и показался уж особенно худым и длинным. Подошел к уголку комнаты, достал бутылку, из кухоньки принес две посребренных чарочки.

— Хочу приветствовать вас сливовицей, только что из Сербии прислали.

Савватий разгладил бороду.

— Весьма признателен. Вино веселит сердце человека, по слову Псалмопевца. Не упиваясь им, разумеется. Да, у вас все особенное. И чарочки эти даже.

Они чокнулись — за здравие будущего епископа Савватия.

— Здравие, здравие . . . — задумчиво сказал Андроник. — Великая вещь. И преходящая, как и многое. Вот, я натолкнулся нынче у Державина . . .

— Оду «Бог» с юности моей знаю. Великой силы творение.

— Да, конечно. Но я не о ней говорю. Незадолго до кончины написал он иное. Быть может, в минуту тоски . . . Вот . . . хотите прочту?

— Прошу усердно.

Андроник вытянулся в кресле, слегка закинул назад голову. Руки с длинными, изящными пальцами положил на колени. Чуть прикрыл огромные глаза.

«Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей,
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается,
Чрез звуки лиры иль трубы,
То́ вечности жерлом пожрется,
И не уйдет своей судьбы».

Савватий не сразу отозвался. Потом вздохнул, поправил наперсный крест — в движении этом была спокойная, непобедимая сила, как бы исходящая из самого креста.

— Написано знатно, дорогой авва, но не христианского духа. Господь больше и выше этого жерла. У Него ничто не пропадает. Все достойное живет в вечности этой.

— Верно, верно... — Андроник совсем раскрыл свои огромные глаза и глядел ими на Савватия как бы потусторонне. — Я ведь и сказал: в томленьи написано, в тяжкую минуту. А ведь натура наша не ангельская. Не только светские поэты, но и святые испытывали минуты Богооставленности. Думаю, автор «Бога» и написал это в такую минуту. Да ведь и накануне смерти.

— Очевидно, дорогой отец архимандрит, очевидно.

Потом прибавил вдруг:

— Кончину же да встретим в тишине, покорности.

Разговор перешел на другое — на церковные дела, приближающийся съезд.

— Вот и каникулы близятся, — сказал о. Савватий. — Видимо, вы в одиночестве будете принимать инославных. Я же приглашен на некий летний отдых в семью состоятельного прихожанина, в окрестностях града сего.

Через полчаса, уходя уже, архимандрит Савватий вдруг рассмеялся.

— Беседовали мы и о значительном, и о нашем житейском, а мне сейчас, неведомо почему вспомнился мелкий случай из довольно давних лет. Представьте себе, дорогой авва, при пострижении в монашество мне чуть было не дали престранное и неблагозвучное имя: Кукша. Вообразите себе! Был, действительно, такой святой, если память не изменяет, просветитель зырян.

Великих подвигов, конечно, муж, но представьте себе... я — Кукша! Слава Господу, в последнюю минуту Владыка Иннокентий отстоял. Савватий — это благолепно. Зосима и Савватий Соловецкие. Но Кукша!

И архимандрит Савватий вновь засмеялся, заколыхалась вся его могучая грудь. Андроник тоже улыбнулся. Да, епископ Кукша! „Ça sonne bien", подумал почему-то по-французски и взглянул на портрет Леона Блуа на стенке.

Когда Савватий ушел, архимандрит Андроник опять улыбнулся, несколько и с грустью. «Ведь придет же в голову такое имя для монаха. А все-таки... в нем есть нечто и лесное, первобытное, в нашем Савватии Соловецком. Может и правда от Кукши». Потом мысли его вновь перешли на Державина. «Кукша этот, конечно, прав. Чужда вере нашей безнадежность стихов этих. Радость, радость! Но горестности разве мало? И как бежать от нее? А надо. Ему, седовласому, легче. Он весь отлит цельно. Вряд ли знает тоску».

На ночь полураздевшись, опускаясь на колени, архимандрит всегда молился. Поминал ушедших, живых любимых, и о себе молился, о многим запутанной душе своей... стать бы детским, бездумным, ясным! И с Иисусовой молитвой на устах заснул, наконец. Но спал, как всегда, плохо. То боли какие-то в желудке, то тоска, прежняя жизнь, тяжко дающееся монашество.

Утром он обычно чувствовал себя неважно.

* * *

Лето подвигалось дальше. Каштаны зеленели вокруг Андроника, но стали появляться листья и коричневатые, сухие, скромно кружась падали на землю.

Лекций уже не было. Почти все разъехались или разбрелись на летний отдых — и студенты, и профессора. Прежде уезжал и Андроник, любил соборы Средневековья, музеи, заезжал в соседние страны. Последнее же время как-то осел в домике своем. «Сторожевой пес монастырский, — говорил о себе. — И садовник». Действительно, занимался цветами особенно. Раздобыл редких роз, тюльпанов разных, вскопал землю, насадил всякого добра цветочного. Обложил клумбы камешками, в жаркие дни начала июля выходил с лейкою от своих Патрологий, в облегченном костюме (рейтузы времен войны, домонашеские— жердеобразными казались в них длинные его ноги) — неустанно поливал свой уголок.

«Монашествующему весьма прилично цветоводство», говорил архимандрит Савватий, благосклонно бороду поглаживая. Но сам этим не занимался. Пока еще не покидал надолго зеленой горки, но нередко ездил в гости «неподалеку, к усердному прихожанину». И по тону его при возвращении садовод мог судить, как его принимали. Если угощали хорошо, возвращался благодушный. Одобрял Андроника за садик.

— Пышно разрастаются насаждения ваши, дорогой отец архимандрит. Цветы — Божие детища. «Посмотрите на лилии . . .» Как в Евангелии-то сказано? Великая краса мира сего преходящего.

Но однажды Андроник зашел к нему как раз, когда он вернулся от прихожанки какой-то, пригласившей его к себе. Он был не в духе. Ни о лилиях, ни о царе Соломоне речи не было, он даже довольно рассеянно взглянул на соседа, принесшего ему новый номер церковного журнала. Наскоро поздоровался, прошел к себе в кухоньку.

— Прошу прощения, отец архимандрит, по слабости человеческой поискать должен, не осталось ли чего из снеди. Оскудела вера православная. Вообразите, приглашен был в небедный дом, даже весьма зажиточный, не столь от нас близкий, к лицам значительным... — и вместо обеда или закуски хотя бы — пустой чай с крендельками!

Но через несколько минут вышел уже более спокойный, жуя что-то.

— Слава Создателю, и дома оказалось чем подкрепиться. Пирожки с рыбой хоть и вчерашние, но довольно таки знатные. Приношение благочестивой старушки. Вот, не угодно ли вкусить...

И подал на тарелке Андронику изделия боголюбивой старушки.

— Весьма признателен, но не могу. Аппетита нет.

— От чрезмерных умственных трудов. А питаться вам, авва премудрый, следует. Ума палата, а физикой вы против меня не вышли.

Он засмеялся.

— Впрочем я поповской породы, крепкий. А вы барственной и ученой. Ведь ваш батюшка профессор были?

— Так точно, отец архимандрит.

О. Савватий, поев, несколько оживился.

— А вы знаете, какую я митру присмотрел... и не весьма дорогую. Она, конечно, весьма подобна архимандричьей, но моя уже не без древности. Панагия же мне уже обещана одним лицом немаловажным. По последним письмам видно, что хиротония совершится ранней осенью, но не здесь, а на юге, где Первосвятитель наш будет отдыхать у моря.

И как бы то ни было, мелкие ли, не мелкие дела монастыря совершались, время съезда близилось. В соседних отельчиках появились иностранные головы, вы-

сокие воротнички из-под черного протестантов, сутаны ученых из Бельгии, спокойные лица англичан.

Как всегда был молебен, торжественное открытие. — Савватий передал все в руки Андроника, сам уехал в более долгий отпуск.

— Трудно мне, многолюбезный авва, и по незнанию языков, и по непривычке, иметь дело с инославными. При том вполне на вас полагаюсь, зная усердие ваше и ясный ум.

Андроник кланялся и благодарил. Да, конечно, Савватий для такого дела неподходящ.

Но немало — и приятно — был удивлен, узнав, что Первосвятитель, еще не уехавший на юг, намерен посетить съезд.

Митрополит Иоанникий был родом из северо-восточной Руси, из семьи скромного священника, лицом прост и некрасив. Некогда был миссионером, посещал инородцев. Ученостью не отличался, но всем видом своим, худенький, невыигрышный, с несколько гнусавым голосом — простотой и легкостью являл облик древней православной Руси, даже вроде иконы. Жизни был высокоаскетической, веры незыблемой. И незыблемой доброты. (Иногда близкие отбирали у него его же собственные деньги, чтобы хоть что-нибудь сохранить ему же: а то все раздаст).

Раньше он никогда на таких съездах не бывал. Как и Савватий, иностранных языков не знал, с инославными христианами общения не имел и можно было даже думать, что к «затее» Андроника относился прохладно. (Но Андроника самого ценил, он-то и предлагал ему уже здесь епископство).

День выбрал заранее, Андроника известили и о часе, и к тому времени, в перерыве между докладами наверху, у дома Андроника ждала его уже группа — пра-

вославные возглавлялись Андроником, католики и протестанты с любопытством смотрели вниз, на пологую лесенку-тропинку под зеленым осенением каштанов. Довольно точно по времени у входной сторожки с образом Святого появилась небольшая группа: прибыл митрополит. Белый клобук издали завиднелся над худеньким полудетским телом в черной простой рясе. Митрополит расправлял, поглаживал серо-рыжеватые усы, каким-то робким жестом, будто говорил: «Ничего, что я митрополит. Я такой же русский человек Вятской губернии, как и другие, столь же грешен и подвержен смерти, как и все».

Его сопровождали кое-кто из духовенства, будто старались поддержать при подъеме на горку, но он легко, как-то невесомо взлетал, будто земля и не очень притягивала его. «Вот, восходит, — думал Андроник, — а ведь сердце у него слабое, недавно был обморок». И действительно, человек этот, со слабым сердцем, питавшийся больше чаем да сухариками, почти птичьим полетом возносился кверху. Аббаты и пасторы с любопытством смотрели на него.

Архимандрит Андроник выступил вперед, для встречи. Встречу вызванивал и монастырский колокол, довольно скромный.

Митрополит улыбнулся, погладил пышные свои усы, слегка кошачьи, обнял Андроника.

— Рад видеть, рад цветению наук под сенью Преподобного, — произнес довольно пронзительно носовым голосом.

И троекратно облобызал архимандрита, приветливо поклонился иностранцам.

— Рад видеть и инославных у врат нашей обители, — ласково сказал по-русски. Андроник повторил по-французски. Инославные вежливо поклонились.

И тут произошло нечто небывалое. Молодой аббат, особенно внимательно, как бы с волнением всматривавшийся в еще приближавшегося снизу митрополита, вдруг теперь отделился от своей группы, подошел к нему, упал на колени и в ноги ему поклонился — прямо лбом бухнул в землю.

Митрополит быстро схватил его, Андроник поднял.

— Господь вас храни . . . что же это так мне. Зачем, зачем . . .

Митрополит явно смутился. Андроник был бледен, аббат тоже. Митрополит трижды его облобызал.

— Приветствую дорогого гостя, приветствую, — пролепетал гугниво, сам не зная, что делать дальше.

Но обошлось все правильно: гурьбой направились в аудиторию, митрополит занял председательское место, поправлял белый свой клобук, выравнивал наперсный крест и панагию на груди, усы выглаживал. Андроник же начал собрание, в котором митрополит Иоанникий не понимал ни слова, но выслушал, что полагается, покорно.

***

Вечером того же дня в комнате у Андроника сидел англичанин, католический богослов, читавший утром доклад. Он был тоже высок ростом, строен, не стар и спокоен. «Вековая культура», думал Андроник, наливая ему чашечку своего турецкого кофе.

Взглянув на Леона Блуа, богослов сказал:

— Вы поклонник его?

— Почему вы думаете?

Англичанин прихлебнул кофе.

— Мне так кажется. Вы вот и русский ученый, а вам близок этот трудный французский человек. Иначе вряд ли вы повесили бы рядом с иконами портрет его.

Андроник серьезно на него посмотрел.

— Вы угадали. Мне нравится его тяжелая и одинокая жизнь, его дар писательский, такой особенный. Его отверженность. Хоть и католик... Но по-моему, простите, мало подходил к тогдашнему католицизму.

— Да, конечно. Это и есть слабое место католицизма. Надо быть шире и больше вмещать.

Архимандрит Андроник помолчал. Потом вдруг сказал:

— Я хоть и русский, и для вас скиф, несколько и анархист...

— Я вовсе этого не говорю.

— Ну, другие. И в чем-то они правы. Но может быть потому, что во мне и германская кровь, не то что одна знаменитая âme slave... ну, так вот, несмотря на то, что весьма преклоняюсь перед Леоном Блуа, ссорившимся постоянно со своей собственной церковью... впрочем, он, кажется, и со всеми вообще ссорился... Несмотря на все это я именно ценю силу, порядок и дисциплину католицизма. Единство его, крепость... то, чего у нас, православных, как раз мало.

Богослов не сразу ответил.

— Да, единство и сила у нас есть, конечно. Больше чем у вас. Многое есть у нас. И папа, и кардиналы, и ученые, и миссионеры... — но вот *такого,* как сегодня...

Он остановился. Продолжал потом в задумчивости:

— В белом клобуке... такого у нас нет.

У Андроника несколько перехватило дыхание. Гость молчал. Потом повторил негромко:

— Да, такого, к сожалению, нет.

— Но у вас есть тот, кто поклонился ему в ноги.

Богослов неожиданно перекрестился.

— Слава Богу, есть и у нас живые души.

Через несколько минут, в зеленоватом полумраке, он поднялся.

— Мне пора. Позвольте поблагодарить вас.

Архимандрит встал тоже. Лицо его нервно вздрагивало. Не сговариваясь, братски поцеловали они друг друга.

**
*

Приближался день отъезда архимадрита Савватия на юг. Митрополит уже довольно давно жил там, в приморском городе. Хотя считался на отдыхе, но служил иногда в соборе, худенькая его фигура появлялась на амвоне с крестом. Пронзительным своим голосом, некрасивым, но трогательным в беззащитности, благословлял приморских старушек и бывших белых воинов. Но уже скоро надо было возвращаться. Савватий знал это и торопился с отъездом — задерживали разные хозяйственные мелочи и подробности облачения.

Накануне его отъезда архимандрит Андроник под вечер зашел в храм — службы не было, он хотел повидать кое-кого и в левую дверь выйти в библиотеку. Был с утра в нервно-подавленном духе — это у него случалось.

В глубине церкви стояли ширмочки, над ними слегка виднелась сребро-белеющая голова Савватия. Он исповедывал. Невидимый грешник бормотал что-то. Когда Андроник проходил мимо, знакомый баритон серебряной головы произнес громко и раздельно:

— А велика ли была сумма?

Грешник невнятно залепетал.

Андроник содрогнулся: «Ну вот, опять . . .» Он отлично знал, что больше всего уязвимы кающиеся по «не прелюбы сотвори» и по «не укради», но сегодня раздражило особенно это плебейское «велика ли была сумма». «Наверно растратил в Благотворительном Обществе или в Союзе» — и вовсе не сердился на грешника, но задела убогая будничность жизни, даже самого Савватия. «Велика ли была сумма!» Если не велика, так еще ничего, а то уж совсем скверно. «Да, жизнь . . . это вот именно 'жизнь как она есть', без наших романтических и поэтических прикрас». И стоя в библиотеке, ища справку о Григории Нисском, не без горечи думал он о том, о чем не раз думал. «Какой я монах? Сам-то? Нервная баба . . .»

Вечером он зашел к архимандриту Савватию попрощаться — тот завтра уезжал. Теперь оканчивал укладывание, был сдержанно возбужден, краснота лица особенно выделяла серебро его волос. На столе стоял самоварчик («дар благочестивой прихожанки»), недопито́й стакан чаю. Чемоданы уложены, в особой картонке ехала митра — с ней архимандрит никак не мог расстаться, не архимандричья, а будущая епископская.

— Рад видеть дорогого соседа, — сказал он. — Перед отплытием, так сказать, в дальнее странствие.

— И я рад пожелать вам доброго пути и всяких благ.

— Недостоин награждения, посланного Господом и не скрою, что не могу быть спокойным. Не могу. Чайку стаканчик? Еще не остыл. Уте́шите меня.

Но Андроник не утешил. Не хочется ему чаю, он зашел просто попрощаться, пожелать благополучия.

— Сердечно признателен, сердечно.

Архимандрит недолго посидел у Савватия. На прощание облобызались, он ушел. Савватий довязывал последние пустячки.

Андроник поднялся к себе. В комнате было полутемно. Лампадка в углу пред иконою Богоматери не могла осветить ни Филарета, ни Александра I, ни Константина Леонтьева. Пахло сладковато и ладаном — было довольно душно.

Архимандрит отворил окно, сел около него. Длинные худые руки его лежали на коленях бездвижно. Все говорило об усталости, оцепенении — обычный приступ уныния. «Что я собственно, такое делаю, чтобы уставать? Григорий Нисский, томы Миня... Да, все это надо, и без этого совсем уж... ах, жизнь моя не то, не то»... Он бы не мог сказать, что́ именно должна быть его жизнь. «Председатель общества пессимистов» — в монашеской одежде! (И все-таки, когда он исповедывал и говорил, наедине, пред Евангелием и крестом, глаза его сияли тем особенным светом, которого он хотел бы и для себя самого). Но потом начинались будни и серость.

Он положил голову и руки на подоконник, лбом к нему приник.

— Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!

К Иисусовой молитве, многократной, прибегал нередко, особенно когда бывало плохо. Тогда как бы отходила действительность, окружающее, «велика ли была сумма?» — погружался он в стихию иную. Это облегчало.

Несколько минут так прошло. Потом он поднял голову. Высоко над ним, в просвете каштанов, сияла альфа Капеллы. «Да, скоро осень, и Сириус появится, и Орион». Звезды он любил. Они действовали на него ус-

покоительно. «Все пройдет, и меня скоро не будет на земле, но Господь, мир, звезды, и еще какой-то мир, неведомый нам, пребывает и пребудет».

Окно Савватия светилось еще. Андроник улыбнулся. «И он пребудет. В вечности. Кряж, древо прямое, корни в земле глубоко, но пребудет. И на земле долго ему жить. Старше меня, а надо мной будет Евангелие читать, когда я вот тут вытянусь навсегда».

***

Савватий уехал, архимандрит остался один. Один со своим Леонтьевым, Александром Первым и Григорием Нисским. Писал много писем богословам иностранным. Сняв рясу, в военных своих рейтузах времен белого движения, мало походя на архимандрита, поливал цветы. Иногда заходил в сторожку, вниз к Леониду Иванычу — привратнику, живущему в домике, на наружной стене которого, лицом к улице и входу, вделана была икона Преподобного, под стеклом. Смиренный Преподобный как бы осенял жилище Леонида Иваныча, бывшего некогда юристом, ныне скромного невысокого человека, не быстрого в движениях, тихого в разговоре — никак нельзя было представить себе, что Леонид Иваныч этот, с высшим образованием, служил в Петербурге не привратником, а по судебному ведомству. Нынче же молчаливо охранял обитель Преподобного, убирал комнаты архимандрита Савватия, подавал чай на подносе в заседаниях Совета Академии.

Этот Леонид Иваныч оказывался теперь чуть не единственным, с кем Андроник мог общаться.

— Скучаете, отец архимадрит, все один да один с книгами своими . . . — говорил Леонид Иваныч, подавая

ему чашку чаю (у него Андроник даже чай пил довольно охотно, хотя вообще признавал только крепкий кофе). — Вон все на отдых разъехались, а вы хоть бы куда...

— Никуда и не хочется, Леонид Иваныч. Да и здоровье неважно — то в сердце боли, то в желудке.

— Да, вот архимандрит Савватий покрепче будет. Теперь на юг уехал, архиереем приедет, наверно, еще приободрится.

— Наверно. Он всех нас переживет, хоть и всех старше.

— Этого никто не знает, отец архимандрит. Кому какой конец назначен и когда — воля Божия. А наше дело — жить, кто как умеет. Получше, то есть, поблагообразнее.

— Правильно. Все правильно.

— Знаете, как Апостол сказал: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите».

Андроник вздохнул.

— Как не знать: Павла к Фессалоникийцам. Я сам эти слова люблю. И вот самое трудное, по-моему: «всегда радуйтесь». Молиться не трудно и благодарным быть нетрудно, а радоваться... как заставить себя радоваться?

Леонид Иваныч помолчал, потом сказал робко:

— Может, это через смирение дается?

И окончательно заробел (куда уж ему, бывшему человеку, сторожу, учить ученого архимандрита!)

Но Андроник ласково взглянул на него, прекрасные глаза его посветлели.

— Верно, верно... — но смирение — дар, великий дар, не всякому дается. Стремиться надо, да как у кого выходит. Вот вы смиренный. Это Божия отметка. Избранности.

— Что вы, что вы, отец архимандрит, какая у меня избранность . . .

Возвращаясь к себе, Андроник зашел к своим розам и тюльпанам. Но не поливал их, а сел на скамеечку, опустил голову. «Леонид Иваныч все потерял, жену, детей, родину, и из юриста обратился в привратника, а у него есть смирение, уныния же нет. А у меня, хоть я и монах, и доктор богословия и архимандрит, смирения как раз мало».

И он стал творить Иисусову молитву. Потом поднялся в свою комнату и отворил окно. По-прежнему недостижимые как Вечность сияли над ним звезды. Он вздохнул, почувствовал особый прилив в душе, как бы смывающий и подымающий. Положил голову на подоконник, и вдруг почувствовал волну радости, и умиления. В горле стояли слезы. «Благодарю Тебя, Создатель, за всю милость Твою ко мне, грешному». Он показался себе теперь совсем другим, почти ребенком.

* * *

Бывший архимандрит Савватий, наконец, вернулся — теперь не архимандритом, а епископом. Бодр, свеж, от него исходило неудержимое архиерейское сияние. Скрыть его он не мог. «Лобызаше» не только соседа Андроника, не только Леонида Иваныча, он как бы готов был обнять и расцеловать любого иностранного человека, проходящего по тротуару близ монастыря.

— Чин хиротонии протекал благолепно, — рассказывал он Андронику, попивая у себя чай с блюдечка — кончики серебряных усов слегка орошались. — Вообразите, отец архимандрит, Собор там знатный, еще императорских времен, хор для провинции превосход-

ный. Епископы съехались, стечение православных большое, храм переполнен. Первосвятитель наш, знаете, он не Иоанн Златоуст и голос с гугнивцей, но преисполнен святости и мира, столь просто и прочувственно сказал, благославляя меня на новое поприще, обширнее прежнего, что, уверяю вас, у многих на глазах слезы были, особенно у лиц женского пола. Да я и сам, отнюдь не женщина... — Савватий весело улыбнулся, — я сам готов был прослезиться. И по правде сказать: волновался. Знаете, сердце так и колотилось...

— Я уж буду звать вас теперь «Ваше Преосвященство», — сказал Андроник, улыбнувшись. — До вас теперь и рукой не достать.

Савватий благодушно рассмеялся.

— Что вы, что вы, дорогой отец архимандрит! Годы жили бок о́ бок, дружественно, никогда размолвки ни малейшей, и вдруг... Нет, я для вас всегда по́просту отец Савватий.

Допив чашку свою, он обтер усы епископским уже платочком, поглядел направо, где на особом столике, покрытом темным бархатом, стояла новая его епископская митра.

— Благослови Боже на более высоком посту стоять прямо и твердо перед Господом, — сказал он вдруг несколько по-иному, почти торжественно.

Андроник склонил голову. «Вот и митрой доволен, благодушествует, а есть в нем и настоящее, непоколебимое»...

Переходя от его дома к своему, под теми же все каштанами — вершины их слабо зашуршали под налетевшим ветерком — Андроник думал о том, как все сложно, запутано и двойственно в человеке. «Да, может быть, в каждом из нас сидит два, или больше, человека. Иногда они живут мирно, а то вдруг ссорятся, противоречат

друг другу. Все-таки, у этого coeur simple есть что-то основное, простецкое и сильное — и вера его проста, незыблема. Дай Бог здравствовать ему. Меня он переживет на много».

***

Неделю спустя, около полуночи, когда архимандрит лег уже в постель, ожидая полубессонной ночи, в дверь к нему постучали.

— Кто там? (голос у него был недовольный).

— Отворите, отец архимандрит. Это я.

В полусвете лампады перед образом в углу, длинный и худой Андроник поднялся, отворил дверь, увидел Леонида Иваныча.

— Отец архимандрит, пожалуйте к Преосвященному.

У Андроника забилось сердце. Леонид Иваныч был какой-то другой. Что изменилось в нем, не сразу можно было определить, но изменилось.

— Владыка заболели.

— Что с ним?

— Не знаю, — пролепетал Леонид Иваныч. — Не то с сердцем, не то еще что... они ничего сказать не могут.

Андроник быстро накинул подрясник, перебежал тропинку, всё под теми же каштанами (но теперь казались они ему совсем другими, как и мрак этой одинокой ночи).

— Я у них нынче долго убирал в комнатах, — где-то сбоку говорил Леонид Иваныч, и его голос казался Андронику немногим громче шелеста листьев вверху, где каштаны ограждали архимандрита и привратника

от звездного бездонного неба. — Владыка вдруг плохо себя... почувствовал, застонал, только успел лечь...

Войдя, Андроник включил свет ярче. Владыка Савватий лежал на спине, ничего владычного не было в этом крупном теле с серебряною бородой.

Он дышал, все-таки, но тяжко и прерывисто. Если бы Андроник мог видеть сейчас свое лицо в зеркале, на него смотрели бы два огромных глаза на очень бледном лице.

— Звоните сейчас же доктору, — сказал он Леониду Иванычу.

Тот ушел.

Андроник остался. Взял руку Савватия. Пульс был еще, но очень слабый и неровный, нитеобразный. Да, вот оно, вот через что всем проходить. Глаза Савватия были закрыты, но лицо спокойно. «Епископ Савватий... переходит через реку». Архимандрит вздохнул, привычным жестом оправил низ рясы, чтобы не зацепиться, привычно вытянул вперед и вниз руки, и легко, согнувшись вдвое, прочертив головой нисходящую кривую, опустился на колени, лбом приложился к полу у изголовья серебряного Владыки.

В монастыре уже засуетились. Кой-где в саду замелькали тени, кто-то входил, выходил из квартиры Савватия. Дежурный врач прибыл довольно скоро, со вспрыскиванием своим. Пульс немного поднялся, но к утру все уже было кончено.

Теперь квартира была полна: студенты, заспанные профессора, священники.

Андроник и Леонид Иваныч долго, тщательно облачали Савватия. Андроник все делал как будто спокойно, молчаливо, лишь изредка негромко говорил Леониду Иванычу: «Выше... переверните побольше. Рука

застряла». Преосвященный Савватий был нем, бездвижен. С ним что угодно можно было делать.

Когда совсем рассвело, Андроник сказал молодому священнику, кратко и как бы начальственно:

— Евангелие. Первым читать буду я.

Позже главу укрыли черным крепом и лицо Савватия отгородилось. Нельзя было уже более увидеть его. Не был он более ни архимандритом, ни епископом. Мерно и торжественно читал над ним Андроник неиссякаемую книгу.

Потом передал ее молодому священнику. Да и другие были извещены, из иных церквей города приехали.

Архимандрит Андроник ушел к себе. Заснуть не мог, но лежал на нехитром своем ложе — здесь вдруг стал слаб, совсем не начальствен, так устал, так устал.

«Митра его все стоит там на столике, на него смотрит». Потом вдруг что-то детское, нежное, из давних времен проплыло в душе — мать обнимает после выздоровления от кори. «Милая, милая . . .» И опять залила нежность, до слез. «Ну, скоро теперь и мне, к ней, к маме». Через несколько минут другое: «А все-таки я ошибся. Он обогнал». Но почудилось, что странная связь соединяет его с этим Савватием. «Удивительно, разве были мы так уже близки?» Но тонкая, не рвущаяся нить все же существовала.

Весь этот день был Андроник в тумане. Несколько раз заходил к Савватию, вновь над ним читал. Теперь, днем, его иной раз раздражала суета вокруг, приготовление, хозяйство смерти. Не нравились любопытные, их всегда привлекает кончина.

Раз донесся до него из другой комнаты негромкий, все же голос: «Да, вот, воля Божия, как хотел епископства, а всего неделю и пробыл» . . . — Андроник поднял-

ся и в дверях сказал, ни к кому не обращаясь, почти грозно:

— Прошу потише, здесь покойник.

Всю ночь ворочался он у себя на постели. Вставал, ложился, опять вставал, сидел на постели. В окно, через дорожку, виден был огонек в комнате Савватия. Начинало светать. Архимандрит решительно поднялся, надел рясу, умылся, причесал голову и бороду и неторопливо направился к Савватию. Был он теперь как-то собран, спокоен, точно тоже перешел грань. Становилось совсем светло. Когда он вошел в комнату Савватия, тот самый молодой священник, который прошлым утром принес ему Евангелие, читал усталым, тихим голосом. Савватий все такой же был бездвижный. Черный креп по-прежнему закрывал ему лицо. Он окончательно переправился.

Андроник молча взял у истомленного чтеца книгу. Хотя в комнате было почти светло, на столе горела еще лампа.

Он начал читать. Солнце подымалось выше, золото лучей пало на золото митры. Андроник был спокоен и далек. В нем звучал как бы некий и не его голос. Чем дальше, тем торжественней он становился. И все торжественнее золотили солнечные лучи скромные стены и скромные предметы комнаты. Андроник выключил лампу.

Он читал уже часа полтора. Вновь во дворе монастыря, перед храмом и у входа в помещение Савватия появились насельники. По дорожке снизу поднимался румяный, крепкий священник, совсем еще не старый. Он вошел в комнату, перекрестился, земно поклонился Савватию.

«Вот наступает час, — читал Андроник, — и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня

оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь: но мужайтесь; Я победил мир».

— Дозвольте, отец архимандрит, сменить вас. Я из провинции. Знал еще при жизни и почитал покойного.

Андроник поднял на него невидящие глаза.

— Да, пожалуйста. Разумеется, читайте.

Ему показалось, что это другой голос, не его. Через минуту еще иной, уже спокойный и ровный читал:

«Отче! пришел час прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя».

Париж, 1964 г.



СОДЕРЖАНИЕ

I

Голубая звезда 7
Путники 155
Люди Божие
1. Домашний лар 201
2. Республиканец Кимка 204
3. Сережа 208

II

Улица Святого Николая . . 223
Белый свет 240
Душа 248
Новый день 257

III

Звезда над Булонью
Плавание 285
Дети 286
Насмешка 288
Джульетта 289
Мадам Брошэ 291
Бардадах 293
Мир 295
Появление звезды 296
Молчание 299
Снова Мадам Брошэ 300
Разговор с Зинаидой 302
Река времен 309

